UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00862541 0

Leskov. Nikolai Semenovich
III

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Polnoe sobranie
sochinenу

Н. С. ЛѢСКОВА.

izd. 3

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

t. 6-8

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

551832
27.10.52

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ и, вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галлереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленыхъ бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства — было просторнѣе. Здѣсь, передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребающихъ въ пустынѣ молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь

слегка плечикомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка, съ золотисто-красными волосами, разсыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ ундину или никсу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нимало не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ и надъ нимъ нельзя было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? — произнесъ по-русски тихій женскій голосъ сзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора!—позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густыя рѣсницы, и до синевы черными волосами, изящно оттѣняющими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много разсказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокаго табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? — спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ,—отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

— Да, *чего никто не хочетъ видѣть*, это можетъ быть, но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что его занимаетъ въ этой картинѣ? Онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла:

— Тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человѣкъ стоялъ, съ маленькой карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! — крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнулъ въ карету, и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую уидину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ея волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора

еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! — сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и, видимо, хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая-нибудь глупая любовь къ этому негодяю!—сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, — тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

— Извините, пожалуйста, — отнесся къ ундинѣ пассажиръ, сѣвшій у Магдалины: — я считаю нужнымъ сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона. Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота Люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній и, выходя, поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, poste restante. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой аллеѣ Люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего-нибудь?—спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! что я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ-быть, здѣсь и вашъ вексель, — отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель, дѣйствительно, оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсу, застѣнчиво спросила его:

— Скажите пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, — проговорила она серьезно и протянула ручку.—Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтреность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусѣ,—отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку, ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ назвать меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это — моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя Несторъ Долинскій. — отвѣчалъ незнакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ,—пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста, приходите, — упрашивала дѣвушка. — Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите,—попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду,—отвѣчалъ Долинскій и повернулъ назадъ къ Латинскому кварталу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждаго изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая

исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, разсказывая эту исторію, была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то съ родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху сѣверной Пальмиры, и, наконецъ, вышла замужъ за князя Аггея Лукича Сурскаго, человѣка стараго, не безобразнаго, но страшнаго съ виду и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ перваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подъ шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцатитрехлѣтнюю Ирину Васильевну и посватался за нее черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ достатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцатитрехлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не обѣщала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ-Синей-бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ для достиженія этой цѣли. Совершилась пышная свадьба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало склонять, ни принуждать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою,

а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣломраморное чело и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время перемѣнило козырь и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упоительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже и за старымъ мужемъ... можетъ-быть, даже особенно за старымъ мужемъ...

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человѣкомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатерининскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тиранніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и оночивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребенка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ

опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ человѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и, наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ!* При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго попавшагося ему навстрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребенка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ,—сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:—вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послѣзавтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманёкъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги, закричалъ:

— Милуйте, жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья нечаяннаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихоньку голося и горестно причитывая, черезъ день, оплаканная родственниками и свойственниками, выѣхала изъ родного села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украйнѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убѣгавшаго отъ своей горе-горькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе. Дня не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при испол-

неніи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ и безмолвно-могильными тѣнями скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой—рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, вонючую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удавленники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжьимъ палатамъ, стоная о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Золова арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпенящій ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясясь всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспошлетъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго объ умѣньи князя управляться съ людишками, приползла къ нему на подводишкѣ просить вступиться за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму.

— Ѳедька Лапотокъ кучеромъ со мной пріѣхалъ,—жаловалась Коробочка:— прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и разскажетъ, какой страхъ дается глупому народу,—молилась добравшаяся предъ княжьи очи помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Ѳедькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли оттрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери.

— А ну-ка ее теперь,—спокойно буркнулъ князь, и прежде

чѣмъ Коробочка успѣла что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери и въ припадкѣ бѣшенства бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскипѣла:

— Я не крестьянка ваша; вы не смѣете... — сказала ему она.

Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ:

— Не смѣю! я не смѣю!..—проговорилъ онъ, свистнулъ своихъ челядинцевъ и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь.

Гувернантка схватила со стола ножъ и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребенка, въ простыню и отнесли въ ея комнату. Здѣсь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребенка же, кормили рожкомъ и соской, а, наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее, со всѣми ея пожитками, отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ какъ въ данномъ случаѣ свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсалъ не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ вольтеріанецъ, къ суду Божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ не тронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ и, вскочивъ

на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала и вошла къ мужу.

— Князь!—позвала она тихо, остановившись у порога.

Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый дѣтскій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! что! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда?—закричалъ, трясясь и топая, старикъ.

— Я *сама* пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда!—бѣшено заоралъ безумный князь и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь—Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ и повалился на полъ. Бѣшенымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго

звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю, самая слюна его, вѣроятно, имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды и подошла со стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу», рычалъ князь, закусивъ коверъ и глядя на жену столбенѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ Божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комиссія застала князя на столѣ и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наслѣдовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старѣлась, начинала чудить и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и factotum старѣющейся въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ, зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивающихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подросшаго князя Луку Аггеича, съ нимъ, наконецъ, отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросшую падчерицу, и вообще была

твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и не знавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли насчетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самою страстною, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвѣнчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Анушка, и вслѣдъ затѣмъ Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время молодой князь Лука Аггенчъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кирилломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, къ крайнему прискорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню посѣтило новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею, и главною опекуншею малолѣтняго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижѣ и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было

сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется», говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня расцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дьячокъ русской посольской церкви, она не мало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитятей вывезли за границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, *и...*» и на этомъ *и* княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, — добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою и вмѣстѣ съ такимъ

удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая?—спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой,— отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть—эта Дорушка! — размышляла дѣвочка цѣлый день до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной: будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайлиньки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Трапша, управлявшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Трапшъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую, вѣрно, можно купать, пеленать, няньчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще,—княгиня сказала:

— Ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружочекъ, умерла.

— Умерла!—закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя?—спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было.—успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія, очень доброю и просвѣщенною женою новаго управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладаю-

щимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шестнадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа въ какую-то глухую степную деревню.

— Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не видавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно приготовленную вольную для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей ассигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполнѣ обязательное для его наслѣдника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы го-

ворятъ: *онъ поступилъ какъ мужчина.* Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее и что она была ни больше, ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться по-временамъ о ребенкѣ, пока его можно будетъ перевезть въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенно понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ о своемъ ребенкѣ, существованіе

котораго не было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудіенціи у своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ обѣщалъ заѣхать и не заѣзжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ,— говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сиживала веселая и довѣрчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе?»—подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, *о нашемъ ребенкѣ*, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться».

Въ дверь кто-то слегка постучался

«Это его стукъ», — подумала Анна Михайловна и отвѣчала:—«войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? — спросилъ онъ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

— Я,—отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете— князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, — говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна. — Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда, наконецъ, я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря поистинѣ, я полагаю, *никогда*, — отвѣчалъ, вскидывая голову, французъ. — Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, — отвѣчала, вся вспыхнувъ, Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребенокъ?—рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, — отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать,—твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! — воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, разсказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ,—отвѣчала краснѣя Анна Михайловна—и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то,

довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать одно только пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!.. Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бъ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Дорушка пожала плечами и онѣ поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кіевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украйнѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая въ «племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забитыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолокшій ихъ міръ Божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и

рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребенкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все религіознѣе; постилась все строже, молилась больше: скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимою средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и треволненій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житьѣ по слову Божію, она стала даже съ омерзѣніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ, не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и направо, и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна—ангелъ,—говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребренница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войгомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но, наконецъ, въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали пріупадать», а еще немножко — и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ были трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурного: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ ровно, одною чисто-евангель-

скою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстности самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на колѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми Божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ матерью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людямъ и въ разумъ истинный внити».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого-нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, пріютятъ и утѣшатъ. Приходитъ къ чаю какой-нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнитъ, какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства—

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство
И многимъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь разсказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, долы, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекати-полемъ и Божьей птицей аистомъ «змѣепстребителемъ»; все это такъ и рисуется въ воображеніи съ разсказовъ обутаго

въ лапотки «человѣка Божія». а надо всѣмъ намъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николая, «скораго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ, какъ кипѣнь, конѣ. рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и, наконецъ, выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запрячь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Днѣпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но вдѣво пробѣжитъ по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ — и Ульяна Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного сужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что-нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, — отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «пріупадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покупалъ спѣлыхъ дынь-дубровокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверо-запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ,—говорила она:—его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта Шекспирова «божественная нимфа»

съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него и другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Парѳенія, отъ которой вдалекѣ былъ виденъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задергивала все небо черными, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несмѣтное количество слеглаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ путь, — сказалъ Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по-своему. Она посмотрѣла въ угасшія очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ соборовалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію взяла тетка и увезла куда-то къ Лившамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Петровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сто-

ронахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный инокъ Божій. — говаривала часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ-быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Можетъ-быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ, вѣроятно, могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить подъ руководствомъ своей матери и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что у насъ называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутренняго *я* онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а, огорченный чѣмъ-нибудь, только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лѣчить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи,

откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борьбѣ съ снисходительностью и любовью къ человѣчеству и, наконецъ, болѣзненный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшительность — безволье. Это послѣднее свойство своего характера Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во что бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самымъ безжалостнымъ образомъ заставлялъ свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальныя упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего-нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ наперекоръ и своей волѣ, и своимъ желаніямъ, повергали его въ глубокую апатію—у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣйшей губерніи, въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ, приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новоприбывшая фамилія состояла изъ матери, толстомясой барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными корнетскими усиками и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза свареннаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шелъ пятнадцатый годъ, и о ней не стоитъ распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, такъ себѣ, какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка», или, какъ народъ говоритъ, «птица-шиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притомъ каждаго изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольна неглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она несомнѣнно владѣла всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ бьютъ лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстіи, что застрѣлился какой-нибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить кого-нибудь кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцова не могла, не умѣла и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякаго сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекло дѣтство, отрочество и юность Юліи Азовцовой, были таковы, что разсматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выйти ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была полицією и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличомъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій — тетеречникъ». Объ отцѣ Юліи Азовцовой съ гораздо большею основательностью, чѣмъ о мужѣ слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда не годился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навыкатѣ и щегольскіе корнетскіе усики, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и, наконецъ, произведя на свѣтъ Викторіночку, бросила супруга въ его хуторномъ

тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, извѣстный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ — позоромъ и безславіемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска» считала богача своимъ дяденькой. Радостно срѣтая нѣкогда его коммерческое восхожденіе, она упросила его быть воспріемнымъ отцомъ Юлиньки. Коммерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онѣрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигурѣ валета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленныя валетомъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка, цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго развращенія, вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею дѣвочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвезла ее въ вертенъ откупного туза и научила, какъ она должна плакать, какъ притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ льстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ тузенятамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и вѣрно поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищебродство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее въѣзжающею въ разлатомъ возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и горя въ своей нищебродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждаго, кто боялся прогнать ее предъ очами са-

мого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженькое платьице, безпощадно испорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но зато тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она изъ нея дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло о томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія — та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самое ее, матроску, дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перекрутилось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣшливо на неутѣшныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальныя визитныя карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ не много можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ Бѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ѣхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ-не-такъ, а ужъ какъ-нибудь что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или, по крайней мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викторіночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ — мой дядя, вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тетка

съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, канальи! — разсказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочкѣ, въ этомъ было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь поцетиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого геронзма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же, какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинскій, и она перевѣнчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки они же ассигновали по триста рублей въ годъ, и на житье самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный, вѣтреный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома.

— Такимъ образомъ,—говорила она:—вы сдѣлаете эко-

номію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леокадіи Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; разсказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть было не сбило съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя,—говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не безпокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать,—отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него браться вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! — заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія* именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ, молча, передъ тонящеюся печкою, Юла тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извинится. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю,— мечтательно досказала Юла.—Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень не трудно достигнуть,— отвѣчалъ Долинскій.

— Да, не трудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто поневолѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю,— отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ, грѣшнымъ! — замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій, кромѣ матери и тетки, да сестры, не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значитъ, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлыя варіаціи поэффектнѣе, и дѣло должно удаться.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украйнѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она вздумала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилобережой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и

бѣломъ кущидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природѣ была настолько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, насколько грандіозныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то зато въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много тонкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тускарскіе науки затягивали его со стороны великодушія, сострадація и ихъ непонятныхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою и, наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ самыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка Аксинья Тимофеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксиньи Тимофеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею, Юліею, отъ оскорбленій, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ сострадація, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимофеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салопъ, справленный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ попалъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно задумываться о Юлочкѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимофеевна шла верхнимъ чутьемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцова, обозрѣвъ поле сраженія и со-

образивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціей атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что, какъ по нотамъ, разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

«Нашла дурака»,—думала матроска и молчала, выжидая, что̀ изъ всего этого отродится.

— Этотъ агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, — шептала Долинскому Аксинья Тимоѳеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела,—говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеркомъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что̀ вы это... хандрите, кажется? — спросилъ ее, садясь противъ печки, Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что̀ съ вами такое?—спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ея подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что̀ съ вами? что́ у васъ за горе такое? — добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те,— судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите, пожалуйста, свѣчу, не могу смотрѣть, — простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ! — вырвалось изъ груди Юліи, когда она отпила полстакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь,—проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоитъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?

Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, — говорила она тихо и не спѣша: — чтобъ только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобъ только уйти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ этомъ говорить, — произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія и, хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статьѣ, — произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и, выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... останъ... останьтесь! — торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой!—шептала она...—хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? — спросилъ, остановившись передъ ней, Долинскій.

— Хоть бы будочникъ какой женился на мнѣ,—докончила Юлія.

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Что жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! — отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего, наконецъ, порядочный человѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм!. Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало нищая, я побирашка, христорадница, *лгунья*; понимаете—*лгунья*, презрѣнная, гадкая *лгунья*. Вы знаете, къ чемъ пропла моя жизнь? — въ лганьѣ, въ нищебродствѣ, въ вымаливаньи. Вы не сумѣете такъ поцѣловать своей невѣсты, какъ я могу перецѣловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только дають хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взводите,—говорилъ, сильно смущаясь, Долинскій.

— Что это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честный трудъ*; меня этому только учили; меня этому теперь учатъ. Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ! —начала какъ бы сама съ собою полушопотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что-жъ такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ,—начала Юлочка:—когда узнаетъ насъ, за сто верстъ обѣжитъ. Вѣдь мы *ложь*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! — говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у насъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ-быть, думаете, шелки или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой, да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду и, ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатѣ. Юлинька встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти отъ всенощной, — проговорила она и стала листовать книжку, съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно—

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно,—отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку,—попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. — Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, Бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила: — а какъ моего нравственнаго спасителя, и теперь еще, можетъ быть въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Что вы хотите сказать этимъ? что я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!.. Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего *счастія. Для моего счастія*,—повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю!— произнесъ, пожавъ плечами, Долинскій.

— И не нужно,—сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя мýки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Что это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цѣловать откушпчьи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ пріучить меня цѣловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизнію* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я? — какъ бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, если бы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ!* Ты — мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тсс, господа! господа!—заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимоѳеевны, которая, какъ выпускная кукла по пружинкѣ, вышла какъ разъ на эту сцену въ залу.—Ставни не затворены,—продолжала она въ мягко-наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, — прошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимоѳеевны, онъ вырвался изъ горячихъ Юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимоѳеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ,—шептала между тѣмъ, стоя на прежнемъ мѣстѣ, Юлочка.

— Что-жъ такое? это все равно,—пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Положи минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести приписать,—заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимоѳеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито огрызла:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе: что же онъ обо мнѣ подумаетъ? говорила Юлинькѣ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно что онъ о васъ подумаетъ?— отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно или не нужно, но вѣдь я же, однако, не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую!—крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете*, если будете глупы,—отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ, Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены,— отвѣчала Долинскому сестра.—Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ».

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное, но потомъ показалось опять, что это какое-нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать это письмо и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и, кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь, — добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что такое твоя невѣста,—писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю.—Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектница и фантазерка и вотъ провралась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и, ради всего хорошаго на свѣтѣ, Бога ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я, наконецъ, выхожу замужъ,—писала Юлинька между

прочимъ.—Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно не развитъ и мы съ нимъ не пара ни по чему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни: но... я, можетъ-быть, привыкну къ нему и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва—и кому? Что онъ? Что видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надоѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбенѣла.

— Что это?—спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо. «Милая Устя!»—прочла она, и сейчасъ же воскликнула:—А! вѣрно, опять романтическія сочиненія!

— Оставьте!—крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капотъ и шубку.

— Куда?!—крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, молъ, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься!—отвѣчала, проходя, Юлинька, и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри!—заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя, шельму, пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою

глупенькую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу!—говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому.

Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нея прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцѣловала, и еще поцѣловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку, не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ?—спросила она, тяжело разсаживаясь на щупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужъ и такъ болѣе чинить нельзя,—отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ,—возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда жъ этотъ болванъ, наконецъ, рѣшится?

Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значитъ, ужъ спроворила, милая?

— Дѣлайте, что вамъ говорятъ,—отвѣтила Юлинька и, бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный

взглядъ, сѣла писать Устѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ,—ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночного посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, что ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ и его не послѣдовало.

Мѣсяца медоваго у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминучую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы щадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другою и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина, дѣйствительно, была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первыя слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ощипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мерзавцы поступаютъ!—крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).— Вашъ долгъ показать людямъ,—продолжала матроска:— какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ!—замотавъ головою разъярилась матроска.—Это значитъ—вамъ все равно, что моя дочь, что Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что бѣлье вамъ носила; думаете—не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ правилъ, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А и тебѣ, дурѣ, ништо, ништо, ништо,—оборотилась она къ дочери.—Рюмь, рюмь теперь, а вотъ, погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и совсѣмъ тебя будетъ прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій не понравился.

— Какой-то совсѣмъ неискательный,—отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

— Своихъ отряхъ, учителишекъ, умѣете примѣчать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете,—наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной иниціативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа, насколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викторишку изъ дома. Роды перваго ребенка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнскаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка — что не предупредила, и мужъ, должно-быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виноватъ?—говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ не виноваты!.. — крикнула Юлинька. — А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? посовѣтовались вы... прочитали вы? да прочитали вы, напримѣръ, что-нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ?—удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?.. Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: *чѣмъ?*.. Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности — не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кіевскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Если бъ я знала болѣе, такъ вы, навѣрно, со мною не сдѣлали бы всего, что хотѣли.

— Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянія-то!—подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ!—закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы:
Нѣтъ—*мужъ устроенъ для жены*,

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и, наконецъ, даже часто вовсе не принимали. Новыя знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же, Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новые знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тещей; но ни остановить чужихъ, ни обрезонить своихъ

онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно не везло въ гостиной; что она ни станетъ разсказывать о своихъ аристократическихъ связяхъ — все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ, и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать матроска, какъ нарочно, стеариновую свѣчу назоветъ *стерлиновою*, вмѣсто сиропа—*суропъ*, вмѣсто камфина—*канхинъ*. Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ разсказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанскомъ дворянинѣ;* желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище Правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловѣдѣнія*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Брошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за нескатность и недостатокъ средствъ удовлетворенію расширявшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобъ уйти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій, въ качествѣ отца двухъ дѣтей, сталъ подвергаться сугубому угнетенію и, наконецъ, не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержитъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться,—отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьѣ произнесъ:

— Не могу, какъ-то все это съ одной, будто, стороны такъ, а съ другой—опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣвѣешь, бабы ѣздить на тебѣ будутъ!—восклицалъ Журавка.

Пожившя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что, дѣйствительно, нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ,—говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену, а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало-быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идетъ, и да будетъ тебѣ, яко же хощеши! Послѣзавтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругѣ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу Божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... уухъ, однимъ глазами такъ и вскипятитъ иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь, если по правдѣ говорить, все-таки, вѣдь, дрянь.

— А я думаю, — говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:—я думаю, точно ты правъ, надо, вѣдь, это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, не надо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты, пожалуйста, ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большого изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время

онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

«Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не пріученъ, а на великодушіе, хотя бы даже въ далекомъ будущемъ, я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей: а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я — въ васъ. Не будемте безполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мѣрѣ, не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ».

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Дорушкою уже послѣ четырехлѣтняго его житья въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-за границы ему два или три раза приводилось давать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главныя лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, перегѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ, лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго, Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините Бога ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но, взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: «а какъ она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черные волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны, дѣйствительно, могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста, садитесь, сестры дома нѣтъ, но она

сейчасъ должна вернуться, — говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во́-время?—началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы, пожалуйста, не обращайте на это вниманія, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папиросу.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами,— начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая...

— Непосредственная, кажется, — подсказалъ, улыбаясь, Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, — замѣтила снисходительно Анна Михайловна. -Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что́ она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не сто́итъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контральтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись.
Въ день несчастія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.'

— Вотъ и она,—сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А-а!—произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ,—произнесъ, разсмѣявшись, Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ-лѣтописецъ.

— То-есть—былъ; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно-быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, я передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ просьбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ, вѣрно, морщится, что мы дружимся, — проговорила Дора, и, взглянувъ въ лицо сестры, добавила: — такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, что дѣлаю.

— Ты знала, что дѣлала, и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ.

— Это въ первый разъ случилось, но, впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь, мы друзья, правда?

— Правда,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что я дѣлаю. Я женщина практичная — и это правда. Вы хотите мароновъ?—спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тепленькіе совсѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора?—вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совсѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно-быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ, на этомъ углу, въ лавочкѣ, мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, что дѣлать, — произнесла Анна Михайловна.—Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки! это, съѣдомое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, во-первыхъ, глупъ, а, во-вторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ—да и только. Вы давно за границею?—обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, monsieur Долинскій, теперь насъ извиняйте за выраженія: мы, какъ видите, скоро дружимся и, подружившись, всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу,—серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ-нибудь обвѣнчается и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, — отвѣчала, сморщивъ носикъ, Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно,—шутила Анна Михайловна.

— Во-первыхъ. — выкладывала по пальцамъ Дора: — на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а, во-вторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе!—произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю; не безпокойтесь. Я увѣрена, что я въ полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу—жить, жить и пѣть.

Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка мнѣ милѣй всего.
Не надо мнѣ съ волею въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ,—начала она: — я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобъ никто не женился, а я говорю—пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справедливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непремѣнно за дурака? — спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ нашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся, и замужъ выходятъ.

— Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то,—резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что онъ дѣлаетъ, а дураки—дураки всегда охотники жениться. Вѣдь, вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь,—отвѣчалъ, немного покраснѣвъ, Долинскій.

— А-а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ,—еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись, отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно перконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ знаетъ что такое! — крикнула изъ-за драпировки Дорушка голосомъ, въ которомъ звучали и насилу сдерживаемый смѣхъ, и досада.

— Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что ты дѣлаешь! — тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея физіономія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, «*чудо, какъ умно!*» — заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно,—повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата,—оправдывалась Дора:—что насталъ такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не сказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? — обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, — продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну, не вѣрьте.

— И не вѣрю, — отвѣчала Дора. — Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, что же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся,—отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны?—спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще!—отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu, mon plaisir, спать хочу,— сказала Дорушка и, дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кое-что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ, и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, съ своими хлопотами о закускахъ для магазина, часто уклонялась отъ такъ-называемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени, дѣйствительно, перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! — восклицала Дора.

— Это правда, — отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все, вѣдь, мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ, вамъ, Дарья Михайловна.

Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Что жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, если бъ не имѣлъ чина пентюха?

— Это вы не можете догадаться, что бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую-нибудь изъ насъ влюбиться, — говорила ему не разъ, расшалившись, Дорушка.

— Не могу. —отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо?

— Да вотъ видѣть чудесъ-то я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ,—шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши, право, вянутъ слушать, что ты только врешь, — останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать,—обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна* и *величественна*, во

все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы, въ самомъ дѣлѣ, женаты?— спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена?—спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Что жъ это значитъ? вы съ нею, вѣроятно, разошлись?

— Дора!—остановила Анна Михайловна.

— Что жъ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года кряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя — нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что жъ, Анна Михайловна, я, вѣдь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня нимало не смущаетъ: я, дѣйствительно, не въ ладахъ съ моей женою.

— Какое несчастье, — проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться?—допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жъ, она измѣнила вамъ, что ли?

— Дора! Ну, да что жъ это. наконецъ, такое!— сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого. и знать объ этомъ не хочу.—отвѣчалъ Долинскій:—какое мнѣ до нея теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите?—продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушка.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему жъ вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю: мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся: что вамъ за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ: нѣтъ, а вы попробовали ли себя спросить, что если бъ ваша жена любила кого-нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, если бы ваша жена цѣловала своего любовника, или... такъ, вышла, что ли бы, изъ его спальни?

— Дора! да ты, наконецъ, рѣшительно несносна! — воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ.—отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну, если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное,—протянула Дора.

— Но смѣшно только.—отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, мелочно-самолюбивымъ людишкамъ.—подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте: а отчего, однако, это гадкое чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но, тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо: я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ что до этого? — укоризненно качая головою, спросила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастія.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора,— сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почемъ ты знаешь, какая его жена? Можетъ-быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть: онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что ли?

— Ну, а Богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да. впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ: умъ и сердце у него хорошіе, — это все, что̀ нужно.

— Нѣтъ; а ты пресентиментальная особа, Аня,—начала, укладываясь въ постель, Дорушка. — У тебя все какъ бы такъ, чтобъ и волкъ наѣлся, и овца бъ была цѣлою.

— А, конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только, къ несчастію, вотъ досадно, что это невозможно. Ужъ ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ онъ дитя,—правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы—чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора,—проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, — отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локоть, Дора:—что вотъ этакое твое мягкосердечіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ-быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? — отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

— А, вѣдь, онъ очень хорошъ, — сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, — тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза,—произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свѣчу.

— Люблю такія тихія, покорныя лица, — досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость,— отвѣчала ей Анна Михайловна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми, и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогалъ имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комиссіонеру всѣ покупки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенныя мытарства въ Петербургѣ; даже помогалъ имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, зато каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго, но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно,—замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня. — глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства. можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? — отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статься, — произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право, нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Илью Макаровичу Журавкѣ, по 11-й линіи, домъ Клеменца.*

— Скажите, какой скромникъ! — воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы и ни разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ,—отозвалась Анна Михайловна.— Я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности,—вмѣшалась Дорушка.—Онъ, вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самаго утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила,—пошутила Дорушка, гладя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣдняго только, самаго-то главнаго, и не обѣщаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ,—смыслъ жизни.

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совсѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значитъ.

— Нѣтъ, это *очень много* значитъ, — отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей, и женщину.

— Да, если бы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто! всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно.—вмѣшалась Анна Михайловна.—Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что она говоритъ. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винегретъ! Все это очень умно,

звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это ce sont des пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладитъ, а вы, милашечки мои, сами неудобь какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно,—проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говоритъ пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста боятся*, а я буду при томъ, что *соколу лѣсъ не страшенъ*. Вѣдь, это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона!—крикнула изъ окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый сокол.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжко почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленныя тамъ книги, и пустыя комнаты, которыя мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинёшенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

«Вернуться бы ужъ, что ли, самому въ Россію?» подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

«Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ,—размышлялъ онъ, переворачивая, по своему обыкновенію, каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ:—нужно имѣть

надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дора знаетъ, что дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначащія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его поразило, а потомъ весьма порадовало и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долинскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо: но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непремѣнно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственныя дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Анни и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ

богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обои разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границею родился новый ребенокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать, и ребенокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на-дняхъ ѣздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ, и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по-моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетенъ, я думаю, самое лучшее дѣло— какъ можно болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.

«Пребываю къ вамъ благосклонная

Дора».

«PS. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціэллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ».

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что̀ ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ-быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь,

что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало-быть, въ самомъ дѣлѣ, иногда знаешь, что̀ дѣлаешь,—сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ, густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобь наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ жъ онъ?—спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но, взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разомъ закричали: «Несторъ Игнатьевичъ, это вы?»

— Я, Анна Михайловна,—отвѣчалъ Долинскій, цѣлуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило,—похвалила Дорушка.—А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «*Неудобь*».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужъ это хоть не спрашивай—Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ.—воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чашка дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите,—отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онѣ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что̀ онъ думалъ, что̀ видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ парадн҃ѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкапомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашеныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленаго коленкора, за которою стояли три кроватки, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкапное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матеріи, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ, на табуреткахъ, сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки, одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платьица съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшетчатою деревянною спинкой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными мохрами напереди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, — отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ, удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохолъ, и чертообразность сѣтки, всегда столь ненавистной русской швеѣ «фран-

цуженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоить себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосёнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самаго благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохолъ на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила выскакивать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому, продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ сказать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванныя отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и не злыхъ, но утратившихъ подъ ударами чужого невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того, Дора, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и разсказывала имъ, какъ умѣла, о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну: взрослыя мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо бо́льшаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ боль-

шую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отъ роду лѣтъ двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, замотавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ, кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ-нибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернаторовъ принимаетъ, чуть пàру въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнитъ, такъ и не надо: значитъ, совѣсти нѣтъ», говорила она, и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала, и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Проспа у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, объ-

щала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія— Анна Анисимовна не отдала.

— Счастье у своего ребенка отнимаете. — говорили ей дѣвушки.

— Ничего.—отвѣчала Анна Анисимовна:—зато совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по-міру.

Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатычъ?

— Прекрасно,—отвѣтилъ Долинскій.

— Вотъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька; видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это,—продолжала Дора:—это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще не успѣвшая ничѣмъ отличиться, — сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ:—а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу и съ неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою исколотую иголкою руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь, — позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту

вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки,—проговорила, идя впереди со свѣчою, Дорушка:—а зато народъ все преискренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шелъ небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посреднѣ коридора была дверь, которою входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввелъ сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая—въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ внаймы, третья—въ спальню Анны Михайловны, а четвертая—въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьевичъ?—спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо,—соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой.
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцѣловала свою сестру.

— Дорого только,—сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево,—сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! — говорила Дора. — На-

няли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виноватъ, скажите пожалуйста?

— Ты,—отвѣчала Анна Михайловна:—сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы, люди, мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться?—началъ, входя, художникъ.

— Крошечку выпилъ,—подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило,—сказала, разсмѣявшись, Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щечкахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, — проговорилъ, икнувъ, Журавка.

— Никакъ нельзя,—поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ!—лепеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на углѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается,—сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! — снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... — Журавка икнулъ и продолжалъ: — Денкера приказчикъ, говоритъ, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ заказать. Ну, вѣдь, волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпили, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!.. А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутыльченокъ шампанскаго. И ужъ извините,

кумушка, двѣ бутыльченки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія! — воскликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленныя бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича, на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьянѣнія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ Денкеровъ приказчикъ,—говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ натянулся и еще въ долгъ пару бутыльченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь: вонъ онѣ, заморскія, засмоленныя... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, — шутила Дора. — Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-Богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», — передразнила, смѣшно кривляясь, Дора и добавила:—совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты!

Журавка обнялъ и поцѣловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь.—говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятій. Долинскій: — теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ, небось, не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ, вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами,—разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ,— отвѣчалъ художникъ, налегая на букву *и* въ умышленно портимомъ словѣ прекрасно.

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатьичемъ вмѣстѣ жить будемъ,—сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ: Аня отдастъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь, или просто говорите?—вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ. Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите? — сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! — возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, — говорила Дора: — по крайней мѣрѣ, будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно,—отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутыльченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Если бъ я былъ холостой, — заговорилъ онъ: — ужъ тебѣ бъ, братишку, тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женатъ! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію, и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился,—оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человѣкъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе,—требовалъ Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!.. чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, что ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ-нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріятели проѣхали молча, и Журавка опять началъ:

— Потому что, что жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, — отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ не хорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ,—шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріятеля весело разсмѣялись и распростились у гостиницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительствѣ.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацію, какъ я долженъ жить у васъ,—разсказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ,—отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любитъ насъ чрезмѣрно, — проговорила Анна Михайловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самаго выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и

всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неизмѣнно, въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе со свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертью своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластіе его тетки, оставила въ немъ одни тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожившими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба женниной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ Латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, не смотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился во-время встать, во-время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда

разсказать впередъ — и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготовить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читалъ листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи,—все скучно,—говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать безполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ не только успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсыльный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что-нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала Богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполнѣ независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣлываться. Особенною ея антипа-

тіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ничему по сосѣдству сообщиться не можетъ: но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ или Вырвичемъ, и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственныя достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ размѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить, что вамъ угодно, а все-таки вы не то, что тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ что же мы такое по-вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, что вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по-моему, какъ называются такіе люди, какъ вы?—спросила, смѣясь, Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

— Сердиться глупо. Всякая свобода — нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди, какъ вы, называются *скучные люди*.

— А! а вамъ веселья хочется.

— Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать, въ видѣ новостей, то, что каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навыдумывала пропасть вздоровъ?» — Вѣдь это-жъ, согласитесь, скучно! Кто-жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ, все это—нуль; на все это жизнь дунетъ—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! Боже меня сохрани! — отвѣчала Дора, и какъ бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значитъ быть независимой. Вы сами не знаете, что говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что я такое. У меня есть совѣсть и, какой случился, свой царь въ головѣ, и, кромѣ ихъ, я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой.—отвѣчала съ раздувающимися ноздерками Дора.

— Крайнее свободолюбіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что-жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ

ужъ и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка, и я не позволю на ней играть никому,—говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы, въ самомъ дѣлѣ, наконецъ, станете независимы отъ всякаго смысла? — отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала,—убѣждали Дору.

— Нѣтъ-съ; ужъ это извините, пожалуйста: этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значитъ, у васъ человѣкъ—рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай что долженъ.

— А что же вы *должны?*

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется,—отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада: а всѣмъ, то-есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не надѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, *ваши* на этотъ счетъ мнѣнія?—затягивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь всѣ вещи рѣшенныя: «ищите прежде всего царствія Божія и правды Его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моралью! Что это за царствіе, и что это за правда?

— Правда? Внутренняя правда—*быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что-жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрасть имате; чтите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, объ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободь, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула Дора.

— Да и я, и я!—шумѣлъ Журавка.

«И я»,—говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ,—замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка, чтобы она, такъ сказать, въ аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея ей и не удается до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но, по своей страстной натурѣ, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что-нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «*философствующей вздержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Что это за люди?—говорила она Долинскому: — все

вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додумаются?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и не удивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней мѣрѣ, никогда не видная и ничего не знающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатычъ, даромъ что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними? — говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не стоитъ. Что мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать: вы убѣждаетесь или разубѣждаетесь въ чемъ-нибудь, — а они много-что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значитъ, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм! какой любезный! — произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ-нибудь — очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ: *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

— Ахъ, Несторъ Игнатычъ, Несторъ Игнатычъ! кому жъ, однако, вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется, наконецъ, вѣрить!—говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе.—успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую, Даша всегда говорила:—зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ?—спрашивала Дора.—Это—человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ, *несетъ жизнь;* а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученые скворцы сворочутъ: «дай скворушкѣ кашки!» И еще такія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы, что ни одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство,—шутила она съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А, впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу,—говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала:

— Пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора.

— Неужто,—говорили ей:—вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же, бьются за ваши же естественныя права, которыя у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ,—отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судить самоё себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Споршица! Когда ты перестанешь спорить! — останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня, за живое меня задѣваютъ эти молодыя фразы,—горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачомъ?—возражалъ ей Шнандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Не только свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ. — ну, положимъ, вы можете себѣ создать этакое другое независимое положеніе, а тѣ, которыя не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помилуйте, что жъ это, приговоръ, что ли, что сказалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да—приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой нивѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно разсказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите!—говорили ей послѣ этого разсказа развивателя:—а легко зато этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно!—запальчиво отвѣчала Дора. — Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ и даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая — раба: она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ*, не хочетъ сама себѣ помогать, проситъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожитъ чѣмъ-нибудь больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены!—съ улыбкой перебивала Дора.—Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, что дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключатъ изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна,—говорили ей: — не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унизительны.

— Да что жъ, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите? Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ—то-есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора, наконецъ, похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка: а женщины живутъ въ тягость и себѣ, и другимъ—ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій—общій вопросъ.

— Да то-то вотъ; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барышскій, дамскій*—однимъ словомъ какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, рус-

ская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ — такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба!* Ха-ха-ха!..

Дѣвушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, *а во всякое время* будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А, впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и ужъ, разумѣется, тѣже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стоитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говоритъ о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ: надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружкѣ есть женщины, *только нужно ихъ умѣть найти!*— проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о чемъ собственно рѣчь-то?— вмѣшался Долинскій.—Если объ общемъ счастіи, о мужскомъ и о женскомъ, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который, дѣйствительно, *любитъ* женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Что тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ сказать, чтобъ ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да-съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, **съ точки хлѣба и брюха.**

Долинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы расцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ-быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду, и къ свободѣ, чтобъ она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнитъ свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совсѣмъ не по вашимъ рецептамъ,—равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, — заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны, ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперекъ дороги?

— Что за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы,—заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она

на-голову побивала своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по отдаленной спорамъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка!— говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, вино, точно, шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно,—заключилъ Вырвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете,—поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича: я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра?—спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть,—также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю,—отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? Тутъ ничего нѣтъ такого удивительнаго. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ — пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой—говоритъ, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили-были кутыль да журавль; накосили они

себѣ стожокъ сѣнца, поставили посередь польца, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «*Якова*», и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ Третьемъ—жизнь!.. О, разумъ!—къ тебѣ взываю. Что это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Живая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убійцѣ. Помилуйте, развѣ это возможно.

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси,—вставилъ съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломить,—спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ, послѣдовательно идя, почему-жъ не свернуть любя и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала и, посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть крошечныя-крошечныя страстишки-то!—Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ этакія должно быть, чтушныя, малюсенькія: меньше воробьинаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не безпокойтесь, пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочитъ, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вырвичъ и Шпандорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи художества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и зато питалъ къ нимъ всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ

сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихалъ, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но зато, пересидѣвъ ихъ и дождавшись, когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлачки! кошлачки!—говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачки!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавенькіе, все сѣренькіе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живого не выйдетъ... То-есть,—добавлялъ онъ, кипятясь и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкусато, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тьфу, вы сморчки ненавистные!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродитъ. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребенка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно, иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки таки-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самоё поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,
То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ глазъ; держался передъ

нею какъ передъ идоломъ: ни слова необдуманнаго, ни шутки веселой—словомъ, ничего такого, что онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатѣ, заводила съ Долинскимъ рѣчь о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влеченіе о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинскаго ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ преобладало именно благоговѣйное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякаго знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушила этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго, однако, не могла не замѣтить и которымъ не отказывало себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая раза два въ недѣлю хватить водчонки, говорилъ Долинскому:

— Спасибо тебѣ, Несторка, отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!

Ильѣ Макаровичу и даже проницательной Дорѣ и въ умъ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинскаго съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпли и крѣпли.

Задумалъ Долинскій, по Дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что успѣвалъ написать между своей срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшеюся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кромѣ ея красотъ или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вни-

маніе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самаго симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея всегда ровная и спокойная сестра слѣдитъ за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо споритъ съ Дорою и просто дрожитъ отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописалъ Долинскій повѣсть до конца и сталъ выправлять ее и окончательно приготовлять къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана! вскрикнула, по окончаніи чтенія, Дора.

Анна Михайловна и Долинскій смутились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила объ этомъ болѣе рѣчи; но дня два была какъ-то задумчивѣе обыкновеннаго, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ погоди, скоро его какой-нибудь пріятель отваляетъ за эту повѣсть, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долинскаго.

— За что же?—вся вспыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что-нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоитъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслью о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣетъ.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть, — произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонько выходя изъ комнаты.

— Что ты, Дорушка, сказала? — спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ, Богъ знаетъ, что болтнула, — отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцѣловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мальчикъ Бобка.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, поздникъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись было въ столовую, закипѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому прѣнію и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую касторовую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа, мой вѣрный пажъ готовъ.

— Да-съ, готовъ. — отвѣтилъ Долинскій: — и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы,—произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ Дориным плечамъ, но вдругъ остановился и, поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ:

— Тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату и, притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку и, весь дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Что такое?!—спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда!—отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да что? что?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ!—произнесла чуть слышно Дорушка и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго.—Душенька! Анна Анисимовна!—говорила она идучи: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевича комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ, всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ:—Видите. Бобка на карнизѣ!—выбѣжалъ и, снова возвратясь черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь: —Богаради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ и отдѣляющему фронтонъ флигеля и бѣльевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слухового окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребенокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребенокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленкія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ

Бобки и, гнувшись, шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гниlого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непремѣнно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непремѣннѣе полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десяти-саженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбѣжна, потому что голубь бы непремѣнно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ мальчикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребенокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда-нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непремѣнно оборвался и легъ бы съ размозженнымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но на Бобкино счастье во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка!—позвалъ онъ потихоньку сквозь доску, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А!—отозвался на знакомый голосъ юный Блонденъ.

— Гляди-ка сюда!—продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду

привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говабь повзаетъ,—говорилъ, весь сіяя, Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его, шельму, сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! — отвѣчалъ мальчикъ, и самъ воззрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выцвѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правою рукою онъ сильно держался за край слухового окна и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнулъ туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и разсказывала, какъ она

Напоила его мятою.
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчикъ!—нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— Насилу поймалъ,—говорилъ весело Долинскій.

— Боже мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго,—проговорилъ шутливо Вырвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, — говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, — отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Черезъ часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Что это такое съ тобою?—спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорушка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпѣнія.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И что только такое тутъ говорилось!.. И о развитіи, и о томъ, что отъ погибели одного мальчика человѣчеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ,— проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже! — нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да что такое за «не тронь-меня» этотъ Долинскій.

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя,— сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ и молча поцѣловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцѣловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо не свойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вырвичъ частенько занмствовались у Долинскаго небольшими деньжонками и что должки эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значащихъ. Было извѣстно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбивается съ копейки и что въ одну изъ такихъ минутъ онъ самымъ мягкимъ и деликатнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что-нибудь; но отвѣта на это письмо не было, а Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непремѣнно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я?—говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо?—спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говоритъ, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чемъ-нибудь... неисправнымъ?—тихо вмѣшалась Анна Михайловна.—Всѣ пустые люди,—продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя!—началъ онъ, являясь домой, и разсказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ просилъ сообщать мнѣ такія мерзости!—взвизгнулъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели.—Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ!—зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею, всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости задорно смотрѣлъ въ сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аннѣ Михайловнѣ, наоборотъ, смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора!—отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ

такъ начинаетъ водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпитъ самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоитъ разсказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ — уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ.—жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ изъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже не большой ихъ почитатель,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздятъ.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто... боюсь масокъ.

— Боитесь!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все нипочемъ... Не люблю.

— Зато можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ: изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенэбель-

ные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкія шпильки. постоянно увеличивавшія гонявшійся за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ темы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужъ если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо,—разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тему.— Или бороться,—говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная!—съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это,—говорила она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ люди мало цѣнятъ то, что̀ въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутовство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ, и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что̀ эти волненья крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, «кажется»! Я вѣрю въ это,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба... а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я — человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? — Чистая, чистая любовь и борьба— вотъ настоящее наслажденіе: «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! — произнесло, остановясь передъ нимп, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ!—звало его пискливымъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ не интересная.—пищало домино.—Я ее знаю—совсѣмъ не интересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди, иди себѣ съ Богомъ, маска. — отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою,—настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? — спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно не знаю.

— Долинскій!—опять запищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище,— начала, смѣясь, маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь!—рѣшительно отвѣчала маска.—Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты—дорогъ мнѣ, Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ.—картавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила—*пришила его,*—отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора?—говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія навстрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ,—сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится?—спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ,—издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ!—продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ,—соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, что ему дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры.—Вотъ... Чортъ знаетъ, что я могу, что я долженъ сдѣлать? Если бъ Дора! ахъ, если бъ она! Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ—глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери!—произнесло сквозь смѣхъ заднее домино и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски висѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся піявки, и только захохотали.

— Ты не думаешь ли драться?—спросило его покрывало.

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвардеецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, разсказывалъ что-то лейбъ-казачьему офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ за колоннадою.

— Пустите меня Бога-ради!—просилъ Долинскій и ворохнулъ руками тихо, но гораздо посерьезнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.—Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна попрежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейбъ-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣреннаго старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

«Боже мой! — вспомнилъ онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ—откупщикъ», и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, что хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова—голова страшно разболѣлась,— говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго,—отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два или даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минутъ черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти,—тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость,—отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? — спросила, входя тоже нѣсколько смущенная, Анна Михайловна.

— Сытъ,—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста,—вы устали, — отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Что это было за явленіе такое? — спросила она, опускаясь въ кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову,—отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать—это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай,— упрашивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку. — Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду Богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило,—прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли *съ вами* чего дурного?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что̀ вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю, вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ,—отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что̀ сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что̀ же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія.

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово,—попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не сердитесь?—спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? — краснѣя и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что̀?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше,—чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо и сердце билось, точно подъ самымъ ухомъ. И онъ, и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, — прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ,

но взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцѣловала и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! не надо, не надо, Бога-ради не надо! — заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и, переведя духъ, какъ тѣнь, неслышно скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только Дорушкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день онѣ сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Обѣ вмѣстѣ?*—спросила, удивясь, Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, — отвѣчали дѣвушки.

— По крайней мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и, наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны.

Анна Михайловна была посаженою матерью дѣвушекъ, Несторъ Игнатьевичъ посаженымъ отцомъ, Дорушка и Анна Анисимовна — дружками у Оли и Маши. Илья Макаровичъ былъ въ эту пору боленъ и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частію Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что это за прелестное созданіе наша Дора!—заговорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить!— отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попуган! — позвала, спѣшно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего-жъ вы сюда забились? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинскій—*баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты

были бы очень огорчены, если бы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохенькаго квартета танцовала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ подъѣздовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кингчарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, — уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и наплу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная,—сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно,—молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ,—проговорила она, вздохнувъ черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ?—спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите,—отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна? — Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго и договорила: — вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, — продолжала, краснѣя и волнуясь, Анна Михайловна: — вы мнѣ доказали истинно и не словами, что вы меня, дѣйствительно, любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить, —произнесла она, мѣшаясь, какъ переконфуженный ребенокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцѣловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы — хорошій человѣкъ,— прошептала она и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе Риголетка насторожила уши и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это? — произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете! Десять часовъ стучусь и никакъ не могу достучаться. — взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услыхали, — отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра!—позвала она.

— Ну,—откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ и, остановясь, спросила:

— Что это ты такая?

— Какая?—мѣшаясь и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

— Странная какая-то,—проронила скороговоркой Дора и сейчасъ же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостаетъ чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, Бога ради, въ одномъ платьѣ по лѣстницамъ,—попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самаго порога, торопливо прошла прямо въ свою комнату и заперла за собою дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маленькія непріятности начинаютъ нѣсколько мѣшать большому удовольствію.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лѣчить, а она стала разнемогаться и, наконецъ, заболѣла самымъ серьезнымъ образомъ. Долинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнесть слово *чахотка;* но когда кто-нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Даши и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ, стало Дашѣ чуть-чуть будто полегче — Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель и еще посерьезнѣе прежняго.

— Ну, ужъ теперь, кажется, будетъ кранкенъ,—сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря:

— Не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собой имѣть, чтобы никому не надоѣдать и не злиться.

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владѣла собою

и у нея можно было замѣчать движенія безпокойныя, которыхъ бы она, вѣроятно, не допустила въ здоровомъ состояніи. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комодѣ зонтикъ и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и спряталась у него подъ стуломъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ-подъ стула и нѣсколько разъ больно ударила ее зонтикомъ.

— Дорушка! Дарья Михайловна!—останавливалъ ее Долинскій.

— Даша! что это съ тобой? — послышался изъ спальни голосъ Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку?—обрезонивалъ ее тихо и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственнаго удовольствія... За то, что она любитъ меня меньше, чѣмъ васъ,—отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестрину комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ? — возразила Даша, съ раздувающимися ноздерками.

— О, ну, Богъ съ вами! что вамъ ни скажешь, все невпопадъ, за все вы готовы сердиться,—отвѣчалъ, покраснѣвъ, Долинскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите. — добавилъ, беззвучно смѣясь, Долинскій.

— Отправляйтесь.—серьезно проговорила Даша.—Отправляйтесь, отправляйтесь,—добавила она, сводя его за руку со стула.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась?—отнесся Долинскій къ собачкѣ.— Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣшь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Ммм! дуракъ, настоящій дуракъ,—произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все—то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе, никто не вѣрилъ этому пуризму, и въ мастерской, при разговорахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: сама и ейный.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Капризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладанъ. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

— Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ,—сказалъ онъ:— я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.

— У нея чахотка?—спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде, чѣмъ смерть придетъ за мною, — говорила больная. — Все шушукаютъ, да скользятъ безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите

вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о Дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще съ начала болѣзни, она обвела глазами комнату и, къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня?—спросила шопотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатычъ.—отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Дорѣ ложку лѣкарства.

Дорушка выпила микстуру и, сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему,—отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный: сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лѣкарства, налилъ и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное, — проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце.—добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ Дашѣ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-lle Alexandrine, и тамъ все шло капромъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ разсказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ Вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣ-

вочки спали на своихъ постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготовляла на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны и правилъ какія-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьемъ стального пера, да щелканьемъ иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнѣе и внятнѣе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

И схоронятъ въ сырую могилу.
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

— Господи! какъ глупо такъ умереть.

— Она бредитъ?—спросилъ шопотомъ Долинскій.

— Должно-быть,—шопотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.

— Что вы тамъ все шепчетесь? — тихо проговорила больная.

— Что ты, Даша?—спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслышавъ ея вопроса.

— Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надъ покойникомъ.

— Богъ-знаетъ, что тебѣ все приходитъ въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.

— Нѣтъ, я не брежу: я не спала. Откройте мнѣ занавѣсъ,—сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.

Долинскій всталъ и откинулъ половину полога.

— Все, все отбросьте, вотъ такъ! — сказала больная. — Ну, говорите теперь, — добавила она, оправивъ на себѣ кофту.

— О чемъ прикажете говорить, Дарья Михайловна? — спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что-нибудь

Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробикъ ребенку, ужинъ отцу» прочтите.

Долинскій зналъ, что Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.

— Некрасова-то нѣтъ дома,—отвѣчалъ онъ.

— Куда же это онъ уѣхалъ?

— Я его далъ одному знакомому.

— Все врете! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались! — говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставъ изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.

— «Мцыри»,—сказала Даша.

Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».

— «Боярина Орша»,—сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».

Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для дѣтей» и, наконецъ, нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно,— сказала Даша. — Хорошенькаго понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подалъ ей книжку; она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглыя губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша?

— Что жъ я сказала? Я сказала: поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Долинскому и Аннѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Что ты, съ ума сошла, Дора! — могла только проронить Анна Михайловна.

— Какіе вы смѣшные! — проговорила, улыбаясь, больная.—Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что вы это говорите? что вы говорите! — повторялъ

съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія, и, помолчавъ съ минуту, опять сказала:

— Да поцѣлуйтесь, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ вѣрно хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла,—сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудаки! тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно!—воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадой и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки,—отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы, по крайней мѣрѣ, перестаньте, пожалуйста, комонничать! — крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что такое значитъ *комонничать?* Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю,—отвѣчалъ сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня,—сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, — отвѣчала ей Анна Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видъ вашъ ненавистенъ»,— тихо улыбаясь, шутила Дора. — Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ Богомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Присказка кончается и начинается сказка.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною и, прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, — утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чаротѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать?—спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего, что надо: а какъ ее везть? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это Богъ съ ними, пусть все пропадетъ: а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую?—вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ-быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведомъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопилъ отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ

надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Пріѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя и, поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь, слава-Богу, ужъ гораздо крѣпче, m-lle Dorothée: вамъ бы очень хорошо было теперь проѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или, лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру,—добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ, —подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете?—спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что хотятъ со мной дѣлаютъ: только пожить бы немножко.

— Поживете! — отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку и, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія. m-lle Dorothée!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

— Такъ немножко?

— Что немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете,—отвѣчалъ докторъ, чтобы что-нибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и Богъ съ вами,—сказала Даша.—Заѣзжайте жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь, пожалуй, ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за

нерѣшительность и объявила, что она съ большимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лѣкарства, а Анна Михайловна, собирая ея бѣлье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ.— говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на-дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ свое мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неусыпными заботами и бережливостью.

— Ну, что? - спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо,—улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣля, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

Я скриплу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногѣ.
Въ сафьяномъ сапогѣ.

— Кто бы это?—сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери.

Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что вы это дѣлаете?—вскрикнулъ

Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите,—запыхавшись и грозя пальчикомъ, отвѣчала Даша. — Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ-нибудь теплымъ —я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Пинь, какой онъ нѣжоха! Какой у него халатикъ мягенькій,—говорила Даша, проводя ручкой по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, Боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите. Несторъ Игнатьичъ? Видите?—спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка.—сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь.

— Чего ты на меня такъ смотришь? — спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу. — Не смотри такъ, пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? — проговорила Даша, глядя на огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на лѣченье мое, я думаю, Богъ знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что ты меня

обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто жъ думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что жъ это значитъ, денегъ почти что нѣтъ! — сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть гриста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно?—спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками.

Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала потемъ какую-то ни къ чему не годную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего,—сказала, подумавъ, Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности заплатила.

— Дорушка,— вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что сказала Даша насчетъ его жены, и сердце его не сжалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше,— сказалъ онъ:—кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорты нужно взять, — замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье,—шутила Дора.—Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цѣлую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею,—сказала Анна Михайловна, обращаясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушкѣ.

— Поѣдемте, мой милый! — сказала Даша, обернувъ къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцѣловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдемте, поѣдемте, Дорушка. Я только боюсь, сумѣю ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки? — спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ея глаза.

— Нѣтъ, не боюсь,—отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцѣлую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцѣловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу,—соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не надо, не надо, — говорила Даша, махая рукой:— ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнаткахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите корреспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, за границей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ея не видишь. Все маленькое, все сквернекое останется, а хорошее встаетъ

и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что напишете; будемъ марать, поправлять. А я буду лѣчиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право, какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что ли, везите меня съ этого «милаго сѣвера въ сторону южную».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо сумѣетъ иногда подслушать въ небрежно оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пишите чаще,—говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать, —отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь, пожалуйста.

— Я буду писать аккуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, — отвѣчалъ, смѣясь, Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатьичъ... то, что это я хотѣла сказать?.. Да, берегите, Бога-ради, Дору. Старайтесь, чтобъ она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра, въ восемь часовъ, нужно было ѣхать,

и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспалась хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ часъ или два. Вдругъ дверь изъ коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустилъ книгу на одѣяло и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Что это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, что подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Что вы? что съ вами?—спрашивалъ, пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ, Долинскій.

— Ахъ, Боже мой!—отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да что же такое? что? —допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, — проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна. — Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сюда пришла? — добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и, опустившись, сѣла въ ногахъ Долинскаго и заплакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете? — упрашивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цѣлуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу,—тихо отвѣчала Анна Михайловна и, спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! — заговорила страстнымъ шопотомъ Анна Михайловна. — Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, — прошепталъ онъ сохнущимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду,—лепетала Анна Михайловна, страстно цѣлуя его въ глаза, щеки и губы.—Я буду еще больше любить тебя!—добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ и, какъ мокрый вьюнъ, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Опять ничего не видно.

Извозчичья карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкѣ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! — говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее, и покачалъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, Бога-ради, — отвѣчала Анна Михайловна и, махнувъ рукой, опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша цѣловала дѣвушекъ и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра!—сказала, наконецъ, подойдя къ ней, Даша.

— Прощай,— тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу.—Лѣчись, выздоравливай, возвращайся скорѣй,—говорила она, цѣлуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цѣловались, плакали и, наконецъ, поцѣловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцѣловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу.—сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы, и, положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцѣловала. Губы ея были холодны, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Ми-

хайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверецъ съ заплаканными глазами и говорили:

— Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе.

Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и, отирая по временамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извозчику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!» — а Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ, и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали во-время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать въ багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголкѣ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болѣзненно подергивалось и она кусала до крови свои губки.

Подошелъ Долинскій и, укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, — добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки,—тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное: что бы ни случилось—все пишите мнѣ.

— Пожалуйте садиться!— крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу.

Долинскій взялъ саквояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. Въ глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто

успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, — говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти,—отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которыя будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама,—сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ этакими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ, вагоны дернулись, покатились и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною— даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши — пусто, вошла къ Долинскому—тоже пусто. Присѣла на его креслѣ, и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!» —подумала она и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ вырастало въ холодномъ полумракѣ бѣлесоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкапъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатой Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Даши, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, со слезами въ голосѣ, разсказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а

тутъ... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!..

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! — произнесла про себя Анна Михайловна и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только-что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Даши и Долинскаго начали приходить аккуратно, и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Маленькій человѣкъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть, судя по первой части, все будутъ люди очень маленькіе — до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя заранѣе. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ-отцовъ, спеціально занимающихся угнетеніемъ геніальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и, вѣроятно, еще всему этому пока не конецъ. Еще на-дняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запоролъ въ училищѣ, но который все-таки выкарабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣе посѣдѣлъ, сталъ тошить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя рѣчи и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не во-время, что даже и при немъ у знакомаго этому *орга-*

низму лакея *наскомыя* все-таки *могутъ отгрызть голову.* Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библіотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безсеребренника, словомъ — ни одного гражданскаго героя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурного воспитанія.* И потому, кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть не кто иной, какъ старый нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свистнетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохолъ до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старый, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ съѣдомаго, говаривалъ: «а возьмить, будьтэ ласковы, або ковбасу отъ менэ, або менэ отъ ковбасы, а то або я зъимъ, або вонà менэ зъистъ». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой физіономіей. Физіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки, тогда какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и

объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ по острову такой анекдотъ, что будто, работая что-то такое въ дрезденской галлереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund, — отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, — поправлялся и выяснялъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго профессора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью:

— Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ. Но, на несчастье свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большему, и оно же сыграло презлую шутку съ Ильей Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у профессора, прогулялся за городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда тотчасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видитъ — маленькая парикмахерская и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дотрогивались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхенъ все сидитъ и дѣлаетъ частые штычки своей иголочкой,

да нѣтъ-нѣтъ и подниметъ свою головку съ русыми кудерками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты, шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки,—думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ физіономіей королевско-прусскаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!»—подумалъ Журавка и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію васильеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Илья Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было, въ самомъ дѣлѣ, Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Во-первыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность); во-вторыхъ, вѣдь и чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть вдогонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только — совсѣмъ немножко, этакъ... бисхенъ, лепеталъ онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ не могъ вполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zuschneiden, mein Herr?—спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte,—твердо отвѣтилъ Илья Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— Nichts über den Kamm soll bleiben? — спросилъ нѣмецъ снова.

Илья Макаровичъ не понялъ и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja,—отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

— Oder nichts für den Kamm? — пристаетъ опять вахмистръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, что̀ это такое значитъ». — подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja,—махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

«Oder» и «eder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ ja не отдѣлаешься.

«Была не была», — подумалъ опъ и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмецкой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлянулся и съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготовленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

— «Recht wohl!» и, ничѣмъ не смущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую нашъ Самсонъ не замѣчалъ, какъ жречески священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его ganz akkurat до самаго черепа. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щетку, такъ что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцѣловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat!—произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться изданы своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ васильеостровской академіи позорѣ.

— Нѣтъ, я вижу, нечего тутъ съ этими чертями дѣлать! — рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою конію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ,— увы!—не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ говорилъ только:

— Ну, да, да, я знаю, что я смѣшонъ: но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются.

Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуля; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ, скорчась монсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на Смоленскомъ полѣ или подстрѣливаніемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружьенко,—говорилъ онъ насчетъ какого-нибудь ружья, къ которому началъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калибру — и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный погонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился неномѣрно и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцеришко бардзо добрый! — весь сіяя отзывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза.

И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но зато коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица. — говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить безполезную личность къ коршуну. — О! о! видите, якъ туляется, подлецъ, по клѣткѣ! — указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого-нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было заегозился, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во

всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы не плесть всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомѣрной доктриной и не ядовитымъ шипѣніемъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и неделикатно стѣсняла его свободу. По крайней мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно,—говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза не долюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ разсказывала о какомъ-нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими разсказами, точно, было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ-нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволялъ къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь — и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребенка. Ребенокъ захотѣлъ груди и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить,—оправдывался художникъ.— О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, — говорилъ онъ Дорѣ, когда ребенокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребенка и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнымъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули или изучать механизмъ добраго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ васильеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ и не прочь попотчивать пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ, дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянокъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумасшествія и каждый годъ хоть по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хоть лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Темныя предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скупыя стали?— спросилъ, поглядѣвъ на часы, художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скупа? — спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— Que dit? —спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я, въ самомъ дѣлѣ, невнимательная! — сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте!—крикнулъ Илья Макаровичъ: — я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафѣ.

— Пойдемте вмѣстѣ! — крикнулъ Илья Макаровичъ, и засѣменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкафѣ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, — сказалъ художникъ. — Теперь бы кусочекъ чего-нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что̀ найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать! не надо! не надо! Вотъ это что̀ у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закушу.

Илья Макаровичъ тутъ же, стоя у шкапа, выпилъ водченки и закусилъ грибченкомъ.

— Хотите еще рюмчонку? — сказала Анна Михайловна,

держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки. — Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слыхали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! — возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! — отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился и, разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть было не поперхнулся.

— А грибченки бардзо добрые,—заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтительные грибченки,—говорилъ Илья Макаровичъ, входя въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣдняго дома.

— Пора домой,—сказала она, не оборачиваясь.

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигарочку,—отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь?—спросила она по-французски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ,—отвѣчалъ по-русски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня,— отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? — спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки, видимо, развеселили.

— А Богъ его знаетъ, — вздохнувъ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италіи!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! брррр! Колоритъ-то! колоритъ-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а, впрочемъ, всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую?—посмѣиваясь и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, — проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія,—сказалъ, вздохнувъ, Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? — спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *тальянкамъ* до нашей, до русской! Наша русская какъ полюбитъ, такъ и пригрѣетъ, и приголубитъ, и пожалѣетъ, а это все...

— Qua? — спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка,—отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой.—Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть, вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! — добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцѣловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колоритъ-то, колоритъ-то какой!—говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней. — Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

— Да, въ одиннадцатой линіи, какъ говаривалъ Несторъ Игнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, сострилъ шельмецъ, чтобъ ему самому вымокнуть.

Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ, и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! — отвѣчалъ онъ и, обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава Богу, не пишетъ — успокоилась.

Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма!—сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

Идите ужъ, полно толковать,— сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ. Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая, какъ бѣлобрюхой, холодной жабой проползла надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала, вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю. Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за границей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала приписки подъ его письмами, и то не всегда.

«Что это значитъ? — думала Анна Михайловна: — До-

рушкѣ лучше, Дорушка почти здорова и отъ Дорушки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба...»

Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ниццу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ:—Зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать, —прибавляла она въ раздумьѣ.

Такъ все и ползло, и лѣзло скучное время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по таліи чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Если бъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура, — разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну: — что бы я только устроила... Tiens! Oui. oui... une petite maisonnette et tout ça.

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны

былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой пилянки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement, сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire!— отвѣчала ей гостья.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ Дашиной рукою. Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ post scriptum:

«Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгѣ я надѣюсь съ нимъ счесться».

Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ и что на-дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на-дняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли?— спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея, — отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?—Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь

вообразить, chère Vera, — отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто ожираетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь?—спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ.—отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина,—назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ-нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да,—отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ допроса, сама спросила: — такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ une tête d'or. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Ну... это не совсѣмъ такъ, — произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно,—отвѣчала, смѣясь, незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша,— сказала Анна Михайловна и разсѣянно спросила: — а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ разсказъ!— проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей maman. Можетъ-быть, хотите что-нибудь передать имъ?

— Merci bien. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ,—замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея amant.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай.

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа!—пройдя нѣсколько шаговъ, сказала m-lle Vera.

— И, ma chère! въ какомъ же по-твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ,—въ раздумьѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу и саркастически улыбнулась.

— Не настолько, однако, надѣюсь, интересенъ,— пошутила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ,—отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ и заговорили ни о чемъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Туманная даль близится и яснѣетъ.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала его съ нетерпѣніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одиннадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что-жъ это Несторка-то! — началъ онъ, только входя въ комнату.

— А что? — спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Не скоро доходитъ за границу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть?—спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть?—читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава Богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава Богу.

— А что, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ.—медленно проговорила Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? — спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чашки развѣ, такъ отъ скуки—могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

— Вы на меня не въ претензіи? — спросила она Илью Макаровича.

— За что?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, — сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Знаете, что я подозрѣваю?—сказалъ онъ.—Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна!— сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ и снова остановясь передъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза и, наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю,—сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка: вотъ что будетъ! — наконецъ, вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ, самъ понимаетъ, что дѣлаетъ.

— И ее,—еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу?—переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! — отвѣчала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человѣка опомниться,—таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашѣ?

— Да-съ.

— О, Аркадія священная! Дашѣ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жаль; а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ ничей разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жъ они о себѣ теперь думаютъ! — грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ—зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что же это такое вы сами-то, наконецъ, говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецъ!—Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что вы его такъ браните? Ну, что отъ этого поправится, или получшѣетъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете, хоть и въ Италіи были.

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего-нибудь сбивалъ?—сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ двухнулъ носомъ и, помолчавъ, спросилъ:

— Такъ какъ же это по-вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгалъ.

— Да... однакожъ... позвольте: не что же это она бьетъ, въ чью же-съ голову она бьетъ?! — спросилъ онъ, остановившись.

Любитъ.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что жъ будетъ изъ такой любви:

— Что изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... *вы* его, наконецъ, любите?

— Ну-съ; такъ что же далѣе? — произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

Ничего не понимаю! — крикнулъ, искавъ плечами, Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгалъ, мотая временамъ головою и повторяя съ агитаціей: — ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы, однако, поняли, что тамъ что-то есть? — спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлью повѣрить свои соображенія чужими.

Да такъ, просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ, наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго: даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; и плетъ все вонючій, на женщину никогда не взглянетъ, а женщины на него, какъ муха на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да,—уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинскаго и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя,— сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну, нельзя, нельзя.

— Нельзя, — подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серьезнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Дорушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ, а?.. развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и неистово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ»! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То-есть чортъ его знаетъ. Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ ума сойти! - отвѣчалъ художникъ, заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ знаетъ что такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, а то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но, наконецъ, это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать, однако?

— Ничего,—также тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлалъ на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жъ вы не сказали, здѣсь бы была водченка, — спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то-и-дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью,—разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно? — шопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу?—отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! — воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть,—отшутилась Анна Михайловна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Немножко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отъѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось, — глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ и ничего ему не отвѣтила. Подъѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостинницѣ номеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать, -сказалъ ей Долинскій.

— Да, я спать хочу.—отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не безпокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! — слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка — хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было по чемъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! — сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Что она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, что жъ еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? — она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія*, а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните ли вы его?

— Что же это такое, Дорушка?

— Свезите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется посмотрѣть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составитъ большой расчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ-нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей, и Даша была очень счастлива.

— Люблю я,—говорила она:—ѣхать на лошадяхъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глупыхъ вагоновъ.

Долинскій смѣялся и разсказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадяхъ по Россіи.

— Все это, можетъ-быть, такъ; я только одинъ разъ всего ѣхала далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запираютъ, прихлопнутъ, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертятъ: дескать, не смѣешь вылѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волыни и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультракатоличка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?—спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ?—Съ мужемъ?..

Съ какимъ мужемъ,—разсмѣявшись, спросила ее Даша.

А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете?—спросила, нѣсколько обиженная ея смѣхомъ, полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ,— отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и разсказала пани Свѣнтоховской какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Что жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія?

— Не то, что очень неприлично, а...

— А что?

— Оно... небезпечно.

Даша опять захохотала и, немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? — освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности?

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, — отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. Я, *моей собственной персоной!*

Даша разсказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ, и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно безпокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора,—не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать?

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулись домой только во второмъ часу. Войдя въ номеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, — отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что̀ о васъ говорили паны? — спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что̀ они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка?

Даша сдѣлала гримасу и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали; а потомъ спросила: — А вы слышали, что̀ о васъ говорили пани?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы Анинъ «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится.

Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ!—начала, подумавъ, Даша. Громами гремите противъ предразсудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Что же вамъ! Развѣ вы не любите сестры или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорятъ, «коханкомъ».

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, что у этихъ господъ значитъ *коханекъ*.—Мнѣ, это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ! — отвѣчала съ иронiей Даша. — Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко, еще, вѣрно, сидятъ въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, — повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время
Полупорывовъ долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Все обстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько слабою. Закачало ее, и потому Долинскій рѣшился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гораздо лучше и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ,—говорила она:—чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего добраго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года, живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скуки какъ-разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хоть со свѣта бѣжи тогда.

— Что вы выдумываете, Дорушка!

А что-жъ! Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Развѣ ужъ въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! — смѣясь, воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты, таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины или женщины?

— Тѣ и другія?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значитъ, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же, какъ

и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно: но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ Божіе идетъ Богови, а кесарево кесареви. Они и живутъ, и думаютъ, и любятъ, и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ?

Даша разгорячилась.

— Шуты святочные! сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ что же вы, Даша, разскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелесть! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣзнетились.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у! Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавитъ.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что я одно только не взлюбила въ полькахъ?—заговаривала Дора.

— Что?— спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! — отвѣчалъ Долинскій, все еще не вошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась и, пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову—какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сторону ничего не видятъ. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ: или строгость, или ужъ распущенность, есть своеволіе, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! — отвѣчала, качая головкой, Дора.

— Способнѣе, полагаете, наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ, дѣйствительно, смѣлость; наши женщины—хорошія женщины; онѣ, дѣйствительно, хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь не плохо и теперь живется съ ними?—добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка,—отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день, по пріѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостинницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ,

отыскивая квартиру. Задача была не малая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, не высоко и не дорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. M-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голландскимъ пѣтухомъ, жила въ крошечной комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того, у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, разгораживающаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигіеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. M-me Бюжаръ оказалась драгоцѣннымъ существомъ. Она услуживала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и со всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: — m-me Бюжаръ! Изъ другого окна ей весело откликались словомъ: — Signora Dorra! и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать что нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой куклой, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алыя пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щёчекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ

вслухъ или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣсколько разъ повторять ей нѣкоторыя мѣста и часто надъ многими крѣпко и долго задумывалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша, молча, замарала все начерченное ея перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала:

— Пойдемте гулять.

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба, молча, присѣли на зеленую травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это!—сказала Даша, не открывая глазъ.

— Что такое?—какъ бы оторвавшись отъ другой думы, спросилъ Долинскій.

— Такъ, Богъ знаетъ, что приходитъ въ голову. Вотъ напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю,— отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, — начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ-навыворотъ и таранты-на-вонъ. Клянутъ и презираютъ за то, что̀ только уважать можно, а уважаютъ за то, за что̀ отвернуться хочется отъ человѣка. Трусы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому что это все отъ трусости. En gros всѣ ихъ пугаетъ, а en détail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется — его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросаетъ — только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними!—тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе.

— Да, это *не счастіе!*

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету да взамѣнъ ея получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотѣ одна мелочь, на которую ужъ нельзя вымѣнять снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! — сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да *у никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась и, помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора не годится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькіе съ своими програмками. Счастья они не даютъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предразсудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пустые, безволье, привычка цѣнить пустыя удобства, да и многое, многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенное несчастіе.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предразсудковъ, противъ *всего*, что несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, силъ человѣческихъ недостанетъ.

— Но какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другого, для чего-то далекаго, неосязаемаго.

— Что жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погостѣ живучи, всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь, всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется, а впрочемъ, можетъ-быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что такое?.. Путаница-то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я, по какимъ-то счастливымъ случайностямъ, давно пріучилъ себя смотрѣть на многое по-своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю или, по крайней мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Разскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатычъ, что-нибудь про вашу матушку,—попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ разсказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, разскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье въ Кіевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но, увле-

каясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здѣсь, въ Ниццѣ, на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ниццскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій, не крадучи, можетъ взять у нея все, что̀ ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это разсказываете!—перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе:

— У насъ въ домѣ не знали, что̀ такое попрёкъ, или ссора: намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе—прахъ: намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько тебѣ чего нужно, столько для тебя есть на свѣтѣ».

Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій, молча, пожалъ руку Доры.

— Вы знаете,—продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются «Галубомъ»; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а Тазитъ только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она впередъ своей христіанской индульгенціей простила все людямъ, она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы: даже черненькое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записывалъ моею дѣтскою рукою ея имя — и оно гдѣ-то пропало тамъ, въ Москвѣ, и еще, можетъ-быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва

умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньѣ, и этотъ Шпандорчукъ или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ? —произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я, ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ - что я такое?.. Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что я, наконецъ, такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, — произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ. — опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? — спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все, что какъ-нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, — отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.—Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого!—сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ!—сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора, и, окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала:—*пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— Зато, — началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто:—кончается мое незабвенное дѣтство и съ нимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены въ началѣ хотя?—разспрашивала, силясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что̀ это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то небезкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и слава Богу.

— Нѣтъ, вы разскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете, какъ любятъ, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ, но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?

— Разъѣхались, разбросало насъ по разнымъ мѣстамъ.

— Какъ будто мѣста могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ.

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вамъ?

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра?—спросила она послѣ короткой паузы.

— Сестра моя?.. Богъ ее знаетъ! говорятъ, такъ себѣ... *барыня...*

— По «правиламъ» живетъ,—смѣясь сказала Даша.
— По «правиламъ»,—смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.
— Эгоистка она?
— Нѣтъ.
— А что же?
— Я вамъ сказалъ: барыня.
— Добрая?
— Такъ... не злая.
— Не злая и не добрая?
— Не злая и не добрая.
— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.
— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ, Анна Михайловна—хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.
— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?
— Обѣ вы хорошіе человѣки.
— Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?
— Васъ, конечно.
— Ну—то-то.
Они разсмѣялись и, наговорившись до-сыта, пошли домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Любовь до слезъ горючихъ.

Тихое однообразіе пицкой жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушимое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ semper idem. при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ, увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей *съ искрой Божіей* нѣтъ semper idem, и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи

этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучатъ эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣкъ снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ café съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кирилломъ, и когда Кириллъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непрямомъ положеніи. А Кириллъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кириллъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свойственнаго большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кириллѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ-таки ровно ничего незначащимъ: въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кириллъ Онучинъ?.. Да какъ бы это вамъ сказать, что̀ такое Кириллъ Онучинъ?—отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками, всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кириллъ Александровичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что-нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи—знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была из-

вѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III, а во всѣхъ кружкахъ заголовали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ. Кириллъ Александровичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ ней подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленькій женскій наперстокъ и, загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большомъ.—разсказывалъ Кириллъ Александровичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвесть въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто-на-просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слухъ ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему чувольствію за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще большую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла пятилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парисокъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ

этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ огородцемъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошенькія коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая телѣжка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы*, какъ называли Жервезу горожане, которымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошаденкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою крошечную телѣжку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжащійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою телѣжки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материно молоко, хлопалъ ее полненькой ручонкой по смуглой груди и улыбался, зазирая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и, оставивъ у нея ребенка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала стаканъ кофе, брала ребенка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Дорушка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица* ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи,—говорила она Долинскому:—а не мы, Мароы, кажется, только и стоящія одного упрека... Можетъ-быть, только мы и выслужимъ за свое мароунство.

— Опять новое слово,—замѣтилъ весело Долинскій:—то разъ было *комонничать*, а теперь *мароунствовать*.

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны,—отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кириллъ Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой нетурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь,—наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай, ай!—говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то,—отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше,—успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идиллія изъ повѣсти или романа,—говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика:—благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно,—увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будитъ меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубитъ вамъ дровъ и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ, бѣдный, не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ-быть, и поетъ,—пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ, нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цѣловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чиститъ его бѣлье, кто ему починитъ, если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычиститъ его бѣлье и его поцѣлуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? — произнесла, блѣднѣя, «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ. — Вы знаете что-нибудь, mademoiselle?—спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ и быстро вперяя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, — говорила встревоженная Дора, вставая и цѣлуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила и что я, напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! — проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора, я ему совсѣмъ вѣрна: я противъ него даже помысломъ не виновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и

ласковый, и потомъ вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались: онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, — говорила она, развеселясь и цѣлуя за каждымъ словомъ своего ребенка. — Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ, правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ зато, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшіе; мы все цѣлуемся, все цѣлуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ разсказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза: это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съ ума и онъ тоже.

— А что вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ? *Недурненькій* онъ или нѣтъ? — говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что же?—переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! — отвѣчала ей на ухо Жервеза.—Онъ такъ меня цѣлуетъ,—шептала она скорою воркой:—что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы Дорушка остановилась разъ шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень легко: за ухо приведетъ и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ;* помни это, голубчикъ!—говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно: но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она зато вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила въ мужѣ самоё себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы непзвинительно; но когда женщина любитъ истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на сѣнѣ?

— Тогда она собака на сѣнѣ.

— Видите,—начала, подходя къ городу, Дора: — почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—многорѣчивыми Марѳами. Какъ это все у нея просто и все выходитъ изъ одного *люблю*.—Почему *люблю*? — Потому, что онъ такой недурненькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ — и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ пойдетъ марѳунство: какъ? да что? да, можетъ-быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, супленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ нещися и молвить о многомъ — и все пойдетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, сталобыть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей любви*, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ,—подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почемъ вы знаете, чего здѣсь болѣе — любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь — большое дѣло! Она скромна, она молчитъ... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь,—сказала она: — вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ-быть.

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! — протянула Дора и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? — спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!.. никакого.— отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, ленть для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ сиреневыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземнаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насѣвшую на его лакированный ботинокъ, изъ раствореннаго низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дискканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною сѣтью ползли синіе усы винограда; Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорою и остановился у ея плеча.

— Тсс! — произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только-что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадонны, съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами - все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ сарафанѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой рубашки

лежалъ небольшой черненькій шарикъ. Это была головка ея младшаго сына, который тихо сосалъ грудь и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра Жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки сжавши на груди, но смотрѣлъ въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлый котенокъ, претаціозно раскачивающій ланкою привѣшенное на ниткѣ красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадоннѣ и тотчасъ же запѣла: «Ты, Который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти пѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно, отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но, тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ тріо была гармонія удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣтъ съ нами, Ты также помилуй, и съ ними живи,— пѣла Жервеза послѣ первой молитвы.— Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и заглядывали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

«А тѣхъ, которые любятъ другъ друга,— запѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ перваго звука зазвенѣли слезы:— тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избави ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другъ къ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и не попусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плывшія въ голосѣ Жервезы и затруднявшія ея пѣніе, разомъ хлынули цѣлымъ потокомъ, съ стонами и рыданіями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ ду-

шевныхъ движеній не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за насъ, Алиночка! — говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ переставъ колыхать лапкой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадонны: въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать, —произнесла въ это время, успокоиваясь, Жервеза: — будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Бѣднымъ дѣтямъ, — запѣла она спокойнѣе: — дѣтямъ-сироткамъ будь Ты отцомъ и обрадуй ихъ лаской Твоею, и добрыхъ людей имъ пошли Ты навстрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и платья, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва, повидимому, приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникѣ и, незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ садика.

— Что молится такъ, Долинскій? — спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій успѣлъ ей что-нибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ удареніемъ сказала: — такъ молится *любовь!* Любовь такъ молится, а не страсть и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронулась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Что жъ, вы не зайдете, развѣ? — спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?.. Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ пред-

ставляется мнѣ теперь этотъ домъ?— проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухѣ руку къ домику Жервезы.—Это горящая крапива, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ. Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, — сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, — добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значитъ, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта?—ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по-вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ Анина, или Жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?.. ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какія-то тамъ глупыя страсти.

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Если бы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно-быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ-быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Что это такое? первое дѣло—оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской—не Божій: всегда въ немъ много ошибокъ, — отвѣчалъ спокойно Долинскій. — Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался—извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случалось, хоть и со мною даже... идетъ, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ — кракъ, смотришь — все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну, вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я не виноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди уми-

рають? Какъ это послѣдняя минута?.. вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ!—подумалъ я себѣ тогда. а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Умретъ кто-нибудь — мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ—бацъ! не поймалъ, умеръ и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это переживалъ... Я *увѣренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо. ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но *нынче-съ*!.. позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша, и вы мнѣ этимъ не польстите. И вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снялъ шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, ммм! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребенокъ! Ну,

развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— Но крайней мѣрѣ, очень многое.—Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные, люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а односторонникъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наобломашь, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ о немъ разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ — старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожекъ и читаю: вдругъ, вижу я, за куртиной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро и, кромѣ насъ да птицъ, въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за

каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху и чуть слышно шепнулъ мнѣ:

«— Ни до чего не дошелъ.

Говорю ему:

«— А какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи.

«— Какъ отношусь?—говоритъ.

И опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ:

«— Не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ.

— Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я, дѣйствительно, человѣкъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами, и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю Богъ знаетъ что, Богъ-знаетъ что! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко!—проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пушокъ подъ ея крылышками.

— Милая!—сказала она, поцѣловавъ птичку въ головку,

приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минутъ десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ все страстнѣе и страстнѣе цѣловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого каштана, она поцѣловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ,—сказала она ему, идучи по пустой улицѣ: — знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими *днями передъ казнью*, вамъ остается одно—найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою разсказы о прошломъ, раскрывая передъ нею еще подробнѣе внутренній міръ разсказчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ!—сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку:—разскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ что это вы выдумываете, Дора?

— Такъ разскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто-жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что вамъ разсказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разсказалъ свою почти дѣтскую любовь къ какой-то кіевской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разсказалъ ей въ главныхъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость!—прошептала Даша и, вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше что было?

А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Что?—спросилъ ее Долинскій.

Такъ, ключъ найденъ!—чуть слышно уронила Дора.— А какъ вы думаете,—начала она, помолчавши съ минуту:— вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Что хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что кому нравится.

— Я вамъ говорю, что *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! къ тому, что если встрѣчается что-нибудь очень хорошее, такъ его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а, напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постоялымъ дворомъ, — смѣясь, отвѣчалъ Долинскій.

— Гадко, а похоже, пожалуй.

— А, пожалуй, и непохоже,—отвѣчалъ Долинскій.

— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.

— А другой разъ и пустой дворъ простоитъ.

— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Меркурія отыскать никогда не любившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— Что-жъ, Меркурій отыскалъ?

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

Трехъ!

— Только-то?

— Да-съ, и эти три, знаете, кто были? *Три фуріи!*— протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь этакого фуріознаго сообщества.

Вы съ какой же это стати?

— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурія и онъ найдетъ ужъ четырехъ.

— Еще полюбите и какъ полюбите.

Нѣтъ ужъ, кажется, поздно.

— Любить никогда не поздно.

— Вотъ за это вы умникъ! Люди жадны ужъ очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?

— Конечно, правда.

— Какое у насъ образцовое согласіе!

— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.

— А вѣдь я бы могла очень сильно любить.

— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По-моему, любить, значитъ... *любить*, однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.

— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви»?— улыбаясь, продекламировала Даша.

— Но, кто—о, сердце! можетъ противиться тебѣ?—отвѣчалъ Несторъ Игнатьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

Но сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Любовь, для неба и земли—святыня,
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до пафоса, до поэзіи.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы

— Виноватъ.

— То-то.

Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки напletешь на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсѣмъ не права. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струситъ.

— Напримѣръ, что-жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко поясніе.

— Да что-жъ тутъ яснѣе? Мало ли что случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любитъ другая женщина, для которой потерять этого человѣка будетъ смерть... да что смерть! Не смерть, а мука, понимаете—мука съ платкомъ во рту. Что тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь, не любитъ васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любитъ больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье!

Вѣдь если, положимъ, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любитъ васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то Б. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любитъ, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой расчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, — отвѣчала она: — въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что̀ даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, что̀ сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если бъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка: не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, что вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то, разумѣется — правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ!—отвѣчалъ, шутя, Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, — отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила: — а хотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что̀ вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Ахъ, истерическіе! Ну, отгадывайте, что̀?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, если бъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла:

— Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ и, быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Даши, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виноватъ, проспорилъ. Можно, дѣйствительно, поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ, и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теперь,— сказалъ нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, — началъ Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своемъ зальцѣ.

— Это зачѣмъ?— спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги и, не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платья. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чемъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста,

ни положенія и, опустивъ глаза, тихо посмотрѣла на свои поковшіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! Въ какомъ все строгомъ чинѣ! — сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной конфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ и постучался въ Дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ—отвѣта тоже нѣтъ.

— Даша?—кликнулъ онъ:—Дора! Дорушка!

За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика, и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги,—сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу!

И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-Бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите, Дора, только растирайте скорѣе свои ноги—не остылъ бы спиртъ.

— Попросите хорошенько.

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», — произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря:

— Какую вы это скверность купили.

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? — спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли?—воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, — сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая, надоѣдливая,— говорила, смѣясь и глядя на него, Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый плэдъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! — спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, — отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько,—и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ!—крикнула Даша.

— Что вамъ угодно?

— Что жъ это за невѣжество?

— Что такое?

— Ужъ вы нынче не прощаетесь со мной?

— Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

— А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?

— Ну, пожалуйте же вашу ручку.

— Не надо,—отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.

— И тутъ капризъ.

— Вездѣ, да, вездѣ капризъ! на каждомъ шагу будетъ капризъ—потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ Дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышитъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго, и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала не спокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель—очень неблагопріятная вещь при ея здоровьѣ: прописалъ ей лѣкарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все супилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребенокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначащими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно, ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придираться и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ, Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? — спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего жъ вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно-быть, капризничаю?

— Ну, что жъ дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, если бы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ,—отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться! — продолжала вспыльчиво Дора.— Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всѣ врутъ, и только. Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда,— отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій приглашалъ-было ночевать къ ней m-me Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери Дашиной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ!—тихо покликала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали?—спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Что же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота-жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла,— начала, зѣвнувъ, Даша.— Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, — сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повыдумывали: вымышлен-

ное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно, что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное?—философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновенію своему, шалитъ, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Безсонница меня мучаетъ,—говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая безсонница! Вы просто выспались днемъ.—отвѣчалъ Долинскій.—Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу,—отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите, — сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и, улыбнувшись, проговорила: — львы — хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»,— подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любитъ!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что-нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ

ся кровати и, прислонясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахàра жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромные крокодилы: «это, должно-быть, Нилъ», — думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ, ты Днѣпръ ли мой широкій!
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

— Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?—спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха!—думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, — говоритъ крокодилъ: — а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри же,—продолжаетъ крокодилъ:—разъ, два!

Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

— Это мой фантъ, твой въ лодкѣ,—говоритъ чудовище.

Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

— Это твой фантъ, — внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонутъ.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ»,— подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, облитую слабымъ свѣтомъ, проходив-

шимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцѣловалъ эту руку, какъ цѣловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцѣлуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая къ его поцѣлуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу; она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣлой наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышитъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры и поспѣшно вышелъ за двери.

Если бъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь и, еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку... Вмѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію?—сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-me Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла

на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе и видно было, что онъ искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдетъ,—разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи Дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже, гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану».

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ,—сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила,—сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Былъ восьмой часъ вечера. Угасалъ день очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сядемте здѣсь, — сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко,—сказала Даша.—Солнце садится, а все жарко

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто, Даша легла на немъ и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите,—сказала она, заслонивъ волосами лицо До-

линскаго: — я, точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій». Надо жъ, чтобы у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ людей. Вотъ если бы у васъ были такіе волосы, — прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ:—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ,— сказалъ, смѣясь, Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица и проговорила:

— Да вы-таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько и ничего не отвѣтилъ; Дора, молча, смотрѣла въ сторону и, рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Что это васъ такъ обходитъ?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чего добраго, не доѣдете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почемъ знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ-быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выползетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ-быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ. — А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли!—спросила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанѣ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ, чей же замѣчательнѣе? — окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну что за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла; глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда А любитъ Б, а Б любитъ С, и С любитъ Б, что этому С дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же! Вѣдь, это вы мнѣ эту алгебру-то натолковали,—сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что сказать.

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать во-время; ни въ чемъ не могу найтись!» — размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— А любитъ Д, и Д любитъ А! Б любитъ А, но А уже не любитъ этого Б, потому что онъ любитъ Д. Что же теперь дѣлать? Что теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнѣе крикнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно,—уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обиняковъ: *я васъ люблю.*

— Дора!—вскрикнулъ Долинскій и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе,—продолжала серьезно Дора:—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!.. Чего жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое—хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я, вѣдь, видѣла, какъ ты хотѣлъ цѣловать мое лицо,—проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго,—ну, вотъ оно—цѣлуй его: *я люблю тебя.*

— Дора, Дора, что вы со мной дѣлаете? — шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ.—выговорилъ, задыхаясь, Долинскій.

— Не зачѣмъ!—страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцѣловала его въ губы.

— Любишь? — спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите!—робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя и, глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня?

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, — проронилъ, блѣднѣя, Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ...*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше,*—досказала Дора.—Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась въ него безконечнымъ поцѣлуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю! — шептала она, сгорая подъ поцѣлуями.

Лепетъ прерывалъ поцѣлуи, поцѣлуи прерывали лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора идти было домой.

— Боже, какъ уже поздно!—сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ,—тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла, облокачиваясь на руку Долинскаго; онъ шагалъ уныло и нерѣшительно.

— Постой!—сказала Даша.

— Что вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды миріадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбереж-

наго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо колеблющимся заливцемъ, а въ открытое окно изъ ярко освѣщенной виллы бояръ Онучиныхъ неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

М-me Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего окна на окно Доры, но окно это, попрежнему, все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ m-me Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенныя руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ!—повторилъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю, — подумалъ онъ нѣсколько радостнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки.—Боже! если бъ смерть! Если бъ не видѣть и не понимать ничего, что̀ такое дѣлается.»

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ Дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой шпаги, поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой му̀ки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ!—позвала съ поко̀йной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, — отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногою свое кресло.

. . . . . .

. . . . . .

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не безпокоило; она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря и, стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?

Оглавленіе

VI ТОМА.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ.

стр.

Часть I. 5

Часть II. 133

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть третья.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Живая душа выгораетъ и куется.

Ничего не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣшительнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей не оставалось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди умѣютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человѣкъ, и Дора не безъ основанія часто называла ее «невозможною».

Въ тотъ самый день, ницшскими событіями котораго заключена вторая часть нашего романа, именно наканунѣ св. Сусанны, что въ Петербургѣ приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльнаго и непріятнаго мѣсяца іюля. Аннѣ Михайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ пропастью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась изъ рукъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидѣть въ свою полутемную комнату. На дворѣ было около десяти часовъ.

Въ это время къ квартирѣ Анны Михайловны шибко подкатилъ на лихачѣ молодой бѣлокурый баринъ, съ туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего не выражающей физіономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ извозчику ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко, скрылся за рѣзными дверями парадного подъѣзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина

и спросилъ Долинскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долинскаго нѣтъ ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса.

— А лучше всего,—просилъ онъ:—попросите мнѣ повидаться съ хозяйкой.

«Что ему нужно такое?»—раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букета.

— Мое почтеніе! — развязно хватилъ онъ при появленіи въ дверяхъ хозяйки и тряхнулъ себя циммермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкапа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича? — спросила она незнакомаго гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмецо.

— Адресъ его просто въ Ниццу, poste restante.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да, я говорю, просто: Nicce, poste restante.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на безцеремоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмецо?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться.—Гость подалъ конвертъ, написанный на имя Долинскаго очень дурнымъ женскимъ почеркомъ, и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ,—отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ, — повторяла въ раздумьѣ Анна Михайловна:—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ, — отвѣчалъ гость, радостно осклабляясь и показывая рядъ нестерпимо глупыхъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Аннѣ Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью разсказывалъ, что онъ давно живетъ здѣсь въ Петербургѣ, служитъ *на конторѣ*, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата,— произнесъ онъ, заготавъ жеребчикомъ: — ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онѣ у насъ два башмака—пара. На обухѣ рожь молотятъ и зерна не уронятъ.—Азовцевъ заготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, — сказалъ онъ, наконецъ, видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте,—отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жъ такое! — разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки. — Къ намъ часто даже довольно дамы заходятъ, чаю выкушать или такъ отдохнуть.—Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, — отвѣчала Анна Михайловна. — Когда-нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, — отвѣчала, чтобъ отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены! — думала Анна Михайловна.—Распечатать его, или нѣтъ?—Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь непріятное? Если опять ка-

кой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣмъ попусту тревожить?» — Анна Михайловна взялась за конвертъ и положила палецъ на сургучъ, но опять задумалась. «Становиться между мужемъ и женой!—Нѣтъ, не годится»,— сказала она себѣ и положила письмо опять на столъ. Вечеръ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна ѣла очень мало и въ раздумьѣ глядѣла на m-lle Alexandrine, глотавшую все съ аппетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя немножко, но все-таки, однако, уступаетъ французской двадцатипятилѣтней гризеткѣ. Послѣ ужина опять письмо завертѣлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпекину, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а въ другое — «распечатай, распечатай!» Она вспомнила, какъ Даша говорила:—«нѣтъ, мои ангельчики! Если бъ я когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужъ — слуга покорная — чьи бы то ни были, хоть бы самыя законныя старыя права на него, все бы у меня покончились».—«Въ самомъ дѣлѣ!—подумала Анна Михайловна,—что жъ такое; если въ письмѣ нѣтъ для него ничего непріятнаго, я его отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумаю, какъ ихъ сгладить, и тоже отошлю».—Она зажгла свѣчу въ комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, измятой почтовой бумажкѣ, рыжими чернилами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высылать мнѣ ежегодно пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего кіевскаго дворца. Я, по неопытности, приняла этотъ вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣсто денегъ имѣю только однѣ хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнѣ придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мнѣ право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далѣе:

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку, а я хочу имѣть чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать по почтѣ. Вы зарабатываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла бы быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣнилъ ее, ежели бы вы не завязали ея вѣкъ. Если вы не

захотите этого сдѣлать — я вамъ покажу, что васъ заставятъ сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатью разомъ — вы развратникъ были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельнаго шага, что вы теперь обязаны меня обезпечить и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ васъ хорошенько проучатъ, какъ негодяя. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которою вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, — продолжала въ своемъ письмѣ m-me Долинская: — и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей васъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодованія. Она вздохнула и продолжала читать далѣе:

«Я осрамлю и васъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно — жалуйтесь, а я васъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренно радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина! — сказала она сама съ собою, кладя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе, и она, выбравъ себѣ перо по рукѣ, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прилагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу васъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинскаго, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры, вѣроятно, не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго разстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что вамъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣтъ и его совсѣмъ нѣтъ въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ, вмѣсто вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ

себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить васъ насчетъ денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ просить васъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣрамъ, потому что онѣ вовсе не нужны и совершенно безполезны».

Написавши это письмо. Анна Михайловна вложила его въ конвертъ вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками и спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ:

— Слава Богу, что только всего горя.

Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой, и, если читатель помнитъ ихъ разговоръ у шкапика, гдѣ художникъ пилъ водченку, то онъ припомнитъ себѣ также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо было причиной ея горя.

Послѣ новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анна Михайловна уже нимало не сомнѣвалась, что въ Ниццѣ дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Илья Макаровичъ, сидя за своимъ мольбертомъ въ своей одиннадцатой линіи, пришло опять письмо изъ губерніи. На этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловнѣ кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что теперь ей извѣстно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, загубившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встрѣчной; сама пріѣдетъ въ Петербургъ, сама пойдетъ всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милымъ друзьямъ, что она можетъ сдѣлать.

Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла про себя: «дура!» потомъ положила его въ корзинку и ничего на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго, но она знала, что здѣсь нечего дѣлать, и давно рѣшила, что въ этомъ случаѣ всего нужно выжидать отъ времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какія безполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя того, что считала своимъ достояніемъ по человѣческому праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но, дорожа своими силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одно изъ двухъ—терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной и

злобствовать, или жить только по великодушной милости побѣдителей.

Она не видѣла ничего опаснаго въ своей системѣ и была увѣрена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что могла взять, а что ужъ потеряно, того, значитъ, взять было невозможно по самымъ естественнымъ и, слѣдовательно, самымъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душѣ и всѣмъ предоставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жизни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкѣ, разорвавшимъ ея скромное счастье.

— Пусть будетъ, что будетъ,—говорила сама себѣ Анна Михайловна:—тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь,—и продолжала писать имъ письма, полныя участья, но свободныя отъ всякихъ нѣжностей, которыя могли бы ихъ безпокоить, шевеля въ ихъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А что дѣлали, между тѣмъ, въ Ниццѣ?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ницца.

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ комнаткахъ m-me Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ божествамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартирки съ итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣздкѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о многомъ, о чемъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладѣла Долинскимъ и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотрѣть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга!—восхищалась Даша, сжимая голову Долинскаго въ своихъ розовыхъ, свѣженькихъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи ясно читала всю необъятность чувства, зажженнаго ею въ душѣ своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любилъ,

какъ меня? - спрашивала она снова, стараясь добиться отъ него желаемаго слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще жарче ласкала Долинскаго.

Разговоры ихъ никто бы не записалъ, да они всѣмъ бы и наскучили. Всѣ ихъ разговоры были въ этомъ родѣ, а разговоры въ этомъ родѣ могутъ быть вполнѣ понятны только для того существа, которое, прочитавъ эти строчки, можетъ наклонить къ себѣ любимую головку и почувствовать то, что̀ чувствовали Даша и Долинскій. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чемъ не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять пріѣхало изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучиныхъ. Семейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древняго русскаго княжескаго рода, сына — молодого человѣка, очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери, которая подъ Новый годъ была въ магазинѣ «M-me Annette» и вызвалась передать ея поклонъ Дашѣ и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына—Кирилломъ Сергѣевичемъ, а дочь — Вѣрой Сергѣевной. Семейство это было немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скуки вспомнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала просить Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь за-просто. Несторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ Онучинымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый выходъ въ чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ никуда не выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой онъ изрѣдка читалъ газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его гдѣ-нибудь или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террасѣ, окружавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣла и разрѣзывала только что полученную французскую иллюстрированную книжку.

— Здравствуйте, m-r Долинскій!—сказала она, радушно протягивая ему свою длинную бѣлую руку.—Берите стулъ и садитесь. Маман еще не вышла, а брата нѣтъ дома—поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете?—спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по-старому.

— Рвешься изъ Россіи въ эти чужіе края, — резонировала дѣвушка:—а пріѣдешь сюда—и здѣсь опять такая же скука.

— Да, тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжалъ.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ: «etwas».

— Sehr wenig, значитъ.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, что́ написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣевна! Что́ вамъ за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ, и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, — шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна и, оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а что́ дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше,—отвѣчалъ Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна разсказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совѣмъ не смотря на Долинскаго, но, впрочемъ, на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной перемѣны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папироску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, курилъ, но теперь не курю.

— Что́ же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣевна,—шутилъ Долинскій.

— А, это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, mieux tard...

— Que jamais — замѣчаніе во всѣхъ другихъ случаяхъ совершенно справедливое.—подсказалъ Долинскій.

— Не собираетесь въ Россію?—спросила Вѣра Сергѣевна послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, разскажите.

М-lle Онучина разсказала нѣсколько русскихъ новостей, которыя только для нея и были новостями и которыя Долинскій давно зналъ изъ иностранныхъ газетъ. Старая Онучина все не выходила. Долинскій посидѣлъ около часу. простился, обѣщалъ заходить и ушелъ съ полной рѣшимостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго?—спросила его Даша, встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же время и веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, — отвѣчалъ покорно Долинскій.

— Часъ! какъ это странно...—нетерпѣливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя. что говоритъ не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да... очень можетъ быть. Ну, что жъ тебѣ разсказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Анны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла, сложа руки, Долинскій съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, насѣвшую на его бѣлой фуражкѣ.

— Что жъ еще разсказывали тебѣ? — спросила, поправляясь на диванѣ, Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не разсказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничаешь.

— О новостяхъ говорила m-lle Véra.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жъ ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ,—сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ идти нельзя. Будь же человѣкомъ, ужъ если не съ волею, такъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально и съ легкой презрительной гримаской.

— Я жъ люблю тебя!—успокоивалъ ее Долинскій.

— И боишься.

— Чего?

— Прошлаго.

— Богъ знаетъ, что тебѣ сегодня кажется.

— То, что есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно: я только думаю, что честнѣе было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, что нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь?—спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жъ тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не безпокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда,—сказала съ задумчивой улыбкой Даша и, не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцѣловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный! — говорила Даша, усѣвшись отдохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго.— Смѣшно даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшно?

— Да какъ же!—Не куритъ, не ходитъ никуда, въ глаза мнѣ смотритъ, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

— Наскучило.

— Врешь!

— Право, наскучило.

— Право, врешь. — Ну, говори правду. Чтобы дыму не было—да?

Долинскій улыбнулся и качнулъ въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ—чѣмъ?

— Вѣдь, у тебя сердце все размѣненное, а любить можно разъ въ жизни,—сказала, смѣясь, Даша.

— Ну, почему жъ я это знаю.

— А что, если бъ я умерла?

Долинскій даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся,—отвѣчала Даша, протягивая ему свою ручку.—Не сердись—я, вѣдь, пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный человѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣю особеннаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. Ты съ ума сойдешь, если бъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, сѣла, долго внимательно смотрѣла на него, потомъ подняла волосы съ его лица, тихо поцѣловала его въ лобъ и, снова опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! что съ нимъ будетъ? Что мнѣ съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она, попрежнему, была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нѣжнѣе и добрѣе.

— Напишу я, Даша. Анні.—говорилъ ей Долинскій.
— Что жъ ты ей напишешь?
— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.
— Она это и такъ знаетъ!—улыбаясь, отвѣтила Даша.
— Почему ты думаешь?
— Я это знаю.
— Все же надо написать что-нибудь.
— Нечего писать что-нибудь.
— Нѣтъ, по-моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.
— Подожди. Я напишу сама.—отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.
А все не писала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Цвѣтутъ въ полѣ цвѣтики да померкнутъ.

Мартъ прошелъ. Дашѣ ужъ невмоготу стало скрывать своего нездоровья и съ лица она стала измѣняться.
— Весна, вѣрно, у насъ начинается,—сказала она одинъ разъ Долинскому.
Долинскій понялъ Дашкино вступленіе и мягкосердно поблѣднѣлъ.
— Слабость у меня какая-то во всемъ тѣлѣ. — пояснила Дора.
— Что съ тобою?
— Ничего, а такъ—слабость.
— Господи! Дорушка! счастье мое, да что жъ это съ тобой?
— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.
А доктора звать ни за что не хотѣла.
Кашель сталъ появляться и жаръ по ночамъ обнаруживался.
— Какой ты забавный!—говорила Даша, откашливаясь, смотря на Долинскаго. — Я кашляю, а его точно давитъ что-нибудь! — откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься?—весело спросила она и засмѣялась.
— Не смѣйся такъ, Дора.
— Чего жъ плакать, мой другъ?
— Боюсь я за тебя.
— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно шутить.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь,— говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы, и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хочу.

— А лжешь!

— Да полно жъ тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, что сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да что же ты хочешь сказать? — нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да что же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! что же такое? что?

— Давно дурно.

— Чего жъ ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь,—сказалъ, вскочивъ, Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, — сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумьѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи,—сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пусть будетъ очень тихо, мнѣ хочется крѣпко уснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Приговоръ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ и, долгонько посидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскисъ! — говорила она Долинскому.—Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще, попарствуемъ.

Долинскій только руки ея цѣловалъ. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же. А ты вотъ что сдѣлай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ, точно, было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны: наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло браться. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакой, знаешь, пока маленькій ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Ничего нѣтъ смѣшного! Я не меньше тебя заработаю. Англичане же всѣ ходятъ ѣсть ростбифъ въ своемъ трактирѣ.

— Ну?

— А у меня будетъ солянина, окрошка, пироги, квасъ, палотки: не бойся, пожалуйста, я вѣрно разсчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану. — Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь, не дадутъ. Скажутъ, сама безнравственная. А трактирщицей, ничего себѣ, могу быть—даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Нечего, нечего,—говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь, я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.— Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщинѣ потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же, вѣдь, не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему, не думая, какъ жить, или думая, по-барски, сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значитъ, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, — напоминала она, вскорѣ послѣ этого разговора, Долинскому.

— Что же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнный: все ткни его носомъ да покажи. Ну, разумѣется, пиши повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по заказу не пишутся. У меня въ головѣ нѣтъ никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ..

— Задай, задай,—весело отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, вотъ ты да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣтъ, это ужъ пусть другіе пишутъ.

— Отчего жъ?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сентиментальность. — Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что ли—не помню.

— Да ты жъ съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить. А, впрочемъ, нѣтъ... постой, постой! — вскрикнула, подумавъ, Даша. — Вотъ что бери: бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытываетъ: любятъ ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣкъ? Ну, и тутъ словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разныхъ, разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станетъ, или полюбитъ того, кто менѣе всего стоитъ любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть, если хорошенько разыграть.

— Начнемъ-ка, — подбавила Дора: — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повѣсть писалась и платокъ вязался.

— Что ваша кузина... не замужемъ? — спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столикъ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецептъ Дашѣ.

— Нѣтъ, не замужемъ, — нѣсколько смутясь, отвѣчалъ Долинскій.

Докторъ нагнулся къ столу и, написавъ, не спѣша, двѣ строчки, снова сказалъ:

— Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣтъ? — очень странные симптомы!

Онъ быстро поднялъ глаза отъ бумаги на лицо Долинскаго. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону и, написавъ новый, уѣхалъ.

— Что же, развѣ ей очень дурно? — спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нѣтъ, но послѣ болѣзнь можетъ идти crescendo, — отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Что тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго,— отвѣчалъ, смущаясь, Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то.

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда?

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну — это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, что же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ,— настаивала Дора.

Вечеромъ Даша, при содѣйствіи m-me Бюжаръ, брала ножную ванну и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала и все ей худо было. Докторъ началъ покачивать головой и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, что̀ это такое?
— Ванну она брала.
— Зачѣмъ?
— Хотѣла.
Докторъ пожалъ плечами и уѣхалъ.
Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, а по ночамъ изнурительный потъ.
— Что̀ съ нею, докторъ? — спрашивалъ встревоженный Долинскій.
— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.
— Неужто это все ванна надѣлала?
— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.
— Боже мой! что̀ жъ дѣлать?
— Будемъ дѣлать, что̀ можно.
— Собрать консиліумъ?
— Соберите.
Пять докторовъ были и деньги взяли, а Дашѣ день-ото дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ и самъ разнемогся.
— Сходи къ Онучинымъ, — говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утромъ изъ дома.
— Зачѣмъ?
— Принеси мнѣ русскую иллюстрацію.
Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.
— А ко мнѣ пошли m-me Бюжаръ,—сказала ему вслѣдъ Даша.
Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.
Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.
— Зачѣмъ ты это велѣла перенести, Даша?
— Такъ; ты прилечь здѣсь можешь, когда устанешь.
Часто и все чаще и чаще она стала посылать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыя потомъ заставляла себѣ читать и слушала, какъ будто со вниманіемъ, то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ въ его отсутствіе она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро, и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, подержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзненно и опять пишетъ, пока на дворѣ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.

— Прибѣжалъ, не вытерпѣлъ. — скажетъ, улыбаясь, Дора.—Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недоставать словъ. Въ такія особенно минуты онъ обыкновенно или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бралъ больную за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжело, невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое намъ существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокойно переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ.

Даша проболѣла мѣсяцъ и извелась совсѣмъ: сдѣлалась сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозрачная, какъ вытаявшая восковая фигура, освѣщенная сбоку. Въ послѣднее время она почти ничего не кушала и перестала посылать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня.—говорила она ему.—Теперь ужъ недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, что ли, собираешься?

— А ты какъ думаешь?—тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуканомъ.

— Охъ, какой ты смѣшной!—говорила, черезъ силу улыбаясь, Дорушка. Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жаль? Жаль меня? Ну, люби меня послѣ смерти!.. да что объ этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка кашлянула, задумалась и произнесла еще спокойнѣе:

— Смерть! Что жъ такое смерть? Неизбѣжное!.. Ну, и пусть жизнь оборвется на живомъ звукѣ, сразу, безъ стоновъ, безъ жалобъ нищенскихъ.

Дорушка опять кашлянула и, показавъ Долинскому бѣлый платокъ съ свѣжимъ алымъ пятнышкомъ, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что ужъ нѣтъ никакой надежды.

Даша допыталась сама о состояніи своего здоровья и сказала:

— Теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.

Долинскій написалъ письмо: Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра», и отдала m-me Бюжаръ, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха перемѣняла на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый пакетъ и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня по-

томъ она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упросить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно и слѣдующій день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у нея въ груди. Слѣдующая ночь ей была гораздо труднѣе: она бредила, вскрикивала и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да, вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, — отвѣчалъ Долинскій, сжимая ея руку.

— Господи! а я ужъ думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужъ нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ послышался. Ты не отходилъ отъ меня?—спрашиваетъ она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась и опять вскорѣ звала.

— Что же? что, моя Дора? — перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно, брежу.—Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣску, Даша спала, спокойна и прекрасна, и предательскія алыя пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Finita la comedia.

Съ утра Дашѣ было и такъ, и сякъ, только землистый цвѣтъ, проступавшій по тонкой кожѣ около устъ и носа, придавалъ лицу Даши какое-то особенное непріятное и даже страшное выраженіе. Это была та непостижимая печать, которою смерть заживо отмѣчаетъ обреченныя ей жертвы. Даша была очень серьезна, смотрѣла въ одну точку, и блѣдными пальцами все обирала что-то съ своего, перстью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало хуже, только она, однако, уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на цыпочкахъ до дивана и прилегъ. Онъ былъ очень изнуренъ многими безсонными ночами и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крѣпкій сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то самымъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ вскочилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, опершись на свою подушку локоткомъ, манила Долинскаго къ себѣ пальчикомъ, и тихонько, шопотомъ называла его имя.

— Что ты?—спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс!—произнесла Даша и сердито погрозила пальцемъ.

Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс!—повторила Даша и спросила шопотомъ:—когда она пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна, сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердилась.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ, вотъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ капотѣ.

— Что ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь будетъ Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. Она смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня поцѣловала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ спорить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу и вышелъ

въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственнаго лица.

— Ничего нѣтъ,—сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты кричишь-то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить — говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьезностью.

При свѣчѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьезныя черты Гиппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Что ты все пугаешь меня, Даша?—сказалъ ей, дѣйствительно дрожа отъ непонятнаго страха, Долинскій.

— Это смерть моя приходила, — отвѣчала съ досадой больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ наяву, а мурашки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣтъ, не вздоръ, нѣтъ, не вздоръ,—и Даша заплакала.

— Чего жъ ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ споритъ.

— Ну, успокойся же, я, точно, виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ не виноватъ. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала?—спросила едва слышно больная.

— Нѣтъ, Дора, какіе жъ у тебя капризы?

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только, пожалуйста, со мной не спорь и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчалъ.

— Исполнишь? —спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцѣловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти и, глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ и, выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія и не слыхалъ, что̀ возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцѣпенѣнія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. М-me Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели и протянула руки. Долинскій поддержалъ ее.

— Пусти, пусти,—прошептала она, отводя его руки.

Онъ уложилъ ее опять на подушки, и она легла безпрекословно.

Зорька стала заниматься, и въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься, воззрилась въ одну точку въ ногахъ постели и прошептала:

— Звонятъ! Гдѣ это звонятъ?—и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничь и закричала:—ой, что̀ жъ это! больно мнѣ! больно!—Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ-нибудь. А-а! В-о-т-ъ о-н-а смерть!—Жить!.. Ахъ!.. ахъ! жить, еще! жить хочу!—крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинскій нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла m-me Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинскій такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минутъ, m-me Бюжаръ рѣшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхалъ.

M-me Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось попрежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликала Долинскаго, онъ тупо взглянулъ на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную, кислую улыбку. Старуха испугалась и выбѣжала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сирота.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучинымъ. Она знала, что, кромѣ этого дома, у ея жильцовъ не было никого знакомаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кириллъ Сергѣевичъ и обѣщался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинскій попрежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

> Съ побѣлѣвшими глазами.
> Ликъ, прежде нѣжный, былъ страшнѣй
> Всего, что̀ страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кириллъ Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. M-me Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ съ сестрой вошли въ комнату умершей. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатьичъ!—позвалъ его Онучинъ.

Отвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла нѣсколько минутъ и, не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и, нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково:

— Несторъ Игнатьичъ!

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте!—сказала ему опять m-lle Онучина.

— Здравствуйте!—отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека опять скривилась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усиліемъ крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. M-me Бюжаръ пугливо жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи Долинскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ,—чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна,—продолжала, не сводя съ него своихъ глазъ, Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна,—равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ строгую гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата и, отвѣтивъ ему нетерпѣливымъ движеніемъ бровей, опять обратилась къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ спокойствіи.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— И такъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиралъ правою рукою кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она васъ любила!.. Боже, какая это потеря!

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за что такое несчастье!

— За что! за... за что!—простоналъ Долинскій и, упавъ въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребенокъ, котораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игнатьичъ,—началъ-было Кириллъ Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившему въ отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался и, облокотясь на стулъ, взглянулъ еще разъ на покойницу и грустно сказалъ:

— Все кончено.

— Вы мнѣ позволите, m-r Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Что жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо,—покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала m-me Бюжаръ за своей горничной и въ ожиданіи ихъ сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной таліи, а пышную красную косу расчесали по плечамъ, и такъ положили на столъ.

Комнату Дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашѣ, поднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцѣловалъ ее въ лобъ, потомъ поцѣловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ! — говорилъ Онучинъ.

— Нѣтъ, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хорошо.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь,—подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знаете, что я забыла спросить васъ, m-r Долинскій!— сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италіи?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы, вѣдь, это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлическій.

— Вы не хлопочите, maman все это уладитъ: она знаетъ, что нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать,—безпокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отдадите, сколько издержатъ.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

М-lle Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее!—заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Что жъ! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашелъ чай и позвалъ старуху. Принесли горячей воды, и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла и горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узелъ: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной шкатулки кіевскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него m-lle Онучину.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо объ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макаровичъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло созданьице милое! подсѣкла его судьбенка». Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала сторонникъ утѣшеній.

— Не безпокойтесь обо мнѣ, Илья Макарычъ, ничего со мною не сдѣлается,— отвѣчала она волновавшемуся художнику.—Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора.

— Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви...—разсказывала, тоскуя, Анна Михайловна.

— Душенька ея... — сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькія ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты, Боже мой! Боже мой!—перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даши, отданное покойницей m-me Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора: она поспѣшно разорвала конвертъ и вынула изъ него пять мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ того свѣта,— начинала Даша.— Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить съ тобою попрежнему, то-есть я не могла говорить съ тобой откровенно. Въ первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ, отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуюсь тебѣ, моя душка, во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердый. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ, и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыя у меня были, я ничѣмъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ-сестра, условія, кото-

рыя плохо повинуются разсудку и заставляютъ насъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло, росло, наконецъ, выросло во всю свою естественную или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь, съ моею смертью, оно, слава Богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Зачѣмъ мы его полюбили обѣ — я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, что такое мы въ немъ полюбили? что такое въ немъ было?.. Увлеклись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, во-первыхъ, моей мизерикордіей, а, во-вторыхъ... тѣмъ, что ли ужъ, что нынѣшніе *сильные* люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, что бы со мной было, если бы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильнаго какъ-то иначе, сильнаго *любовью*, но люди, сильные одною ненавистью, однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого, кромѣ себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше тебя, едва ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моей любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребенкомъ. Это меня злило... Да, не будь этого, можетъ-быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ зависти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокоить упадшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣе достигнешь этого, и таки-наконецъ, одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью, и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его

успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силѣ этой такъ не должно замерсть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что если бъ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или что онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило мой дѣтской гордости, этимъ я хотѣла *отмыкить мою жизнь на свѣтъ*. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Занося ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь—въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое, и я, право, въ немъ не виновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ да вдвоемъ. Силъ моихъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часъ одинъ я хотѣла быть любимою во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, если бы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это было *непреодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать, и не могла. Сатана, духъ нечистый одинъ знаетъ, что это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что ли, или это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимой, я хотѣла, чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человѣкъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобъ онъ ее бросилъ; и чтобъ онъ ее разлюбилъ: чтобъ онъ совсѣмъ забылъ ее для меня — вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дико!.. Гнусно!.. Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человѣка, ну, пожалуй, даже любила его, такъ-таки, по всѣмъ правиламъ, со всѣми онерами, но... все-таки изъ этого, мо-

жеть-быть, ничего бы не было; все-таки жаль мнѣ было тебя! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебѣ обязана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: «передъ тобой и это все загремитъ и разсыплется прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка; но я, однако, кокетничала съ Долинскимъ, и безсовѣстно, зло кокетничала съ нимъ. Не совсѣмъ это безсовѣстно было только потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и бросить, заставить мучиться, я хотѣла... или, лучше сказать тебѣ, въ то время, при самой началѣ этой исторіи, я ничего не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертѣть его, сбивать, влюблять въ себя до безумія, и, разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это открытіе не обрадовало меня: оно меня испугало! Я въ ту минуту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ мой! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ вдругъ я совсѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совсѣмъ о тебѣ забыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, незлобивою любовью, моя дорогая Аня: человѣкъ, котораго ты любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать мнѣ, что онъ любитъ меня: не смѣлъ даже самъ себѣ сознаться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла любить, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста прежней мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй его хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣлала! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ, ни о себѣ: быть любимой, *быть любимой*—вотъ все, о чемъ я думала. Я знаю, что если бъ я жила, онъ бы со мною не погибъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это его можетъ совсѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было даже жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ. Развѣ я этого не стоила? Губятъ же люди себя опіумомъ, гашишемъ, неужто же любовь женщины хуже какого-нибудь глупаго опьянѣнія? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

«Я непремѣнно хочу разсказать тебѣ все, что должно служить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи».

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ пріѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, ничего собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто-нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой человѣкъ. Встрѣтитесь вы, что ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, что это я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.

«Не зови его изъ Италіи. Пусть поскучаетъ обо мнѣ вволю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерею, и надо, чтобы онъ сумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился Богъ вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей, — это, разумѣется, затѣя совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, и мнѣ какъ-то пріятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе къ людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, не для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-таки лучше ему оставаться здѣсь. Куда ему ѣхать въ Россію?.. Все такъ свѣжо будетъ... такъ больно... Зачѣмъ встрѣча безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и будетъ очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памяти. Я еще изъ-за гроба что-нибудь сдѣлаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фантазіями и поступай такъ, какъ тебѣ укажутъ твое чувство и благоразуміе. Что, мой другъ, дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ стояло:

«Только опять нѣтъ! Все мнѣ что-то кажется, я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ, что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будетъ иная*... Кажется, любила и сгубила... Что жъ дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А, впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня — я, должно-быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Старайся, чтобъ было такъ, *какъ мнѣ не хочется*. Лучшаго я ничего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брильянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрый, непроглядный мракъ, могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!.. Говорю тебѣ одно, что если бы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«*Я ничего не знаю*, и это выходитъ *все*, что я сумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучшій земной другъ мой! Я умираю, однако, въ полномъ убѣжденіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангелъ! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!.. Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ, и я тебя вызову! Разстояній нѣтъ. Ихъ нѣтъ, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсѣмъ мнѣ плохо: едва дописываю эти строки. Пора въ походъ безвѣстный... Вотъ она, когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что тамъ такое? Можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ, буду ждать васъ? но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше, и боюсь только, что «въ мірѣ иномъ другъ друга ужъ мы не узнаемъ»

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.»

«Ницца».

«PS. Если бы слѣпою волею рока это письмо мое когда-нибудь стало извѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ опять-таки высоконравственныя дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской нравственности. Развѣ одна ты, милосердная, вдохнови-

тельная, всесильная любовь, вложишь въ чьи-нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста слово въ мое оправданіе! Сорвалось съ петлей! Не умѣла любить вполовину сердца, а всѣмъ полюбишь—на полдорогѣ не остановишься. Прощай, и еще разъ прости меня, мертвеца, бѣднаго и болѣе никому уже не вредящаго.

«Совсѣмъ забыла про Журавку—онъ обидится. Поцѣлуй его за меня: онъ любилъ меня, нашъ добрый, маленькій человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Аниcимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Что теперь впереди? Кому, на что нужна моя жизнь и зачѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое пропало, все вымерло?—спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому:

«Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ васъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойнѣе перенесъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что я пишу такъ мало: самъ, вѣрно, понимаешь, что мнѣ не до словъ».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но, замѣтивъ, что его посѣщенія въ тягость одичавшему хозяину, пересталъ его навѣщать. Старуха нѣсколько разъ посылала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать—онъ всякій разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумьѣ по Дашиной комнатѣ и

ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все Дору безпрерывно видѣлъ во снѣ. Это его радовало. Онъ очень полюбилъ свои сновидѣнія, онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отыскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долинскій незамѣтно началъ строить такія положенія, что Даша не вся умерла для него: что она живетъ гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходитъ ночами, сидитъ у его изголовья и говоритъ ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился, когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дышали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперешнее состояніе Долинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получилъ знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату, тихо сѣла возлѣ Долинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою исхудалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, но сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платьицѣ, въ которомъ ее схоронили; у ея голубого кушака былъ высоко отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны надъ вискомъ выбивались изъ-подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергѣевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала:—здравствуй, мой милый!—и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку.—Я на тебя сердита теперь!—говорила Дора.—Я тебя просила работать для меня, а ты все скучаешь, все ничего не дѣлаешь. Нехорошо! Скучать нечего, я всегда съ тобой. Мнѣ хорошо, я васъ вижу всѣхъ теперь. Встань, мой другъ, пиши, я хочу, чтобъ ты писалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужіе въ могилахъ. Встань же! встань! работай, — звала она, потряхивая его за плечо. Долинскій вскакивалъ, открывалъ глаза—въ комнатѣ ничего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова, и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокаивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любитъ.—А глазами, говорила она,

на меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри на меня глазами!—Возьми же, возьми меня съ собой!—вскрикивалъ во снѣ Долинскій.—Нельзя, мой другъ, нельзя,—тихо отвѣчала Даша. — Я не пущу тебя! — опять вскрикивалъ Долинскій въ своемъ тревожно-сладкомъ снѣ, протягивалъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдалекѣ по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долинскому съ сморщеннымъ лбомъ, сказала: — работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду навѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не привидѣлась она Долинскому.

Несторъ Игнатьичъ очень серьезно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть сначала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, и работа пошла удачно. Онъ писалъ, не вставая, весь день и далеко за полночь, а передъ утромъ заснулъ въ креслѣ, и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтнаго полумрака, прошла своей неслышной поступью и, поцѣловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала:— умникъ, умникъ—работай.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Птицы пѣвчія.

Дней десять кряду Долинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ и, по мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая ничему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, снисходительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый, онъ взглянулъ въ открытое окно Дашиной спальни. Занавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно проникалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и, прислонясь къ креслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжій вѣтерокъ тихо скользилъ несмѣлыми порывами, слегка шевелилъ волосами Долинскаго и скоро усыпилъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обыкновеннаго; смотрѣла

на него въ окно, улыбалась и, шутя, говорила: — Неудобь, Бука!—Долинскій разсмѣялся.

Во время этого сна, по стекламъ что то слегка стукнуло разъ-другой, еще и еще. Долинскій проснулся, отвелъ рукою разметавшіеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая женщина, въ легкомъ бѣломъ платьѣ и коричневой соломенной шляпѣ, стояла передъ окномъ, поднявъ кверху руку съ зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верхнее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры—это было хорошенькое, оживленное личико съ черными, умными глазками и французскимъ носикомъ. Однимъ словомъ, это была Вѣра Сергѣевна.

— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣгаете отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.

— Ахъ, простите, Вѣра Сергѣевна! — отвѣчалъ, скоро поднимаясь, Долинскій. — Я знаю, что я невѣжа и много виноватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ вами, за все...

— Да все хандрите?

— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.

— Чего же вы прячетесь-то?

— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.

— Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей—какъ кладъ зачарованный не даетесь. Чего вы спите въ такое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, что за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листамъ затрепетало.

проговорила весело Вѣра Сергѣевна.

— Да, очень хорошо, — отвѣчалъ Долинскій, застѣнчиво улыбаясь.

— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ собственно съ докладомъ о солнцѣ! я—эгоистка и пришла наложить на васъ обязательство.

— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.

— Вы непремѣнно должны сейчасъ проводить меня. Мнѣ хочется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣтъ: онъ въ Виши уѣхалъ.

— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, такъ пойдемте.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна даму и торговаться съ нею. Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas celà.

— Да что же дѣлать, если ужъ я не un homme comme il faut.

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ. — сказала Вѣра Сергѣевна и, поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевичъ освѣжилъ лицо, взялъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ m-lle Онучину, поклонился ей, подалъ руку, и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ Божій,—говорила Вѣра Сергѣевна.

— Покорно васъ благодарю, — улыбаясь, отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите, пожалуйста, что это вы спите въ эту пору?

— Я работалъ ночью и только утромъ вздремнулъ.

— А! это другое дѣло. Выходитъ, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ!

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергѣевной часа три, очень усталъ и разсѣялся. Онъ зашелъ къ Онучинымъ обѣдать и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, Бога-ради, Серафима Григорьевна,— началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной.— Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка, Несторъ Игнатьевичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, — отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кириллъ, — говорила она: — пріѣдетъ, тогда съ нимъ поговорите. Несторъ Игнатьевичъ: я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергѣевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла

нѣсколько мѣстъ изъ Нормы и прекрасно спѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился канунъ св. Сусанны, когда онъ почти несъ на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору, и изъ этого самаго дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Все живо, только ея нѣтъ»,—подумалъ онъ.

Вѣра Сергѣевна словно подслушала думы Долинскаго и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, покиньте меня,
Разлюбите меня
Вы, надежды, мечты золотыя!
Мнѣ ужъ съ вами не жить.
Мнѣ васъ не съ кѣмъ дѣлить.—
Я одинъ, а кругомъ все чужіе.
Много мукъ вынесъ я.
Былъ и другъ у меня.
Но надолго насъ съ нимъ разлучили.
Тамъ подъ черной сосной.
Надъ шумящей волной
Друга спать навсегда положили.

— Нравится это вамъ?—спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергѣевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорятъ. Хотите еще что-нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Что вы хотите, Вѣра Сергѣевна. — Въ этомъ, если вамъ угодно.—добавилъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка сизокрылая
Подъ моимъ окномъ, одинешенька;
Подъ моимъ окномъ, подъ косящатымъ,
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергѣевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо.—отвѣчалъ чуть слышно Долинскій.

Вѣра Сергѣевна продолжала:

Слезы горькія утираючи,
Я гляжу ей вслѣдъ вспоминаючи...
У меня была тоже ласточка,
Сизокрылая душа-пташечка,
Да свила ужъ ей судьба гнѣздышко,
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра!—крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Что прикажете, maman?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ панихидъ.

— Это я для m-r Долинскаго, maman, пѣла, — отвѣчала Вѣра Сергѣевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ,—произнесла она, какъ бы ничего не замѣчая, взяла новый аккордъ и запѣла: *По небу полуночи.*

— Вторите мнѣ, Долинскій, — сказала Вѣра Сергѣевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю. Вѣра Сергѣевна.

— Все равно, какъ-нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, — сказала она, обратясь къ Долинскому.—Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергѣевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долинскій удачно вторилъ ей довольно пріятнымъ баритономъ.

— Отлично!—одобрила Вѣра Сергѣевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арію и, взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа дѣвица,
Пѣснь Италіи златой,
Очаруй меня, пѣвица,
Пѣснью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствуетъ сильнѣй.
Ну, запой же! Ну, начни же!
«Соловей, мой соловей».

Долинскій не выдержалъ и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant!—произнесъ чей-то незнакомый голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старушка, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми буклями. За нею шелъ молодой господинъ, совершеннѣйшій петербургскій comme il faut настоящаго времени.

Это была княгиня Стугина, бывшая помѣщица, вдова, нѣкогда звѣзда восточная, нынѣ Богъ знаетъ что такое — особа, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная недостаткомъ вниманія отъ молодой петербургской знати, княгиня уѣхала въ Ниццу и живетъ здѣсь четвертый годъ, браня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой человѣкъ, сопровождающій эту особу, былъ единственный сынъ ея, молодой князь Сергѣй Стугинъ, получившій мѣсто при одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ государствахъ Европы. Онъ ѣхалъ къ своему мѣсту и завернулъ на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: онъ былъ свѣжій гость изъ Россіи и, слѣдовательно, могъ сообщить самыя свѣжія новости, что и какъ тамъ дома. Сергѣй Стугинъ былъ человѣкъ весьма умный и, очевидно, не кисъ среди мелкихъ и однообразныхъ интересовъ своей узкой среды бомонда, а стоялъ au courant съ самыми разнообразными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотятъ платить мнѣ оброка,—жаловалась Серафима Григорьевна.— Скажите, пожалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгодъ не находятъ. — отвѣчала вмѣсто сына старуха Стугина.

— Bon, но что же дѣлать, однако, должны мы, помѣщики? Вѣдь намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находятъ и въ этомъ никакой надобности,—опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергѣевна и Долинскій разсмѣялись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугина и понюхала табаку изъ своей золотой табакерки.

— Ваша maman иногда говоритъ ужасныя вещи,—отнеслась она шутливо къ князю.—Просто, самой яростной демократкой является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во-первыхъ, maman, такимъ образомъ, не отстаетъ отъ отечественной моды, а, во-вторыхъ, и, въ самомъ дѣлѣ, какой же ужъ теперь аристократизмъ? Все смѣшалось, всѣ ровны становимся.

— Кнутьями болѣе никого, слава Богу, не порютъ,—подсказала старая княгиня.

— Мужики и купцы покупаютъ земли и становятся такими же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминовичи,—досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриковской крови,—добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣтствѣ вся носомъ вытекла,—сказала княгиня, не то съ неуваженіемъ къ рюриковской крови, не то съ легкой ироніей надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

— Говорятъ... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужъ будто у насъ скоро будутъ?

— Едва ли скоро. По крайней мѣрѣ, я ничего не слыхалъ о разводахъ,—отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣетъ говорить,—опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говоритъ совсѣмъ не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста!—серьезно извинялась княгиня. — Мнѣ, когда говорятъ о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плацпарадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ, съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы?—Совсѣмъ не нужно.

— Совершенно лишнее,—поддерживалъ князь. — У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нигилисты?*—воскликнула m-lle Вѣра.—Ахъ, разскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о нигилистахъ чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого страннаго народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ разсказывалъ очень много курьезнаго о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ разсказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ разсказѣ развитіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародышѣ, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того, что, бишь, я хотѣла это спросить?..

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила.—Какъ они этакъ...

— Живутъ?

— Нѣтъ, не живутъ, а, напримѣръ, если съ ними встрѣтишься, какъ они... въ какомъ родѣ?

Князь не совсѣмъ понялъ вопросъ; но его мать спокойно посмотрѣла черезъ свои очки и подсказала:

— Я думаю, должно-быть что-нибудь въ родѣ Ягу, которые у Свифта.

— Что̀ это за Ягу, княгиня?

— Ну, будто не помните, что̀ Гуливеръ видѣлъ? На которыхъ лошади-то ѣздили? Ну, люди такіе, или нелюди такіе: лохматые, грязные?

— Ну, что̀ это?—воскликнула Серафима Григорьевна.— Неужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?

— Немножко,—отвѣчалъ, смѣясь, Стугинъ.

— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всадника,—поддержала сына княгиня.

— Ну, что̀ это! Это ужъ даже непріятно! — опять восклицала Онучина, воображая, вѣроятно, какъ косматые петербургскіе Ягу лазятъ по деревьямъ въ Лѣтнемъ саду, или на елагинскомъ пуантѣ и швыряютъ сверху всякими нечистотами.—И женщины такія жъ бываютъ? — спросила она черезъ секунду.

— Два по̀ла въ каждомъ родѣ должны быть необходимо— иначе родъ погибнетъ.

— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что гориллы въ Африкѣ, или шампанье, тоже будто уносятъ къ себѣ женщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній нигилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ, разсказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

— Дуры!—произнесла, по окончаніи разсказа, Серафима Григорьевна.

— И ножить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ! — смотря черезъ очки, добавила княгиня.

— Но это все презабавно,—замѣтила Вѣра Сергѣевна и вышла съ молодымъ княземъ на террасу.

— Довоспиталась сторонушка! дозрѣла! Скотный дворъ настоящій дѣлается! — презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку и, улыбнувшись, спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитишну? — спросила, немножко надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто жъ ея не помнитъ.

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Мареу Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? — спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужъ именно!—отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!

— Проказила княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну, вообразивъ передъ собою воспоминаемую княгиню Мареу Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку и, какъ бы нехотя, спросила:

— Да, была хороша, точно... да съ кѣмъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи?—Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?.. ну, да все равно—съ французскимъ актеромъ, а потомъ была наѣздницей въ циркѣ, въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лѣтъ было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховодница!

— А потомъ-то! потомъ-то! — опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжиръ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его — арабъ, весь оливковой, носъ, глаза... весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ интересенъ. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ—давно это, ужъ лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовницею, что ли.

— Да, да, да; и имъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ

ребенкомъ управляла!—подсказывала, все болѣе оживляясь и двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Или княжна Агрипшина Лукинишна!—произнесла она черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Содомская, какъ называлъ ее дядя Леонъ.—проронила въ видахъ поясненія Стугина.—Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ, ужъ черезчуръ какъ-то она... спеціалистка была великая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири она себя вела, можетъ-быть, какъ никто.

— Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то пошла? Очень великое дѣло.

— Нѣтъ-съ, мало что пошла, а какъ жила? что вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама бѣлье ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ какой-то жила...

— Ну, и что жъ тутъ такого? что жъ тутъ такого удивительнаго?

— Да вонъ кузенъ Grégoire вы знаете, вѣдь его послѣ амнистіи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говоритъ, что всѣ они — эти несчастные декабристы, которые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: идемъ, говоритъ, бывало, на работу изъ казармы — зимою, въ полѣ темно еще, а она сидитъ на снѣжку съ корзиной и лепешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бывало: мама, мама, мама, наша родная, кричимъ и лѣземъ хоть на лету ручку ея поцѣловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, — продолжала Серафима Григорьевна: — какъ только еще издали завидимъ ее, всѣ бѣжимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!» — совсѣмъ какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой и должна была отвернуться.

— Это прекрасно все, — начала тихо Стугина: — только героизма-то все-таки тутъ никакого нѣтъ. Бабки наши умѣли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки выворачивали, а тутъ — что жъ тутъ такого, скажите на милость?.. Еще бы въ несчастіи бросить!

— А вѣдь бросаютъ же, княгиня. —возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, ma chère Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ какая-нибудь другая personne méprisable, о которой все-таки говорить не стоитъ.

Серафима Григорьевна помолчала и потомъ, смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агриппинѣ. Какъ тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ этакой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣтъ; Боже меня сохрани? Не дай Богъ такого несчастья; но, разумѣется, пошла бы.

Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агриппину Лукинишну! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но вѣдь, повторяю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ, я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумленія.

— Ахъ, Боже мой! представьте, я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а, впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ лоткѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, ma chère Серафима Григорьевна!— Княгиня весело засмѣялась. — Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь: я вспомнила, какъ вы боитесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣпенѣніе; это... я просто не знаю, что это такое.

Стугина смотрѣла въ открытую дверь и вспомнила что-то особенно для нея милое и почтенное.

— Нѣтъ, вотъ.—сказала она, вздохнувъ:—вотъ графиню Нину, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugénie. или Eudoxie, этихъ женщинъ стоитъ вспомнить и передъ именами ихъ поклониться.

Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ бы въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ одними именами которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, сѣдая голова Стугиной.

— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не видали графини Нины? — спросила она послѣ паузы Онучину.

— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.

— Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырѣ. Пишетъ, что это живой мертвецъ, совершенная, говоритъ, адамова голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ и, глядя въ растворенное окно, нервно обрывала на колѣнѣ зелено-сѣрый, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».

— Да, — произнесла она черезъ минуту: - да, умѣли кутить, но и любить умѣли.

— Люди были; «былъ вѣкъ богатырей», какъ написалъ Давыдовъ.

— А нынче все это... какая-то...

— Дребедень,—рѣшила княгиня.

— Все это какъ-то... что-то такое хотятъ дѣлать, и все...

— Наши старыя платья наизнанку, по бѣдности своей, донашиваютъ, — закончила княгиня, поправляя на вискахъ свои сѣдыя букли.

— И этотъ царь!— проговорила она, складывая съ умиленіемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ свое прошедшее.— Этотъ божественный, прекрасный Александръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ джентльменъ съ головы до ногъ!

— Какіе люди и какое время было!

— То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было*,—заключила Стугина.

Старушки помолчали, поносились въ сферѣ давно минувшаго; потихоньку вздохнули и опять взошли въ свое сѣдое настоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій о чемъ сожалѣютъ подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно разгадалъ эти два тихіе, сдержанные вздоха, со всею бѣ-

шеною силою молодости вырвавшіеся изъ родившей ихъ отцвѣтшей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергѣевна съ молодымъ Стугинымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она разсказала нѣсколько скабрезныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго намъ міра и вѣка, и каждая изъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣе свѣтскихъ романовъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячечную минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большимъ жаромъ поцѣловать ея руку и *прочесть ей слѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе.* Стихотвореніе это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь изъ моихъ читателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица.

Я не хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставили впечатлительнаго несчастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ разсказы княгини, порою смѣялся и вообще былъ занятъ, былъ заинтересованъ ими не меньше всѣхъ прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположеніи духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Не куется, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, размышляя о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подъ впечатлѣніями, навѣянными на него разсказомъ строгихъ старушекъ.

— «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна,—думалъ онъ, засыпая:—и она, пожалуй, будетъ дѣлать такія же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?.. А теперь она еще, кажется, дѣвушка хорошая. Любить ей очень хочется,

говорила Даша. да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ это... А какая у нея, однако, фигура! Рукая какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какая грація во всемъ! Раса, значитъ.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедуинкой—на арабскомъ конѣ разъѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ нея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онъ Долинскій. «Поскачемъ», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся: кругомъ палящій зной, въ сонномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочилъ желтый левъ, прыгнулъ и, притаясь, легъ вровень съ травою. — «Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она чуть слышно, вовсе исчезая изъ его глазъ за красною чертою огненнаго горизонта. Конь Долинскаго ни съ мѣста, онъ храпитъ и пятится. На небѣ темнѣетъ, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожитъ, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый холщевый саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крякнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, просыпается гамаюнъ-птица, шевелится зеленый боръ», заляскалъ, стукая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую пѣсенку?» спрашиваетъ сѣрый волкъ и, не дожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память». «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесшаяся мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергѣевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», внушительно разсказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сѣдлѣ. Долинскій только хотѣлъ вглядѣться въ этого шейха, но того уже не было, и его бѣлый бурнусъ развѣвается въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергѣевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала расти и расти, такъ что слышно было, какъ она растетъ. Росла она шибко и высоко—выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ

неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной и удушающій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мелькали, и зеленыя майки качались на гнутыхъ стебляхъ травы и наполняли своимъ удушливымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все растетъ, растетъ и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болѣзненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ воздухѣ пустыни, и только переросшая траву задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулъ комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ превосходнымъ мерцаніемъ и прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовывалась на гвоздѣ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнѣ, пожалуйста, эту шляпу», попросила его Вѣра Сергѣевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжимъ румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?»

— «О, я ее очень хорошо знаю», подумалъ Долинскій.

— А если знаешь,—заговорила Вѣра Сергѣевна, — такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергѣевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея капризы.—Тише, тише! закричала ему Вѣра Сергѣевна, когда Долинскій коснулся руками полей Дорушкиной шляпы. Долинскій оглянулся.—Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!.. Ха, ха, ха! — Вѣра Сергѣевна захохотала.— Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинскій и пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, а подъ дымкой этого вуаля что-то бѣлѣлось. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая пыль и подъ ней суровая печать смерти, синія уста шевелятся безъ звука. Откуда-то взялся сѣрый большой паукъ, торо-

пливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно пробѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золотыхъ кудряхъ. На лбу ворочала скользкими усиками сѣрая стѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая плѣсень, отовсюду несло холодомъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ ѣдетъ, не боишься ли ты меня, добрый молодецъ?»—спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергѣевны, а какой-то гулкій, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ соннымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не голосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одномъ мускулѣ ея лица, и только тяжелыя вѣки медленно распахиваются, открываютъ на мгновеніе злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять такъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все съ тою же злостью смотрятъ изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбилъ я тебя?—протягивая руки, спрашивалъ Долинскій, но вмѣсто отвѣта у него надъ самымъ ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и вдругъ все сникло. Долинскій проснулся.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхаживалъ голосистый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за палисадникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворитныхъ куръ домовитой француженки.

Свѣжее утро не произвело на Долинскаго хорошаго вліянія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный: долго ходилъ въ большомъ безпокойствѣ изъ угла въ уголъ и, наконецъ, сѣлъ за работу.

— Madame Бюжаръ! — сказалъ онъ, когда француженка подала ему кофе:—я впередъ не буду поднимать шторы.

— Bon,—отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжаръ, если кто меня будетъ спрашивать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь или уѣхалъ.—ну, какъ тамъ хотите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste! — говорила француженка, выходя отъ постояльца и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

Долинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію, до самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не безпокоилъ. Передъ вечеромъ m-me Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, — сказалъ онъ ей: — не носите мнѣ болѣе обѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени и хлѣба. Я болѣе ничего не могу ѣсть.

Француженка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, — сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ знаетъ что̀ такое,—говорилъ порывисто, вскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь, Долинскій.—Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? что̀ мнѣ тамъ такое!—повторялъ онъ, кипятясь и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголъ.— Что̀ мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягу! У меня пропало, *пропало* съ земли все, чѣмъ мнѣ милъ былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смѣяться! слушать! разговаривать! О чемъ мнѣ разговаривать, когда *все умерло*, сгинуло, пропало, *сгинло...*

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ изъ угла въ уголъ по залѣ. Машинально онъ иногда останавливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ-подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистовалъ небрежно страницы и вдругъ остановился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-й стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій посмотрѣлъ замѣтки и, подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе Дорушкиной закладки, отнесъ

книгу на столъ въ комнату Доры и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одинокой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только изрѣдка доносился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку и въ ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета о стѣну, зажужжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долинскій остановился, бережно взялъ со стола барахтавшагося на спинкѣ жука и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплаго воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь — жива, а нѣтъ Корделіи! Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой могилѣ!—мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющіе въ тѣни кусты и цвѣточныя клумбы. Луна била ему прямо въ лицо и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Если бы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое до мертвенности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное луною, тотъ непремѣнно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и безпредѣльною добротою, и какъ-то совсѣмъ ничего земного не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сердце не билось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеи духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ другія пѣсни и полонъ томительнаго желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою.

Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко и спящее въ своихъ тихихъ гробахъ. Дѣтство. сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ: сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной четьи-минеей, мать, Анна Михайловна. Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ и оконная рама. о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинаетъ разсказывать про ту чудную долю—минувшую. когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась. а въ головы горы клала и степью укрывалась: видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающій картину: онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что̀ она говоритъ, зналъ, что̀ она думаетъ: онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучна была Дора. Они были гдѣ-то. *Гдѣ же?* Гдѣ-то, гдѣ и онъ; да и что за дѣло, гдѣ?.. Но она есть; она существуетъ... — *Умерла!*—говоритъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что жъ такое, что умерла?—Нѣтъ ея; *совсѣмъ нѣтъ*—сгнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ — все. все это *сгнило*... Столько жизни пропало безъ слѣда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣтъ, нѣтъ жизни; ни тѣни нѣтъ, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночного безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и прижался къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо: мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половинѣ едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ. обернулся и снова спокойно сталъ къ окошку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху! — разсуждалъ онъ, стоя попрежнему у открытой фортѡчки.—Треснетъ что-нибудь въ пустой комнатѣ — и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ и подрисовываетъ. въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое. и готовъ вѣрить. что все, что̀ кажется. то будто

непремѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы минули? Куда унеслись безвозвратно?.. Все безвозвратно... Ушло и нѣтъ его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ — былое... *Въ душѣ!..* Ну, въ *чемъ-то*, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видалъ совсѣмъ когда-то не такою... Вонъ этотъ бѣлый мотылёкъ, что съ сумерекъ уснулъ на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, облитый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь-въ-точь, какъ и я?.. А можетъ-быть, что та же самая луна ему совсѣмъ иной казалась, когда, дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?.. Навѣрно такъ: его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе и все теперь въ его сознаніи стоитъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползалъ онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь— какая прелесть! два крылышка, навыкатъ глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ вѣдь, въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а всѣ мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышитъ и обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертьи; луна ея сегодня свѣтитъ, какъ свѣтила въ ту ночь, которою въ ея глазахъ убитъ былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ— вѣнецъ земной природы, гніетъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ, гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполина мысли?.. Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно такъ исчезли, какъ дуралей какой-нибудь, который разгрызалъ лѣсной орѣхъ съ гораздо бо́льшимъ размышленіемъ, чѣмъ повторялъ по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. Приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный смыслъ, какая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которыя болталъ его языкъ? А такъ сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луной»—вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего *только пять* словъ... и мозгъ вертится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нѣтъ яснаго

отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. Нѣтъ новаго, такъ старое жъ пропасть не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать и самое гніеніе... одинъ пріемъ... одинъ процессъ и снова жизнь... Козявки нѣтъ — летаетъ мотылекъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною и каждый такъ... Быть-можетъ, я ужъ жилъ когда-то? Порой вѣдь что-то помнится жъ такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешь, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть-можетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Іуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братій, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ дервишемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее твореньe, а можетъ-быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который прибѣжалъ одинъ изъ термопильскаго ущелья!.. Да, наконецъ, въ моемъ отцѣ иль матери... Прямая вещь! Быть-можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемъ, не спроста! Вѣдь Соломонъ живетъ? Живетъ, конечно! Не ново здѣсь ничто, такъ старому нельзя погибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и сила!.. Да вѣдь поэзія, лиризмъ — вѣдь тоже силы... А пѣсня! Неужели жъ не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значенье пусто и ничтожно, а имъ безъ волненья внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!.. Не всѣ жъ матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, сновъ, предчувствій ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живетъ, что мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листка, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣтъ?.. Вѣдь что жъ такое скептицизмъ? Ну, фараонова тощайшая корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?.. Вѣдь позволительно же вѣрить въ то, по

крайней мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, устъ своихъ не осквернявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу только пока я ѣмъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная вѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ смѣняющихъ другъ друга поколѣніяхъ. Читала Дора Спиноз у и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ печатный Спиноза цѣлъ и на столѣ развернутый лежалъ все время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три листка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановилась Дора, и что жъ она теперь: на три страницы далѣе или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда видитъ и читаетъ? Иль, можетъ-быть, не сны одни мнѣ снятся, а въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и, измѣненная, она владѣетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, здѣсь быть со мной и снова носиться и даже черныя фигурки буквъ способна различать... Нелѣпый бредъ! Луна меня тревожитъ: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ прямо въ мозгъ и въ сердце. Что умерло, то спитъ и не придетъ перевернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна и вдругъ страшно вздрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!.. мечта, послышалось мнѣ, иль просто вѣтеръ дунулъ, — говорилъ себѣ Долинскій, стараясь взять надъ собою силу, а паническій, суевѣрный страхъ самъ предупреждалъ его, а онъ бралъ его за плечи, двигалъ на головѣ его волосы и чрезъ мгновеніе донесъ до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ оборота второй страницы.

— Вторая,—шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами Долинскій:—ихъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не спѣша перевалилась и, шурша, легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ,—прошло вдругъ въ головѣ Долинскаго.

— Что за нелѣпость, что за вздоръ такой, какой полкъ маршировалъ?—шепталъ онъ, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, — сказалъ онъ, и только что хо-

тѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпчавшій передъ зарею вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣси изъ Дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

— Кто тамъ, кто ходитъ здѣсь? — отчаянно крикнулъ первымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня!—добавилъ онъ черезъ секунду, не сводя остраго, встревоженнаго взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался и, разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажныя хлопушки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линій, брошенныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ бѣломъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уйди ты! уйди! — подумалъ больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но зато въ темной аркѣ бѣлаго камина загорѣлся пріятный голубоватый огонь и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

— Этого ничего нѣтъ,—понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колоссальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ сбоку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смѣющееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни — тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло разлетѣлось вдребезги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ,—стояло у него въ головѣ, и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный, утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнялъ лицо и медленно оглянулся.

На дворѣ сѣрѣло, между крышъ на востокѣ неба прорѣзалась блѣдно-розовая полоска и на узенькой дощечкѣ, подъ низенькимъ фронтономъ плоской крыши, гулко ворковалъ проснувшійся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинскаго смѣнилась необычайной слабостью, выражавшеюся во всей его распускавшейся фигурѣ и совершенно угасающемъ взорѣ.

— Жизнь!.. иная жизнь! жизнь вѣчная! — шепталъ онъ, какъ бы что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ бы стараясь что-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ подъ бѣлымъ потолкомъ пустой комнаты.

Только протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся по свѣтлому, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго колокола съ круглой башни ближайшей церкви. Долинскій вздрогнулъ.

— Зоветъ!—прошепталъ онъ, складывая на груди своей руки.

Колоколъ черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и еще призывнѣй.

— Зоветъ! зоветъ!—повторилъ больной, и блѣдное лицо его сразу приняло строгое, серьезное выраженіе, какое бываетъ у нѣкоторыхъ мертвецовъ.

— Создатель! пощади мой разумъ!—произнесъ онъ тверже черезъ минуту и, какъ немощный больной, держась стѣны, побрелъ къ своей постели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иной путь.

Бѣжали дни за днями. Изъ нихъ составлялись недѣли и мѣсяцы—Долинскій никуда не показывался. Къ нему нѣсколько разъ заходилъ Кириллъ Онучинъ; раза три заходила даже Вѣра Сергѣевна, но madame Бюжаръ, тщательно оберегая своего страннаго постояльца, никого къ нему не допускала. Вѣра Сергѣевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія Долинскаго послала ему нѣсколько записокъ, которыми приглашала его придти, потому что ей «скучно»; въ другой она даже говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и, наконецъ, она писала: «Я очень разстроена. У меня горе, въ которомъ мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посовѣтоваться, кромѣ васъ! Васъ это можетъ удивить, если вы думаете, что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если

вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, что бы вы ни думали обо мнѣ, я вамъ говорю, что у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожнѣе, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы—человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій: умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ словомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣетъ, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня—я найду случай уйти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ недостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть, наконецъ, изъ снисхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности не исполнить просьбу Вѣры Сергѣевны, если бы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только m-me Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергѣевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголъ, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ думъ, сѣтованій и таинственнаго міра, создаваемаго его мистической фантазіей. Наконецъ, всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилъ совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень. получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день, по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ и перевезя его

на желѣзную дорогу. Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти и заставляла ихъ бѣжать отъ этого страннаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхалъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дворѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвушекъ, которыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ ужина мальчиковъ, и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спустилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все окутала темная мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воздухѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутьемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недоглоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявшій съ собою тѣло Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до земли и еще спокойнѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ одиннадцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ очень удивило. Долинскій также могъ бы здѣсь кое-чему удивиться.

Кирилла Сергѣевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ?— вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.—Вѣра!

— Ну,—послышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Игнатьичъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кириллъ Сергѣичъ. Сколько я вамъ долженъ?—началъ Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это, въ самомъ дѣлѣ, такое? годъ пропадаетъ и чуть перенесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кириллъ Сергѣичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кириллъ Сергѣичъ.

— Батюшки свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно-быть ты, братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ кармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ,—сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подалъ ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ,—сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Постойте же: вѣдь все же, думаю, захотите, по крайней мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непремѣнно,—отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то пожилой господинъ съ волосами, крашеными въ свѣтло-русую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергѣевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиной лицомъ къ окну, разсказывалъ ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергѣевны, не только нимало ее не интересовало, но, напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, и, сложивъ руки на груди, безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергѣевны были два большія синева-

тыя пятна, и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поблѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фонъ-Якобовскій и г. Долинскій,—отрекомендовалъ Кириллъ Сергѣевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фонъ-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N..—произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкомъ креслѣ, съ лорнетомъ въ рукѣ, читала новый нумеръ парижскаго L'Union Chrétienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула она очень радушно.—Мы васъ совсѣмъ было ужъ и изъ живыхъ выключили. Садитесь поближе; ну, что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйкинаго кресла и у нихъ пошелъ обыкновенный полуформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость,—сказала, наконецъ, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.—Съ вами, какъ съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельствамъ слово.

— Да, вотъ, нашъ добрый Несторъ Игнатьичъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію,—произнесла Серафима Григорьевна.

— Выходитъ замужъ Вѣра Сергѣевна?

— Да, выходитъ. Это еще наша семейная тайна, но ужъ мы дали слово. Вы видѣли барона фонъ-Якобовскаго?

— Да, насъ сейчасъ познакомилъ Кириллъ Сергѣичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще très galant, et tout ça... уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѣдимъ другъ-друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царапъ, цапъ-царапъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ добраго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться со старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ слѣдуетъ.

— Ей-Богу, не могу, тороплюсь,—извинялся Долинскій.

Старушка положила на столъ нумеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинскаго.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургѣ заходите, — говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залѣ руку Вѣры Сергѣевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе. — Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, — сухо проговорила Вѣра Сергѣевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, — звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вздохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, — говорила барону фонъ-Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшимъ Долинскимъ. — Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой дѣвушкой, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ лу́ну, — отвѣчалъ, въ мѣру улыбаясь, баронъ фонъ-Якобовскій.

Вѣра Сергѣевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергѣевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцѣловалъ m-me Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургъ? — спрашивала его, совсѣмъ прощаясь, madame Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не разслышалъ и вмѣсто отвѣта крикнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, брался за лобъ, и какъ только открылась касса для перваго очереднаго поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Батиньельскія голубятни.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома въ Батиньелѣ. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ и не изъ комфортабельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратѣ, съ однимъ небольшимъ, высокопродѣланнымъ окномъ и неуклюжимъ дымящимъ каминомъ, на которомъ, вмѣсто неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, пренеловко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно засиженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выцарапано: Beuharnais. Oginsky, Podwysocky, Ian, nalit wody w zban, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ именъ, болѣе или менѣе удачно и тщательно произведенныхъ гвоздемъ и рукою скучавшаго и, вѣроятно, нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно — временъ Лудовика XIV (это было самое удобное), одно — временъ первой республики и третье — временъ нынѣшней имперіи. Послѣднее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи при-

ставленнымъ въ уголъ, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. Зато все это обходилось неимовѣрно дешево. Цѣлая такая комната, съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, впрочемъ, de facto не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Такихъ каморокъ, по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнокалиберные: но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швеи, цвѣточницы, вообще молодыя, легко смотрящія на тяжелую жизнь, дѣвушки и молодые, а иногда и не совсѣмъ молодые, даже иногда и совсѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ конурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ-рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланныя просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія: «Cécile», «Pélagie», «Mathilde», la couturière, «Psyché», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—étudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!» (внизу неимовѣрный вензель), «Pouvez-vous me dire, où il demeure?» (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямого значенія, напримѣръ, подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ и цвѣточницы

Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросъ: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?» подписано «F. et R.» или: «Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.— Que faire?»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверяхъ подъ № 12 было написано еще «Marie et Augustine—gantières», а съ лѣвой подъ № 10—«Népomucène Zaionczek—le prêtre».

Въ жилицахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдъ, не успѣетъ водвориться, какъ снискиваетъ себѣ доброе расположеніе своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непремѣнно разсчитываютъ въ самомъ непродолжительномъ времени (иногда даже съ перваго же дня) сдѣлаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придирчивый сосѣдъ — чистое несчастье. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя клички; но выжить строптиваго жильца «изъ коридора» гризеты никакъ не сумѣютъ. Это удается только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надоѣстъ ближайшимъ своимъ сосѣдямъ изъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, веселыя, безпечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу Loret и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабрезныя пѣсенки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькія и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить цѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, если бы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своимъ «одиннадцатымъ нумеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но что это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойти, ни поѣхать, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «Un ours», прозвали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, не-

смотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine, и Marie, и даже всѣ другія жилицы коридора со второго же дня появленія его здѣсь положили, что онъ bon homme и что его надо приласкать—даже непремѣнно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Népomucène Zaionczek, давно стоялъ поперекъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полиціймейстеромъ» и отворачивались отъ него какъ только онъ показывался въ коридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньелѣ польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресенье ѣздилъ на омнибусѣ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдями Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заіончека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства настолько, чтобы упорно стремиться къ уясненію, что, въ самомъ дѣлѣ, за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и что такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ за тѣмъ, какъ Заіончекъ здѣсь поселился, кто-то болтнулъ вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣтъ впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и къ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить суроваго Заіончека погадать имъ о запропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть, что Monsieur le professeur Grélot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣтъ и котораго всѣ гризеты называютъ grand papa и считаютъ своимъ оракуломъ, выслушавъ явившееся насчетъ Заіончека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, что

такое этотъ загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полиціймейстеромъ». Это названіе желчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ-нибудь по сосѣдству къ его номеру, послѣ десяти часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый разговоръ, смѣхъ, или хотя самый ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ коридоръ со свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и, постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tant de bruit!» и затѣмъ держалъ столь же мѣрное теченіе къ своему номеру, съ полною увѣренностью, что обезпокоившій его шумъ непремѣнно прекратится. И шумъ, точно, прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины, m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слыхалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатѣ Заіончека тоже никто изъ этѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постояннаго любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, разсказывала объ этой комнатѣ что-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоего пола (по преимуществу прекраснаго) съ тѣхъ поръ было предпринято нѣсколько очень обдуманныхъ экспедицій съ спеціальною цѣлію осмотрѣть полиціймейстерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заіончека объ этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, являвшихся къ нему попросить взаймы свѣчи или спичекъ, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посылалъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дому, Заіончекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные видали въ замочную скважину: дорогой варшавскій коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтяною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькій налой краснаго дерева, съ зеленою бархатною полушкой

внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комната Заіончека и не имѣла ничего необыкновеннаго. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя каморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній madame Vache.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Батиньельскіе отшельники.

Долинскій, поселившись на Батиньелѣ, разсчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скудныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ нимало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самаго пріѣзда въ Парижъ онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый нумеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенькими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Игнатьевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ, иногда разъ въ мѣсяцъ и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе, ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась другая. M-r le prêtre Zaionczek, встрѣтясь два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заіончекъ досадовалъ, что Долинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей:

— Ne faites pas de bruit.

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Игнатьевича короче другихъ его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ-студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одинокая Marie никакъ не могла простить Долинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость

и болѣе ничего. Marie выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книгѣ.

— Что это вы читаете, добрый сосѣдъ? — спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «La religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire», или что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что это за удивительный экземпляръ, этотъ ея смирный сосѣдъ.

— Ну, что твой баккалавръ? — освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго нумера, m-lle Augustine.

— Rien.—отвѣчала, кусая губки, Marie.

— Tiens! — презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не стоитъ, — порѣшила, наконецъ, m-lle Marie и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совсѣмъ глупъ, — говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai. — небрежно отвѣчала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ нумерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которою онѣ владѣли изъ-полу съ своей подругой, приподнялась на локотокъ и тихонько спросила:

— Qui va là?

— C'est moi. — отвѣчалъ такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repéte que c'est moi, votre voisin du numero onze.

— Tiens! — проговорила про себя Marie и, лукаво разсмѣявшись съ соблюденіемъ всякой тишины, отвѣчала:

— Mais je suis au lit, monsieur!.. Que désirez-vous?.. Qu'y a-t-il à votre service?

— Une allumette, mademoiselle.—тихо отвѣчалъ Долинскій. — Уронилъ мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plait.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула крючокъ и, впустивъ сосѣда, снова кувыркнулась въ свою постельку.

— Спички тамъ на комодѣ,—произнесла она, лукаво выглядывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискалъ на каминѣ спичекъ, взялъ коробочекъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-lle Marie быстро вскочила.

— Это чортъ знаетъ что такое! — крикнула она вспыльчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что?—спросилъ онъ, остановясь.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери.

M-lle Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесенною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батиньельскихъ вершинахъ все шло попрежнему. Единственная перемѣна заключалась въ томъ, что pigeon изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine и оставленная colombine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что онъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившею ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-lle Marie.

Одинъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимняго дня. Холодный мелкій дождикъ, вперемежку съ ледянистой мглою и маленькими хлопочками мокраго снѣга, пробили его насквозь, пока онъ добрался на имперіалѣ омнибуса отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала, до своихъ батиньельскихъ вершинъ.

Спустясь по осклизшимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ имперіала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ подниматься на свою лѣстницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо увернутыхъ въ газетную бумагу.

На лѣстницѣ Долинскій обогналъ Заіончека и, не обращая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе развести у себя огонь и согрѣться у камина. Второпяхъ онъ не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули и упали двѣ книжки. M-r le prêtre Zaionczek не спѣша поднялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ книги были польскія: одна «Historja Kosc.o a Ruskiego. Ksiedza Fr. Gusty» (исторія русской церкви, сочиненная католическимъ священникомъ Густою, а другая—мистическія бредни Тавянскаго, извѣстнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь печальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мицкевича и давшаго совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельности поэта.

M-r le prêtre Zaionczek взялъ обѣ эти книги и, держа ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez.—отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-r le prêtre Zaionczek.

— To ksiedz pana dobrodzieja?—спросилъ онъ Долинскаго по-польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ кое-какъ на томъ же языкѣ давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религіозною литературой?

— Да... такъ... немного,—отвѣчалъ, нѣсколько конфузясь, Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ. — говорилъ, сжимая его руку, Заіончекъ, и добавилъ: — жатвы много, а дѣтей мало есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заіончекомъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Новое масло въ плошку.

M-r le prêtre, по отношенію къ своему новому знакомству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣмъ прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Долинскому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и, столкнувшись съ нимъ однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти къ себѣ. Долинскій не отказался, и только-что они вошли въ комнату Заіончека, дававшую всѣмъ чувствовать, что здѣсь живетъ католическая духовная особа, какъ въ двери постучался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутан-

ная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ, несомнѣнно польскаго происхожденія. Она только-что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныя руки, преклонила колѣна и произнесла:

— Niech bedzie pochwlony Iezus Christus.

— Na wieki wieków. Amen.—отвѣтилъ Заіончекъ и подалъ дамѣ руку.

Та встала, поцѣловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большіе голубые глаза, полные благоговѣйнаго страха, и сказала:

— Я на минуту къ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. M-r le prêtre ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ:

— Мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила по-итальянски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсматривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «Dictionnaire des missions catholiques. Lacroix et Dzunkowskoy»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jucqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina». Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «Acta Sanctorum». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: Ioannes Rollandus. Godefridus Stenschenius. Societatis Iesu theologi.

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, большее наказаніе прійметъ и рука Провидѣнія давно тебя благословила,—говорилъ, напутствуя ее, m-r le prêtre, держащійся, какъ видно, съ Провидѣніемъ совсѣмъ za panibrata.

Дама опять поцѣловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя,—отвѣчалъ ласково суровый m-r le prêtre и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ. Это общество жило въ Парижѣ очень разсѣянно, всѣ члены

его въ насмѣшку назывались «Tawianczykami» отъ имени того же извѣстнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями. *Тавянчиковъ* считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ m-r le prêtre Zaionczek. Іезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе іезуиты одно время даже надѣялись найти въ Tawianczykach нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но Tawianczyki вообще не оправдали этихъ надеждъ «общества Іисусова», или, по крайней мѣрѣ, оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «Tawianczyki» не распустили сильныхъ вѣтвей никуда далѣе Парижа, и даже не нашли сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались большею частію старички и женщины (молодыя и старыя), нерѣдко принадлежащія къ самымъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянскаго встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянизмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то іезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ m-r le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли m-r le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, рѣшить было невозможно. Онъ съ глубокою задушевностью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состоялъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «Союзъ христіанскаго братства». Члены это союза едва ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состоялъ изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были: французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже руссины-уніаты. Собранія союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домѣ самой рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза со-

бпрались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка до низу тонкимъ чернымъ сукномъ съ бѣлыми атласными карнизами по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Memento mori!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахромою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовыя скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣньемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заіончека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-r le prêtre Zaionczek умѣлъ очень искусно расшевелить его больныя раны и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу человѣчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое,—сказалъ ему Заіончекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя,—говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? — спрашивалъ онъ сотый разъ Долинскаго и, получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ:—вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заіончекъ разсказывалъ разстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистическаго настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ и незамѣтно начиналъ ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заіончекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинскаго, Заіончекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и *велѣлъ* ему быть готовымъ вступить въ

братство въ качествѣ грѣшнаго члена Wschodniego Kosciola (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій и представленъ оригинальному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только «братъ Яковъ», или «братъ Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Русскій Tawianczyk.

Долинскій, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими гавянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видалъ Доры и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но зато совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ и вообще людей давно отшедшихъ отъ міра. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ со святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался, по обыкновенію, таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ, положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими. «Всѣ дѣти одного отца, нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животъ свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какіе становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ вѣры.* Задача эта многимъ представлялась весьма темною и даже вовсе непонятною, но, тѣмъ не менѣе, члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическія соображенія насчетъ «рокового развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ». Женщины, слушая

Заіончека, поднимали очи къ небу и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за ораторомъ и, очевидно, старались прозрѣть, что̀ за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимою пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинскій былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ Wschodniego Kosciola.

Онъ только самъ все наэлектризировывался мистицизмомъ и во всякомъ самомъ ничтожномъ событіи склоненъ былъ видѣть или особые пути Божіи, или нарочитые происки дьявольскіе.

Жилъ Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяцъ, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялся только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мистическимъ размышленіямъ. Деньги и всякія другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всѣмъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Міръ человѣческій для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывалъ болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончека. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпимѣйшимъ патеромъ, не было ни одного лютеранина. Онъ даже не придалъ никакого значенія тому, что m-r le prêtre, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку Pnaux: «Vie de Calvin», развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты и съ омерзѣніемъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы, задавленный своимъ и наноснымъ мистицизмомъ, Долинскій сравнялся съ княгинею Голензовскою и прочими мистическими фанатич-

ками, вѣровавшими во всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Бѣшеный день французскаго demi-carême угасалъ среди пьяныхъ пѣсенъ; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяныя дѣвочки. Въ погребахъ, ресторанахъ и во всякихъ такихъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное demi-смиреніе. Парижъ бѣсился и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

Зато на извѣстной намъ голубятнѣ, въ Батиньелѣ, было необыкновенно тихо, всѣ пижоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончека и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движеніи Заіончека, можно было легко замѣтить, что monsieur le prêtre находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищеніи. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единственно лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, нетельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тенетамъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ поэтъ, какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой, и, какъ какой-нибудь дикій вождь полчищъ несмѣтныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположеніе, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его—*раціоналисты*, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно и, разумѣется, всегда были немилосердно побиваемы на-голову.

Неистовая ночь demi-carême не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко, и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащій, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ давалъ о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями, какъ морская губка, онъ каждою своею точкою всасывалъ изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствій. Заіончекъ чувство-

валъ это и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно-бъ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика, какъ Парижъ, какъ міръ!.. Нѣтъ, больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застежки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?.. Какъ это тамъ все? — задумалъ и, вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темныя стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещились цѣлыя группы рожъ: намалеванныхъ, накрашенныхъ, богопротивнѣйшихъ, веселыхъ рожъ въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ все? — говорили онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ему вызывающія улыбки.

М-г le prêtre послалъ за это самъ милліонъ дьяволовъ во всемъ виноватымъ *раціоналистамъ*, задернулъ ридо и заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса, и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ просіялъ вовсе; онъ тихо высморкался (что у него въ извѣстныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ и, съ солиднѣйшимъ выраженіемъ лица, отправился къ Долинскому.

— Мнѣ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа,— началъ онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣльмистыхъ сычахъ, — продолжалъ Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцовитаго угля.—Мнѣ, я говорю, очень они нравятся съ своими *знаніями*. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны.

Заіончекъ пару секундъ помолчалъ и, приподнимаясь съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они лупоглазые, бѣльмистые сычи, которымъ ихъ бѣльма ничего не даютъ видѣть при Божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю выползаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ сонномъ воздухѣ нетопыри шмыгаютъ — тогда имъ жизнь, тогда имъ жизнь, канальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не поѣстъ вмѣсто сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непростительнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу — одно дуновенье, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ и безъ всякихъ фотографій.

Долинскій молчалъ.

— Что такое *одъ*?—произнесъ протяжно съ приставленнымъ ко лбу пальцемъ Заіончекъ. — Одъ: ну, *одъ! одъ!* ну, прекрасно-съ; ну, да что же такое, наконецъ, этотъ *одъ*? Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, *что* онъ? *откуда* онъ? *зачѣмъ* онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «*одъ* есть невѣсомое тѣло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это такъ и для другихъ-то должно оставаться, я васъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко поднятыми плечами передъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опускать плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухіе глаза и, потянувшись грудью на руки, произнесъ: *вотъ онъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончайшимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется, — продолжалъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патеръ сдѣлалъ въ молчаніи два различныя движенія руками, какъ бы отражая отъ себя куда-то два различныя изображенія; потомъ дунулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ и заговорилъ двумя нотами ниже). Одъ отдѣлился и летитъ;

онъ — я, но тонкое... невѣсомое. Теперь воздухъ передаетъ это эфиру: эфиръ — далѣе. Все это летитъ, летитъ вѣка, тысячелѣтія летитъ, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отпечатывается, наконецъ, на какой-нибудь огромной, самой далекой планетѣ. Міръ рушится: земля распадается золою: наши плотскіе глаза выгорѣли, мы видимъ далеко, и вотъ тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣхъ поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ пуповину, до моего послѣдняго «аминь» надъ твоей могилой. Ты это?.. Нѣтъ, не отречешься: весь ты тамъ со своей исторіей. И эта ночь, и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣшенья и всякаго содомскаго грѣха! — вскрикнулъ громко патеръ. — Она вся тамъ печатается, нынче.—докончилъ онъ однимъ шипящимъ придыханіемъ и, швырнувъ Долинскаго за рукавъ къ окну, грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенное міріадами рожковъ горящаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчаются слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ этихъ кротиковъ, всѣхъ этихъ землероекъ!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заіончекъ такъ же порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскій тотчасъ же сѣлъ верхомъ на свой стулъ и, положивъ подбородокъ на спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, безъ вниманія и безъ участія.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! — утверждалъ себя въ это время вслухъ патеръ. — Да, солнце и солнца. Пространства очень много... Душамъ роскошно плавать. Онѣ всѣ смотрятъ внизъ: лица всегда спокойныя; имъ все равно... Что здѣсь дѣлается, это имъ все равно: это ихъ не тревожитъ... имъ это мерзость, гниль. Я вижу... видны мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти конкубины, всѣ эти черви, въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающемъ рвоту!— Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому женская прелесть даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Долинскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея Малый театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми живыми, и всѣ вы, всепрощающіе, всезабывающіе, незлобивые люди русскіе, и сама ты, наша плакучая береза, наша бранная Русь-просторная. Всѣ вы, странныя, жгучія воспо-

мианія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или, лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился и черезъ другое такое же летучее мгновеніе невыразимо обрадовался, ощутивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ онъ сквозь сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усваиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патеръ сидѣлъ у Долинскаго и грѣлъ передъ его каминомъ свои толстыя, упругія ляжки: много еще разсказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противоестественное, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ міра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями сердца полонъ всяческаго равнодушія ко всему, что видитъ и слышитъ.

Но, наконецъ, усталъ и патеръ; онъ взглянулъ на свои толстый хронометръ, зѣвнулъ и, потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заіончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера книгу и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій уже хотѣлъ ложиться въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Искушенія.

— Кто тамъ? — тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ поздникъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, — отвѣчалъ ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Что вамъ угодно, mesdames?

— Спичку, спичку: мы возвратились съ бала и у насъ огня нѣтъ.

Долинскій отворилъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-заломленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой—литръ краснаго вина и тонкая, въ аршинъ длинная, итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захохотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдъ, сломать съ вами постъ.—Рады вы намъ?—прощебетала m-lle Augustine.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стулъ республики и, положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Іосифъ! — воскликнула Marie, повалившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами неимовѣрный крендель: — хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки пьяны, и не зналъ, что ему съ ними дѣлать.

Гризеты, смотря на него, помирали со смѣху.

— Tiens!—вы, кажется, собираетесь насъ выбросить?—спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа,—утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего,—отвѣчалъ растерянный Долинскій, который, дѣйствительно, думалъ о происках злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, ѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ нашъ бѣдный сосѣдъ?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезенъ, какъ бѣлый медвѣдь,—отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.

— Мы принесли съ собой вина и ужинъ. однѣмъ очень скучно, мы пришли къ вамъ. Садитесь.—командовала Marie и, толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, — просилъ ее Долинскій, стараясь снять ея руку.

— Та-та-та, совѣмъ не нужно,— отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! Cochon! не пьетъ въ demi-carême. Я на голову вылью.

Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ. Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движеніе головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико,—произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-carême!— говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губки, держитъ у себя подъ плечикомъ голову растерявшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь!—воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи дотлѣвшаго камина.

— Пусть будетъ свѣтъ и разумъ! — произнесъ другой голосъ, и на порогѣ показалась суровая фигура Заіончека.

Онъ былъ въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и синемъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его рукѣ была зажженая свѣча, въ другой — толстый красный шнуръ, которымъ m-r le prêtre обыкновенно подпоясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыя дочери грѣха! — крикнулъ онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, m-r le prêtre съ

злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненькимъ тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! — подпрыгнувъ отъ боли, крикнула гризета и скрылась за подругою въ дверь своей комнаты.

— Ne faites plus de bruit! проговорилъ у нихъ запертой двери черезъ минуту Заіончекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup!—отвѣчали гризеты.

Заіончекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинскаго, стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасою.

— Я неспокоенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ въ постель, и мой тревожный духъ во-время послалъ меня туда, гдѣ я былъ нуженъ,—проговорилъ онъ.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ Долинскій:—я совсѣмъ не зналъ, что мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ знаетъ, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно поглощенный мистицизмомъ Долинскій, если бы судьбѣ не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у себя на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которою былъ надписанъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незнакомою, и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Но, наконецъ, сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣлъ. Записка была писана несомнѣнно Анною Михайловною.

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробуду здѣсь всего около недѣли,—писала Долинскому Анна Михайловна. — Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, приходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. Во все это время я очень рада буду васъ видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схватилъ ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой часъ въ исходѣ. Долинскій хотѣлъ пойти къ Заіончеку, но вмѣсто того только побѣгалъ по комнатѣ, схватилъ свою шляпу и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омнибусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сердцемъ и спирающимся дыханіемъ.

— Жизнь! жизнь! — говорилъ онъ себѣ. — Какъ давно я не чувствовалъ тебя такъ сильно и такъ близко!

Какъ только омнибусъ тронулся съ мѣста, Долинскій вдругъ посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовалъ себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заіончека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего больного духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманило изстрадавшагося, разбитаго мистика, и, завидѣвъ на темнѣющемъ вечернемъ небѣ сѣрый силуэтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожатъ колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?—думалъ Долинскій, взявшись рукою за ручку звонка у 16 №. — Можетъ-быть, лучше, если бы теперь ея не было еще дома?» разсуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянулъ колокольчикъ.

— Entrez!—произнесъ изъ номера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра,—сказалъ онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Заблудшая овца и ея пастушка.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо меблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ полосъ матеріи, раздѣлявшей номеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновыя свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Михайловна. При входѣ Долинскаго, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову и, заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ около шеи.

Долинскій, наконецъ, показался между полами драпировки, закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала: она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя,—тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости!—еще тише произнесъ Долинскій.

Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставилъ передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мѣста и, молча, прошлась два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста,—проговорила она Долинскому.

— Прости. — проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте.—сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся и, взявъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустя голову, на томъ же самомъ мѣстѣ.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ перваго волненія. Пройдясь еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія...— началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо!—нервно перебила его Анна Михайловна и, вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что жъ вы стоите у двери?—спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? — спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь?—спросила она послѣ новой паузы.

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумалъ, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили назадъ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужъ не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ,—сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему.—отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Илью Макарыча.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго и, остановивъ глаза на бѣломъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія.—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ-быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ-быть, подозрѣваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, — сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій видѣлъ, что онъ отгадалъ ея мысль, и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, постарѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня съѣли.

Анна Михайловна покатала въ пальцахъ хлѣбный шарикъ и, повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго не воротить, не поправить невозможно.

— Я не знаю, что съ собой дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; я самъ чувствую, что я не человѣкъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя мѵки, мои терзанія!..

— Что же васъ особенно мучитъ? — спросила, не сводя съ него глазъ, Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И что?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ...—проговорилъ Долинскій съ болѣзненной гримасой въ лицѣ и досадой въ голосѣ.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Прошлаго ужъ не воротишь. Разсказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко разсказалъ про свое однообразное житье, умолчалъ, однако, о Заіончекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ.

— Ну, а впередъ?

— Впередъ?

Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ-быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего-жъ вы не возвращаетесь въ Россію?—спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ-быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же когда-нибудь! Поѣдемте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы пріѣхали за покупками?

— Да, и за вами, — улыбнувшись, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій, потупясь, смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать.—отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилось не совсѣмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на васъ жаль смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ-быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ,— говорилъ онъ, прощаясь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно, отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумьѣ: потомъ перешагнулъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Бѣдный! бѣдный, какъ онъ страдаетъ!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ омнибусомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ къ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, какъ бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ-будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы ѣдемъ? — спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два, — отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? — спросила его Анна Михайловна.

— Я!.. Нѣтъ, съ какой же стати раздумать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Послѣ всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта женщина! — размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комнатѣ Анну Михайловну.—Чѣмъ она для меня можетъ быть?.. Нѣтъ, не чѣмъ *можетъ*, а чѣмъ она должна быть? А почему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!»

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной Михайловной.

— До утра,—сказала она ему.

— До утра, — отвѣчалъ онъ, холодно и почтительно цѣлуя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огня, бросилъ шляпу и повалился впотьмахъ совсѣмъ одѣтый въ постель.

— Нѣтъ, — воскликнулъ онъ часа черезъ два, быстро вскочивъ съ постели. — Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я знаю. я знаю тебя, змѣиная мысль! —повторялъ онъ въ ужасѣ и, выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіончека.

— Помогите мнѣ, спасите меня!— сказалъ онъ, бросаясь къ патеру.

— Чтобы лѣчить язвы, прежде надо ихъ видѣть, — проговорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели. — Открой мнѣ свою душу.

Долинскій разсказалъ о всемъ случившемся съ нимъ въ эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! — повторилъ онъ, заплакавъ и ломая руки:—я не хочу лгать... въ моей груди... теперь, когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, когда я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!.. Мнѣ показалось... я почувствовалъ, что *жить хочу*, что мертвое все умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ!—рѣзкимъ, змѣинымъ придыханіемъ шепнулъ Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? чего,

скажите? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто-жъ это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная персть земная непокорна.

— Нѣтъ, я покоренъ.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?.. Пойдемъ, я покажу его: путь вѣрный примириться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустилъ голову.

Черезъ полчаса мерцнувшіе фонари Батиньеля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку: другая слабая и колеблющаяся—Долинскому.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Кто въ чемъ остался.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день — не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію, вечеромъ слѣдующаго дня, нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера она надѣла бурнусъ и шляпу, взяла фіакръ и велѣла ѣхать на Батиньель.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогѣ показался во всю свою нелѣпую вышину m-r le prêtre Zaionczek.

— Что вамъ здѣсь нужно?—сердито спросилъ онъ Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ удареніемъ.

— Мнѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ. — отвѣчалъ патеръ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

Патеръ сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь номера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкою. Она разорвала конвертъ и подошла къ огню. При трепетномъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, что написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, сѣла въ фіакръ и велѣла ѣхать домой.

Въ своемъ номерѣ она зажгла свѣчу и, держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѣхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударяли самымъ серьезнымъ образомъ и, наконецъ, одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всѣмъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ или во Владимірской церкви за раннею обѣднею.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинскаго. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Дорушкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресенье приноситъ съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную просфору. Долинскаго она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передвигается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

M-lle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хозяйку совершенною дурою.

Илья Макаровичъ нимало не измѣнился. Онъ по-старому льетъ пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ она, при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не видя и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво, склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ:

— За что, про что только все это развѣялось и пропало?

— Да полюбите вы кого-нибудь! — говоритъ онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду. — отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинскаго живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухъэтажномъ домѣ и держитъ въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартальнаго. Она пожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоитъ у старшей дочери въ ключницахъ; зять-лѣкарь не пускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвичъ и Шпандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служатъ гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полиціи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смирительный домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ какъ они впервые запротестовали противъ уничтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаютъ его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственнаго исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказаніе надъ ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колоколъ себя повѣсить. Взять тягло въ толокѣ житейской — руки ихъ лѣнивы и слабы; міряне ихъ не замѣчаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоятъ эти бѣдные, «заплаканные» люди въ сторонѣ ото всего живого, стоятъ потерянно, какъ тѣ іудейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-псеви. Стоятъ

они даже не ожидая, что къ нимъ придетъ новый Гедеонъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что-нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической куртке.

Вѣра Сергѣевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блистательнѣйшихъ дамъ самаго представительнаго русскаго посольства. Мужа своего она терпѣть не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ искательствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ, ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ primo tenore итальянской оперы. Что будетъ далѣе—пока неизвѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гёте и проклинаетъ Ренана. Кириллъ Сергѣевичъ сдѣлался туристомъ. Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и привезъ первое и послѣднее извѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ видѣлъ Нестора Игнатьича съ іезуитскими миссіонерами въ Парагваѣ. По словамъ Кирилла Сергѣевича, на всѣ вопросы, которые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ непарушимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ только: «memento mori!»

Пара строкъ вмѣсто эпилога.

Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею зимою такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщиковъ, отвела сажень приневской тундры для сиѣньоры Луизы. Безпокойная подруга Ильи Макаровича улеглась на вѣчный покой въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ художнику пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ сиротами и надѣлалъ бы Богъ-вѣсть какой чепухи, если бы въ спасеніе дѣтей не вступилась Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибѣгаетъ теперь сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятокъ, восторгается ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; цѣлуетъ ихъ черненькія головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними. Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ

теперешнимъ своимъ одиночествомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью», скучаетъ ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ вообразить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и серьезнымъ.

— Что съ вами, милый Илья Макаровичъ? — спросила его съ своимъ всегдашнимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, трогаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцѣловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгалъ.

— Что съ вами такое сегодня? — переспросила, снова подходя къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки, Анна Михайловна.

— Со мной-съ?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, что со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Не весело; это правда.

— Анна Михайловна! — началъ, быстро оправляясь, художникъ:—у насъ ужъ такіе годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, нѣтъ-съ! то-то именно нѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьезнѣй думать. Просто разбитые мы всѣ люди: ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь, жить ни при чемъ, а руки на себя наложить подло. Это что же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны, и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьезно.

— А между тѣмъ... знаете что, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы Христа-ради?

— Я никогда не сержусь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-Богу, ей-Богу я буду... хорошимъ человѣкомъ,— проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка и сильно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьезно.

— Илья Макарычъ! — начала она ему послѣ минутной паузы. — Во-первыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не

жалѣйте, пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она взяла его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущенную голову). Вы ничѣмъ меня не обрадовали, но и ничѣмъ не обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думать.

— Да вѣдь я-жъ бы любилъ васъ!—произнесъ совсѣмъ сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку Анны Михайловны и цѣлуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю. Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ,—отвѣчала Анна Михайловна, материнскн лаская его голову.

— Вѣдь выходятъ же замужъ и...—художникъ остановился.

— *Не любя*,—досказала Анна Михайловна.—Да, милый Илья Макарычъ, выходятъ, и очень-очень дурно дѣлаютъ. Неужто вы хвалите тѣхъ, которыя такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказалъ.—отвѣчалъ, глотая слезы, Журавка.

— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту минуту обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой другъ, если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которыя выходятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа, — то какого же вы были бы мнѣнія о женщинѣ, которая выйдетъ замужъ, любя не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; *онъ пропалъ*... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣтъ же, поймите вы, что вѣдь нѣтъ его совсѣмъ на свѣтѣ,—говорилъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые въ жизни едва не разсердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо къ своему сердцу и сказала:

— Слышите? Это *онъ* стучитъ тамъ своимъ дорожнымъ посохомъ.

НА КРАЮ СВѢТА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Раннимъ вечеромъ, на святкахъ, мы сидѣли за чайнымъ столомъ въ большой голубой гостиной архіерейскаго дома. Насъ было семь человѣкъ, восьмой нашъ хозяинъ, тогда уже весьма престарѣлый архіепископъ, больной и немощный. Гости были люди просвѣщенные и между ними шелъ интересный разговоръ о нашей вѣрѣ и о нашемъ невѣріи, о нашемъ проповѣдничествѣ въ храмахъ и о просвѣтительныхъ трудахъ нашихъ миссій на Востокѣ. Въ числѣ собесѣдниковъ находился нѣкто флота-капитанъ Б., очень добрый человѣкъ, но большой нападчикъ на русское духовенство. Онъ твердилъ, что наши миссіонеры совершенно неспособны къ своему дѣлу, и радовался, что правительство разрѣшило теперь трудиться на пользу Слова Божія чужеземнымъ евангелическимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую увѣренность, что эти проповѣдники будутъ у насъ имѣть огромный успѣхъ не среди однихъ евреевъ и докажутъ, какъ два и два—четыре, неспособность русскаго духовенства къ миссіонерской проповѣди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолженіе этого разговора, хранилъ глубое молчаніе: онъ сидѣлъ съ покрытыми пледомъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ и, повидимому, думалъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кончилъ, старый владыка вздохнулъ и проговорилъ:

— Мнѣ кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что онъ правъ: чужеземные миссіонеры положительно должны имѣть у насъ большой успѣхъ.

— Я очень счастливъ, владыко, что вы раздѣляете мое мнѣніе,—отвѣчалъ капитанъ Б. и, сдѣлавъ вслѣдъ за симъ нѣсколько самыхъ благопристойныхъ и тонкихъ комплиментовъ извѣстной образованности ума и благородству характера архіерея, добавилъ:

— Ваше высокопреосвященство, разумѣется, лучше меня знаете всѣ недостатки русской Церкви, гдѣ, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые,—я этого никакъ не стану оспаривать, но они едва ли понимаютъ Христа. Ихъ положеніе и прочее... заставляетъ ихъ толковать все... слишкомъ узко.

Архіерей посмотрѣлъ на него, улыбнулся и отвѣтилъ:

— Да, господинъ капитанъ, скромность моя не оскорбится признать, что я, можетъ-быть, не хуже васъ знаю всѣ скорби Церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я рѣшился признать вмѣстѣ съ вами, что въ Россіи Господа Христа понимаютъ менѣе, чѣмъ въ Тюбингенѣ, Лондонѣ или Женевѣ.

— Объ этомъ, владыко, еще можно спорить.

Архіерей снова улыбнулся и сказалъ:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Что съ вами дѣлать! Отъ спора мы воздержимся, а бесѣдовать—давайте.

И съ этимъ словомъ онъ взялъ со стола большой, богато украшенный рѣзьбою изъ слоновой кости, альбомъ и, раскрывъ его, сказалъ:

— Вотъ нашъ Господь!—Зову васъ посмотрѣть! Здѣсь я собралъ много изображеній Его лица. Вотъ Онъ сидитъ у кладезя съ женой самаритянской — работа дивная; художникъ, надо думать, понималъ и лицо, и моментъ.

— Да; мнѣ тоже кажется, владыко, что это сдѣлано съ понятіемъ,—отвѣчалъ Б.

— Однако, нѣтъ ли здѣсь въ Божественномъ лицѣ излишней мягкости? не кажется ли вамъ, что Ему ужъ слишкомъ все равно, сколько эта женщина имѣла мужей и что нынѣшній мужъ ей не мужъ?

Всѣ молчали; архіерей это замѣтилъ и продолжалъ:

— Мнѣ кажется, сюда немного строгаго вниманія было бы чертой нелишнею.

— Вы правы, можетъ-быть, владыко.

— Распространенная картина; мнѣ доводилось ее часто видѣть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далѣе. Опять

великій мастеръ. Христа цѣлуетъ здѣсь Іуда. Какъ кажется вамъ здѣсь Господень ликъ? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображеніе!

— Прекрасный ликъ!

— Однако, не слишкомъ ли много здѣсь усилія сдерживаться? Смотрите: лѣвая щека, мнѣ кажется, дрожитъ и на устахъ какъ бы гадливость.

— Конечно, это есть, владыко.

— О, да: да вѣдь Іуда ея ужъ, разумѣется, и стоилъ: и рабъ, и льстецъ — онъ очень могъ ее вызвать у всякаго... только, впрочемъ, не у Христа, Который ничѣмъ не брезговалъ, а всѣхъ жалѣлъ. Ну, мы этого пропустимъ; Онъ насъ, кажется, не совсѣмъ удовлетворяетъ, хотя я знаю одного большого сановника, который мнѣ говорилъ, что онъ удачнѣе этого изображенія Христа представить себѣ не можетъ. Вотъ вновь Христосъ и тоже кисть великая писала. — Тиціанъ: передъ Господомъ стоитъ коварный фарисей съ динаріемъ. Смотрите-ка: какой лукавый старецъ, но Христосъ... Христосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нѣтъ ли тутъ презрѣнія на Его лицѣ?

— Оно и быть могло, владыко:

— Могло, не спорю: старецъ гадокъ: но я, молясь, такимъ себѣ не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвѣчали согласіемъ, находя, что представлять лицо Христа въ такомъ выраженіи неудобно, особенно вознося къ Нему молитвы.

— Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже припоминаю себѣ объ этомъ споръ мой нѣкогда съ однимъ дипломатомъ, которому *этотъ* Христосъ только и нравился; но, впрочемъ, что же?.. моментъ дипломатическій. Но пойдемте далѣе: вотъ тутъ уже, съ этихъ мѣстъ у меня начинаются одинокія изображенія Господа, безъ сосѣдей. Вотъ вамъ снимокъ съ прекрасной головы скульптора Кауера: хорошъ, хорошъ! — ни слова: но мнѣ, воля ваша, эта академическая голова напоминаетъ гораздо менѣе Христа, чѣмъ Платона. Вотъ Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужасный видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачѣмъ онъ Его такъ избилъ, изсѣкъ и искровянилъ?.. Это, право, ужасно! Опухли вѣки, кровь и синяки... весь духъ, кажется, изъ Него выбитъ и на одно страдающее тѣло ужъ смотрѣть

даже страшно... Перевернемъ скорѣй. Онъ тутъ внушаетъ только состраданіе, и ничего болѣе. — Вотъ вамъ Лафонъ, можетъ-быть, и небольшой художникъ, да на многихъ нынче хорошо потрафилъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе, чѣмъ всѣ предыдущіе, и иначе Его себѣ и намъ представилъ: фигура стройная и привлекательная, ликъ добрый, голубиный, взглядъ подъ чистымъ лбомъ, и какъ легко волнуются здѣсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пѣтушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на рукѣ Его пылаетъ сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacré coeur», что отцы іезуиты проповѣдуютъ; мнѣ кто-то сказывалъ, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображеніе; но оно, впрочемъ, нравится и тѣмъ, которые думаютъ, что у нихъ нѣтъ ничего общаго съ отцами іезуитами. Помню, мнѣ какъ-то разъ, въ лютый морозъ, довелось заѣхать въ Петербургѣ къ одному русскому князю, который показывалъ мнѣ чудеса своихъ палатъ, и вотъ тамъ, не совсѣмъ на мѣстѣ — въ зимнемъ саду, я увидѣлъ впервые этого Христа. Картина въ рамочкѣ стояла на столѣ, передъ которымъ сидѣла княгиня и мечтала Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, шебечутъ и порхаютъ птички, и она мечтаетъ. О чемъ? Она мнѣ сказала:—«ищетъ Христа». Я тогда и всмотрѣлся въ это изображеніе. Дѣйствительно, смотрите, какъ Онъ эффектно выходитъ, или, лучше сказать, износится изъ этой тьмы; за Нимъ ничего: ни этихъ пророковъ, которые докучали всѣмъ, бѣгая въ своихъ лохмотьяхъ и цѣпляясь даже за царскія колесницы,— ничего этого нѣтъ, а только тьма... тьма фантазіи. Эта дама,—пошли ей Богъ здоровья,—первая мнѣ и объяснила тайну, какъ находить Христа, послѣ чего я и не спорю съ господиномъ капитаномъ, что иностранные проповѣдники у насъ не однимъ жидамъ Его покажутъ, а всѣмъ, кому хочется, чтобы Онъ пришелъ подъ пальмы и бананы слушать канареекъ. Только Онъ ли туда придетъ? Не пришелъ бы подъ Его слѣдъ кто другой къ нимъ? Признаюсь вамъ, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочелъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говоритъ мнѣ только о добромъ и восторженномъ раввинѣ, котораго, по опредѣленію господина Ренана, можно было любить и съ удовольствіемъ слушать... И вотъ вамъ, сколько пониманій и представленій о Томъ, Кто одинъ всѣмъ намъ

на потребу! Закроемъ теперь все это и обернитесь къ углу, къ которому стоите спиною: опять ликъ Христовъ и уже на сей разъ это именно не лицо,—а ликъ. Типическое русское изображеніе Господа: взглядъ прямъ и простъ, темя возвышенное. что, какъ извѣстно, и по системѣ Лафатера означаетъ способность возвышеннаго богопочтенія; въ ликѣ есть выраженіе, но нѣтъ страстей. Какъ достигали такой прелести изображенія наши старые мастера?—это осталось ихъ тайной, которая и умерла вмѣстѣ съ ними и съ ихъ отверженнымъ искусствомъ. Просто—до невозможности желать простѣйшаго въ искусствѣ: черты чуть слегка означены, а впечатлѣніе полно; мужиковатъ Онъ, правда, но при всемъ томъ Ему подобаетъ поклоненіе, и какъ кому угодно, а по-моему, нашъ простодушный мастеръ лучше всѣхъ *понялъ*—Кого ему надо было написать. Мужиковатъ Онъ, повторяю вамъ, и въ зимній садъ Его не позовутъ послушать канареекъ, да что бѣды! — гдѣ Онъ какимъ открылся, тамъ такимъ и ходитъ; а къ намъ зашелъ Онъ въ рабьемъ зракѣ и такъ и ходитъ, не имѣя, гдѣ главы приклонить отъ Петербурга до Камчатки. Знать Ему это нравится принимать съ нами поношенія отъ тѣхъ, кто пьетъ кровь Его и ее же проливаетъ. И вотъ, въ эту же мѣру, въ какую, по-моему, проще и удачнѣе наше народное искусство поняло внѣшнія черты Христова изображенія, и народный духъ нашъ, можетъ-быть, ближе къ истинѣ постигъ и внутреннія черты Его характера. Не хотите ли, я вамъ разскажу нѣкоторый, можетъ-быть не лишенный интереса, анекдотъ на этотъ случай.

— Ахъ, сдѣлайте милость, владыко; мы всѣ васъ просимъ объ этомъ!

— А, просите?—такъ и прекрасно: тогда и я васъ прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на мѣстахъ, чтобы не шевелиться, и архіерей началъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лѣтъ назадъ: это будетъ относиться къ тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодымъ человѣкомъ, былъ поставленъ во епископы, въ весьма отдаленную си-

бирскую епархію. Я былъ отъ природы права пылкаго и любилъ, чтобы у меня было много дѣла, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначенію. Слава Богу, думалъ я, что мнѣ хотя для начала-то выпало на долю не только ставленниковъ стричь, да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое дѣло, которымъ можно съ любовію заняться. Я разумѣлъ именно то наше малоуспѣшное миссіонерство, о которомъ господинъ капитанъ изволилъ вспомнить въ началѣ нашей сегодняшней бесѣды. Ѣхалъ я къ своему мѣсту, пылая рвеніемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергію остудилъ и, что еще важнѣе, — чуть-чуть было самаго дѣла не перепортилъ, если бы мнѣ не данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ событіи.

— Чудесное!—воскликнулъ кто-то изъ слушателей, позабывъ условіе не перебивать разсказа; но нашъ снисходительный хозяинъ за это не разсердился и отвѣчалъ:

— Да, господа, обмолвясь словомъ, могу его не брать назадъ: въ томъ, что со мною случилось и о чемъ началъ вамъ разсказывать—не безъ чудесъ, и чудеса эти начали мнѣ являться чуть не съ самаго перваго дня моего прибытія въ мою полудикую епархію. Первое дѣло, съ котораго начинаетъ свою дѣятельность русскій архіерей, куда бы онъ ни попалъ, конечно есть обозрѣніе внѣшности храмовъ и богослуженія, — къ этому обратился и я: велѣлъ, чтобы вездѣ были приняты прочь съ престоловъ лишніе евангелія и кресты, благодаря которымъ эти престолы у насъ часто превращаются въ какія-то выставки магазина церковной утвари. Заказалъ себѣ столько ковриковъ съ орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своихъ мѣстахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, подбрасывая ихъ подъ ноги. Съ усиліемъ и подъ страхомъ штрафовъ воздерживалъ дьяконовъ не ловить меня во время служенія за локти и не забираться рядомъ со мною на горнее мѣсто, а наипаче всего не надѣлять тумаками и подзатрещинами бѣдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, послѣ пріятія благодати Святаго Духа, недѣли по двѣ, и загорбокъ, и шея болитъ. И никто изъ васъ мнѣ не повѣритъ, сколько все это стоитъ труда и какія приноситъ досады, особенно человѣку нетерпѣливому, какимъ я тогда былъ и остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и

доселѣ. Окончилось съ этимъ - надо было приниматься за второе архіерейское дѣло первой важности: удостовѣриться, умѣютъ ли причетники читать, хоть ужъ если не по писанному, то, по крайней мѣрѣ, по печатному. Эти экзамены долго меня занялн и сильно досаждали мнѣ, а порою и смѣшили. Безграмотный, или, по крайней мѣрѣ, «*неписьменный*» дьячокъ или понамарь и теперь еще, пожалуй, отыщется въ селѣ или въ уѣздномъ городишкѣ и внутри Россіи, что и оказалось, когда имъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пришлось въ первый разъ расписываться въ полученіи жалованья. Но тогда,—во время оно, да еще въ Сибири,—это было явленіе самое обыкновенное. Я ихъ велѣлъ учить; они на меня, разумѣется, плакались и прозвали меня «лютымъ»: приходы жаловались, что нѣтъ чтецовъ, что архіерей «церкви разоряетъ». Что тутъ дѣлать! я сталъ отпускать на мѣста такихъ дьячковъ, которые хоть на память читать умѣли, и - о, Боже! —что за людей я видѣлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какіе-то одержимые. Одинъ, вмѣсто «Пріидите, поклонимся Цареви Нашему Богу», закрывъ глаза, какъ перепелъ, колотилъ: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этимъ такъ, что удержать его невозможно. Другой — уже это именно былъ одержимый,—онъ такъ искусился въ скорохватѣ, что съ какимъ-нибудь извѣстнымъ словомъ у него являлась своя ассоціація идей, которой онъ никакъ не могъ не подчиняться. Такое слово для него было, напримѣръ, «на небеси». Начнетъ читать: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси»... и вдругъ у него что-то въ головѣ защелкнетъ, и онъ продолжаетъ: «да святится Имя Твое, да пріидетъ царствіе». Что я съ этимъ тираномъ ни мучился, все было тщетно! Велѣлъ ему по книгѣ читать, - читаетъ: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси», но вдругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое». и залопоталъ до конца, и возглашаетъ «отъ лукаваго». Только тутъ и остановиться могъ: оказалось, что онъ не умѣетъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь переходитъ къ благонравію семинаристовъ и опять начинаются чудеса. Семинарія была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того безчинствовали, что, напримѣръ, одинъ философъ, при инспекторѣ, кончая вечернія молитвы, прочелъ: «упованіе мое, Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, по-

кровъ мой Духъ Святый: Троица Святая,—*мое вамъ поученіе*»; а въ богословскомъ классѣ другая исторія: одинъ послѣ обѣда благодаритъ, «яко насытилъ земныхъ благъ», и проситъ не лишить и «небеснаго царствія», а ему изъ толпы кричатъ: «Свинья! нажрался, да еще въ царство небесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ,—тоже лютаго; при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо.—отвѣчаю:—примись по-военному...

Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи и, пока не скомандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ уже очень «по-военному» уставилъ; скомандуетъ «молит-в-у-у!» Семинаристы только запоютъ «Очи всѣхъ Господи на Тя упов...»—онъ на половинѣ слова кричитъ: «Ст-о-ой» и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣевъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты Багрѣевъ?

Опять хохотъ и опять ко мнѣ жалобы. Нѣтъ, вижу—не годится этотъ съ военными пріемами, и нашелъ кое-какъ цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благоразумнѣе дѣйствовалъ: передъ учениками притворялся самымъ слабымъ добрякомъ, а мнѣ все ябедничалъ и повсюду разсказывалъ ужасы о моемъ звѣрствѣ. Я это зналъ и, видя, что эта мѣра оказывается дѣйствительною, не претилъ его системѣ.

Наплу этихъ своею «лютостію» въ повиновеніе привелъ, въ зрѣломъ возрастѣ чудеса пошли: доносятъ мнѣ, что въ соборнаго протоіерея возъ сѣна въ середину въѣхалъ и не можетъ выѣхать. Посылаю узнавать; говорятъ: дѣйствительно

такъ. Протопопъ былъ тучный: послѣ обѣдни крестилъ въ купеческомъ домѣ и вдоволь облѣпихою угостился, а что отъ этой облѣпихи, что отъ другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и съ этимъ сталось: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, выпивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы поговорить съ кѣмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ сѣномъ въ него въѣхалъ. Вѣдь все это глупое такое, что даже противно сдѣлается, а раздѣлается, такъ, пожалуй, еще противнѣй станетъ. На другой день келейникъ подаетъ мнѣ сапоги и докладываетъ, что «слава Богу, говоритъ, изъ отца протопопа возъ съ сѣномъ уже выѣхалъ».

— Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка мнѣ эту исторію обстоятельно.

Оказывается, что протопопъ, имѣвшій двухъ-этажный домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, и въ нихъ въ эту минуту въѣхалъ возъ съ сѣномъ, причемъ ему, отъ облѣпихи и отъ сна до одури, показалось, что это въ него въѣхало. Невѣроятно, но, однако, такъ было: credo, quia absurdum.

Какъ же сего дивотворнаго мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, потому что въ немъ возъ сидитъ; лѣкарь не находилъ лѣкарства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертѣлась, постучала и велѣла на дворѣ возъ сѣна наложить и назадъ выѣхать; больной принялъ, что это изъ него выѣхало, и исцѣлѣлъ.

Ну, послѣ этого дѣлайте съ нимъ, что хотите, а онъ свое уже сдѣлалъ: и людей насмѣшилъ, и шаманку призвалъ идольскими чарами его пользовать; а такія вещи тамъ не въ мѣшечкѣ лежатъ, а по дорожкѣ бѣжатъ. «Что-де попы, — они ничего не значатъ и сами нашихъ шамановъ зовутъ шайтана отгонять». И идутъ себѣ да идутъ этакія глупости. Долго я приправлялъ, какъ могъ, сіи дымящія лампады, и приходская часть мнѣ черезъ нихъ невыносимо надокучила; но зато насталъ давно желанный и вожделѣнный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить трудамъ по просвѣщенію дикихъ овецъ моей паствы, пасущихся безъ пастыря.

«Забралъ я себѣ всѣ касающіяся этой части бумаги и присѣлъ за нихъ вплотную, такъ что и отъ стола не отхожу».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ознакомясь съ миссіонерскими отчетностями, я остался всею дѣятельностію недоволенъ болѣе, чѣмъ дѣятельностію моего приходскаго духовенства: обращеній въ христіанство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этихъ обращеній значилась только на бумагѣ. На самомъ же дѣлѣ одни изъ крещеныхъ снова возвращались въ свою прежнюю вѣру,—ламайскую или шаманскую; а другіе делали изъ всѣхъ этихъ вѣръ самое странное и нелѣпое смѣшеніе: они молились и Христу съ Его апостолами, и Будѣ съ его буддисцдами, да тенгеринами, и войлочнымъ сумочкамъ съ шаманскими ангонами. Двоевѣріе держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и повсемѣстно въ моей паствѣ, которая не представляла отдѣльной вѣтви какой-нибудь одной народности, а какіе-то щены и осколки Богъ вѣсть когда и откуда сюда попавшихъ племенныхъ разновидностей, бѣдныхъ по языку и еще болѣе бѣдныхъ по понятіямъ и фантазіи. Видя, что все, касающееся миссіонерства, находится здѣсь въ такомъ хаосѣ, я возымѣлъ объ этихъ моихъ сотрудникахъ мнѣніе самое невыгодное и обошелся съ ними нетерпѣливо сурово. Вообще, я сталъ очень раздражителенъ, и данное мнѣ прозвище «лютаго» начало мнѣ приличествовать. Особенно испыталъ на себѣ печать моего гнѣвливаго нетерпѣнія бѣдный монастырекъ, который я избралъ для своего жительства и при которомъ желалъ основать школу для мѣстныхъ инородцевъ. Разспросивъ черноцовъ, я узналъ, что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ моихъ иноковъ изо всѣхъ по-инородчески говоритъ только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Кириакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочетъ идти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезіархъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Кириака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое:—что и два мои быстро другъ за другомъ смѣнившіеся предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ упирся и одно отвѣчаетъ:

— «Душу за моего Христа положить радъ, а крестить

тамъ (то-есть въ пустыняхъ) не стану». Даже, говоритъ, самъ просилъ лучше сана его лишить, но туда не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это послушаніе запрещенъ, но нимало тѣмъ не тяготился, а, напротивъ, съ радостью несъ самую простую службу: то сторожемъ, то въ звонарѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и міряпами, и даже язычниками.

— Какъ? удивляюсь: неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.

— За какимъ же дѣломъ?

— Уважаютъ его какъ-то шестари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее-то время?

— Прежде самый успѣшный миссіонеръ былъ и множество людей обратилъ.

— Что же ему такое сдѣлалось? отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко: вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ степей, принесъ въ алтарь мурвину и ларонсицу и говоритъ:—Ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ.

— Какой же ему нуженъ часъ? что онъ подъ симъ разумѣетъ?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, рече лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто дѣла касающееся не интересуетъ? Помните себя, что если тѣхъ, кои ни горячи, ни холодны, Господь обѣщалъ извергнуть съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезіархъ оправдывается:

— Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопытствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, говоритъ, дѣтушки, это дѣло не шутка,—это страшное... я на это смотрѣть не могу».

А что такое страшное, на это экклезіархъ не могъ мнѣ ничего обстоятельнаго отвѣтить, а сказалъ только, что «полагаемъ-де такъ, что отцу Кирѣаку при проповѣди какое-либо откровеніе было». Меня это разсердило. Признаюсь вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слышущихъ», которые вживѣ чудеса творятъ и непосредственными от-

прегрѣшеніями хвалятся, и причины имѣю ихъ недолюбливать. А потому я сейчасъ же потребовалъ этого строптиваго Кирѣяка къ себѣ и, не довольствуясь тѣмъ, что уже достаточно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасупился: былъ готовъ опалить его гнѣвомъ, какъ только покажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ облинялой коленкоровой рясѣ, клобукъ толстымъ сукномъ покрытъ, собой черненькій, востролицынькій, а входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвѣчаю на его привѣтствіе, а начинаю сурово:

— Ты что это здѣсь чудишь, пріятель?

— Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь милостивъ: я маленько на ухо тугъ—не все дослышалъ.

Я еще погромче повторилъ.

— Теперь, молъ, понялъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ничего не понялъ.

— А почему ты съ проповѣдью идти не хочешь и крестить инородцевъ избѣгаешь?

— Я, говоритъ, владыко, ѣздилъ и крестилъ, пока опыта не имѣлъ.

— Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?

— Пересталъ.

— Что же сему за причина?

Вздохнулъ и отвѣчаетъ:

— Въ сердцѣ моемъ сія причина, владыко, и Сердцевѣдецъ ее видитъ, что велика она и мнѣ, немощному, неносильна... Не могу!

И съ спиъ въ ноги мнѣ поклонился.

Я его поднялъ и говорю:

— Ты мнѣ не кланяйся, а объясни: что ты откровеніе, что ли, какое получилъ, или съ самимъ Богомъ бесѣдовалъ?

Онъ съ кроткою укоризною отвѣчаетъ:

— Не смѣйся, владыко; я не Моисей, Божій избранникъ, чтобы мнѣ съ Богомъ бесѣдовать; тебѣ грѣхъ такъ думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Такъ что же? за чѣмъ дѣло?

— А за тѣмъ, видно, и дѣло, отвѣчаетъ, что я не Мои-

сей, что я, владыко, робокъ и свою силу-мѣру знаю: изъ Египта-то языческаго я выведу—выведу, а Чермнаго моря не разсѣку и изъ степи не выведу, и воздвигну простыя сердца на ропотъ къ преобидѣ Духа Святаго.

Видя этакую образность въ его живой рѣчи, я было заключилъ, что онъ, вѣроятно, самъ изъ раскольниковъ, и спрашиваю:

— Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единеніе съ Церковью приведенъ?

— Я, отвѣчаетъ, въ единеніи съ нею съ моего младенчества и пребуду въ немъ даже до гроба.

И разсказалъ мнѣ препростое и престранное свое происхожденіе. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовѣлъ; повѣнчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мѣста, да такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себѣ его нигдѣ отыскать, а состоялъ при нѣкоей пожилой важной дамѣ, которая всю жизнь съ мѣста на мѣсто ѣздила и, боясь умереть безъ покаянія, для этого случая сего попа при себѣ возила. Ѣдетъ она, — онъ на передней лавочкѣ съ нею въ каретѣ сидитъ; а она въ домъ войдетъ,—онъ въ передней съ лакеями ее ожидаетъ. И можете себѣ вообразить человѣка, у котораго этакая была вся жизнь! А между тѣмъ онъ, не имѣя уже своего алтаря, питался буквально отъ своей дароносицы, которая съ нимъ за пазухою путешествовала, и на сынишку онъ у этой дамы какія-то крохи вымаливалъ, чтобы въ училищѣ его содержать. Такъ они и въ Сибирь попали: барыня свою поѣхала дочь навѣстить, которая была тутъ за губернаторомъ замужемъ, и попа съ дароносицей на передней лавочкѣ привезла. Но какъ путь былъ далекій, да къ тому же еще барыня тутъ долго оставаться собиралась, то попикъ, любя сынишку, не согласился безъ него ѣхать. Барыня подумала-подумала — и, видя, что съ родительскихъ чувствъ не переупрямить, согласилась и взяла съ собою и мальчишку. Такъ онъ сзади за каретою переѣхалъ изъ Европы въ Азію, имѣя при семъ путевымъ долгомъ охранять своимъ присутствіемъ привязанный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня, и его отецъ умерли, а онъ остался, за бѣдностію курса не кончилъ, въ солдаты попалъ, этапъ водилъ. Имѣя мѣткій глазъ, по приказанію начальства, не цѣлясь, въ догонъ за

какимъ-то бѣглымъ пулю пустилъ и безъ всякаго желанія, на свое горе, убилъ того, и съ той поры онъ все страдалъ, все мучился и, сдѣлавшись негоднымъ къ службѣ, въ монахи пошелъ, гдѣ его отличное поведеніе было замѣчено, а знаніе инородческаго языка и его религіозность побудили склонить его къ миссіонерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повѣсть старика и стало мнѣ его до жуткости жалко, и чтобы перемѣнить съ нимъ тонъ, я ему говорю:

— Такъ, стало-быть, это, что подозрѣваютъ, будто ты чудеса какія-нибудь видѣлъ, это неправда?

Но онъ отвѣчаетъ:

— Отчего же, владыко, неправда?

— Какъ?.. такъ ты видѣлъ чудеса?

— Кто же, владыко, чудесъ не видѣлъ?

— Однако?

— Что, однако? Куда ни глянь — все чудо: вода ходитъ въ облакѣ, воздухъ землю держитъ, какъ перышко; вотъ мы съ тобою прахъ и пепелъ, а движимся и мыслимъ, и то мнѣ чудесно; а умремъ и прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ къ Тому, Кто его въ насъ заключилъ. И то мнѣ чудно: какъ онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко голубицѣ, да полетитъ и почіетъ?

— Ну, это-то, молъ, мы оставимъ другимъ разсуждать, а ты скажи мнѣ, не виляя умомъ: не было ли съ тобою въ жизни какихъ-либо необычайныхъ явленій, или чего иного въ семъ родѣ?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, говоритъ, владыко, съ дѣтства я былъ взысканъ Божіей милостію и недостойно получалъ дважды чудесныя заступленія.

— Гм? разсказывай.

— Первый разъ это было, владыко, въ сущемъ младенчествѣ. Въ третьемъ классѣ я былъ еще и очень мнѣ въ поле гулять идти хотѣлось. Мы, трое мальчишекъ, пошли у смотрителя рекреацію просить, да не выпросили и рѣшились солгать, а зачинщикъ всему тому я былъ. «Давай, говорю, ребята, всѣхъ обманемъ, побѣжимъ и закричимъ: отпустилъ, отпустилъ!» Такъ и сдѣлали; всѣ съ нашего слова и разбѣжались изъ классовъ и пошли гулять и ку-

паться, да рыбченку ловить. А къ вечеру на меня страхъ и напалъ: что мнѣ будетъ, какъ домой вернемся?—запоретъ смотритель. Прихожу и гляжу — уже и розги въ лоханяхъ стоятъ; я скорѣй драла, да въ баню, спрятался подъ полокъ, да и ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня не пороть, но сдѣлай, чтобы не пороли!» И такъ усердно объ этомъ въ жару вѣры молился, что даже запотѣлъ и обезсилѣлъ; но тутъ вдругъ на меня чудной прохладой тихой повѣяло и у сердца какъ голубокъ тепленькій зашевелился, и сталъ я вѣрить въ невозможность спасенія какъ въ возможное, и покой ощутилъ, и такую отвагу, что вотъ не боюсь ничего, да и кончено! И взялъ да и спать легъ: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричатъ: «Кирюшка! Кирюшка! гдѣ ты? выдѣлай скорѣй, — тебя пороть не будутъ, ревизоръ пріѣхалъ и насъ гулять отпустилъ».

— Чудо, говорю, твое простое.

— Просто и есть, владыко, какъ сама Троица во единицѣ—простое существо.—отвѣчалъ онъ и съ неописаннѣйшимъ блаженствомъ во взорѣ добавилъ:

— Да вѣдь какъ я, владыко, Его чувствовалъ-то! Какъ пришелъ-то Онъ, батюшка мой, отрадненькій! удивилъ и обрадовалъ. Самъ суди: всей вселенной Онъ не обхватитъ, а видя ребячью скорбь, подъ банный полочекъ къ мальченкѣ подползъ въ дусѣ хлада тонка и за пазушкой обиталъ...

Я вамъ долженъ признаться, что я болѣе всякихъ представленій о Божествѣ люблю этого, нашего *русскаго Бога*, который творитъ себѣ обитель «за пазушкой». Тутъ, что намъ господа греки ни толкуй, и какъ ни доказывай, что мы имъ обязаны тѣмъ, что и Бога черезъ нихъ знаемъ,—а не они намъ Его открыли:—не въ ихъ пышномъ византійствѣ мы обрѣли Его въ дымѣ кажденій, а Онъ у насъ свой притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходитъ, и подъ банный полочекъ безъ ладана въ дусѣ хлада тонка проникнетъ, и за теплой пазухой голубкомъ пріоборкается.

— Продолжай, говорю, отецъ Кириакъ,—о другомъ чудѣ разсказа жду.

— Сейчасъ и про другое, владыко. Это было, какъ я сталъ уже дальше отъ Него, помаловѣрнѣе,—это было, какъ я сюда за каретою ѣхалъ. Взять меня надо было изъ рос-

сійскаго училища и сюда перевести передъ самымъ экзаменомъ. Я не боялся, потому что первымъ ученикомъ былъ и меня бы безъ экзамена въ семинарію приняли; а смотритель возьми, да и напиши мнѣ свидѣтельство во всемъ *посредственное*. «Это, говоритъ, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя тамъ экзаменовать стали и увидали, каковыхъ мы за посредственныхъ считаемъ». Горе было намъ съ отцомъ ужасное: а къ тому же, хотя отецъ меня и заставлялъ, чтобы я дорогою, на запяткахъ сидя, учился, но я разъ заснулъ и, черезъ рѣчку вбродъ переѣзжая, всѣ книжки свои потерялъ. Самъ горько плачучи, отецъ прежестоко меня за это на постояломъ дворѣ выпоролъ; а все-таки, пока мы до Сибири доѣхали, я все позабылъ и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сдѣлай, чтобы меня безъ экзамена приняли». Нѣтъ: какъ Его ни просилъ, посмотрѣли на мое свидѣтельство и велѣли на экзаменъ идти. Прихожу печальный; всѣ ребята веселые и въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютъ. — одинъ я такой, да еще другой, тощій-претощій мальчишка сидитъ, не учится, такъ, отъ слабости, говоритъ: «лихорадка забила». А я сижу, гляжу въ книгу и начинаю въ умѣ перекоряться съ Господомъ: «ну, что же? думаю, вѣдь ужъ какъ я Тебя просилъ, а Ты вотъ ничего и не сдѣлалъ!» И съ этимъ всталъ, чтобы пойти воды напиться, а меня какъ что-то по самой серединѣ камеры хлопъ по затылку и на полъ бросило... Я подумалъ: это вѣрно за наказаніе! помочь-то Богъ мнѣ ничего не помогъ, а вотъ еще и ударилъ. Анъ, смотрю, нѣтъ: это просто тотъ больной мальчикъ черезъ меня прыгнуть вздумалъ, да не осилилъ, и самъ упалъ и меня сбилъ. А другіе мнѣ говорятъ: «гляди-ка, чужакъ, у тебя рука-то мотается». Попробовалъ, а рука сломана. Повели меня въ больницу и положили, а отецъ туда пришелъ и говоритъ: «не тужи, Кирюша, тебя зато теперь безъ экзамена приняли». Тутъ я и понялъ, какъ Богъ-то все устроилъ, и плакать сталъ... А экзаменъ-то легкій, прелегкій былъ, такъ что я его шутя бы и выдержалъ. Значитъ: не зналъ я, дурачокъ, чего просилъ, но и то исполнено, да еще съ вразумленіемъ.

— Ахъ, ты, говорю, отецъ Киріакъ, отецъ Киріакъ? да ты человѣкъ преутѣшительный!..— Расцѣловалъ я его неоднократно, отпустилъ, и, ни о чемъ болѣе не разспрашивая,

велѣлъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнѣ, учить меня тунгузскому и якутскому языку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но отступивъ со своею суровостію отъ Киріака, я зато напустился на прочихъ монаховъ своего монастырька, отъ коихъ, по правдѣ сказать, не видалъ ни Киріакова простодушія и никакого дѣла на службу вѣры полезнаго: живутъ себѣ этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христіанства въ краю язычниковъ, а ничего, лѣнивцы, не дѣлаютъ, — даже языку туземному ни одинъ не озаботился научиться.

Щунялъ я ихъ, щунялъ келейно и, наконецъ, съ амвона на нихъ громыхнулъ словомъ царя Ивана къ преподобному Гурію, что «напрасно-де именуютъ чернецовъ ангелами, — нѣтъ имъ съ ангелами сравненія, ни какого-либо подобія, а должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христосъ послалъ учить и крестить!»

Киріакъ приходитъ ко мнѣ на другой день урокъ давать и прямо мнѣ въ ноги:

— Чтò ты? чтò ты? говорю, подымая его: учителю благій, тебѣ это не довлѣетъ ученику въ ноги кланяться.

— Нѣтъ, владыко, ужъ очень ты меня утѣшилъ, такъ утѣшилъ, что я и въ жизнь не чаялъ такого утѣшенія!

— Да чѣмъ, говорю, Божій человѣче, ты такъ много обрадованъ?

— А чтò велишь монахамъ учиться, да научи *впередъ учить, а потомъ крестить*: ты правъ, владыко, что такой порядокъ устроилъ, его и Христосъ велѣлъ и причетникъ поучаетъ: «прежде нѣтъ ученія души, нѣтъ добра». Крестить-то они всѣ могучи, а обучить слову нѣтяги.

— Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется, ширѣ понялъ, чѣмъ я говорилъ: такъ, вѣдь, по-твоему и дѣтей бы не надо крестить.

— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.

— Ну да; и предковъ бы нашихъ князь Владиміръ не окрестилъ, если бы долго отъ нихъ учености ждалъ.

А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Эхъ, владыко, да вѣдь и впрямь бы ихъ, можетъ, прежде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ лѣтописи читалъ,—все больно скоро варомъ вскипѣло, «понеже благочестіе его со страхомъ бѣ сопряжено». Платонъ митропо-

литъ мудро сказалъ: «Владиміръ поспѣшилъ. а греки слукавили,—невѣждъ ненаученыхъ окрестили». Что намъ ихъ спѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? вѣдь они, знаешь..«льстивы даже до сего дня». Итакъ. во Христа-то мы крестимся. да во Христа не облекаемся. Тщетно это такъ крестить, владыко!

— Какъ, говорю, тщетно. отецъ Кириакъ, что ты это, батюшка, проповѣдуешь?

— А что же. отвѣчаетъ, владыко?—вѣдь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ пріобрѣтенію жизни вѣчной не служитъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отецъ Кириакъ, вѣдь ты ересничествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, во мнѣ нѣтъ ереси. я по тайноводству святого Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю: «Симонъ волховъ въ купѣли тѣло омочи водою, но сердце не просвѣти духомъ, и сниде. и изыде тѣломъ. а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христіаниномъ не былъ. Живъ Господь и жива душа твоя. владыко.—вспомни, развѣ не писано: будутъ и крещеные, которые услышатъ «не вѣмъ васъ», и некрещеные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и внидутъ, яко хранившіе правду и истину. Неужели же ты сіе отметаешь?

Ну, думаю, подождемъ объ этомъ бесѣдовать, и говорю:

— Давай-ка, говорю, братъ, не іерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толковъ буду.

— Я не сердитъ, владыко, отвѣчаетъ.—И точно, удивительно былъ благодушный и откровенный старикъ и прекрасно училъ меня. Толково и быстро открылъ онъ мнѣ всѣ таинства, какъ постичь эту молвь, такую бѣдную и немногословную, что ее едва ли можно и языкомъ назвать. Во всякомъ разѣ это не болѣе какъ языкъ жизни животной. а не жизни умственной; а между тѣмъ усвоить его очень трудно: обороты рѣчи. краткіе и непериодическіе, дѣлаютъ крайне затруднительнымъ переводы на эту молвь всякаго текста, изложеннаго по правиламъ языка выработаннаго, со сложными періодами и подчиненными предложеніями; а выраженія поэтическія и фигуральныя на него вовсе не переводимы, да и понятія, ими выражаемыя, остались бы для этого бѣднаго люда недоступны. Какъ раз-

сказать имъ смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ зміи, и незлобивы, какъ голуби», когда они и ни змѣи, и ни голубя никогда не видали и даже представить ихъ себѣ не могутъ. Нельзя имъ подобрать словъ: ни мученикъ, ни креститель, ни предтеча, а Пресвятую Дѣву, если перевести по ихнему словами *шочмо Абя*, то выйдетъ не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женскаго пола,— короче сказать, — *богиня*. Про заслуги же св. крови, или про другія тайны вѣры еще труднѣе говорить, а строить имъ какую-нибудь богословскую систему, или просто слово молвить о рожденіи безъ мужа, отъ дѣвы, — и думать нечего: —они или ничего не поймутъ, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Все это мнѣ передалъ Киріакъ и передалъ такъ превосходно, что я, узнавъ духъ языка, постигъ и весь духъ этого бѣднаго народа; и что̀ всего мнѣ было самому надъ собою забавнѣе, что Киріакъ съ меня самымъ незамѣтнымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: между нами установились отношенія самыя пріятныя, легкія и такія шутливыя, что я, держась сего шутливаго тона, при концѣ своихъ уроковъ, велѣлъ горшокъ каши сварить, положилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна на рясу, и понесъ все это, какъ выученикъ, къ Киріаку въ келью.

Онъ жилъ подъ колокольнею въ такой маленькой кельѣ, что какъ я вошелъ туда, такъ двоимъ и повернуться негдѣ, а своды прямо на темя давятъ; но все тутъ опрятно, и даже на полутемномъ окнѣ съ рѣшеткою, въ разбитомъ варистомъ горшкѣ, астра цвѣтетъ.

Киріака я засталъ за дѣломъ,—онъ низалъ что-то изъ рыбьей чешуи и нашивалъ на холстикъ.

— Что̀ ты это, говорю, стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какіе уборчики?

— А вотъ дѣвчонкамъ маленькимъ дикарскимъ уборчики: онѣ на ярмарку пріѣзжаютъ, я имъ и дарю.

— Это ты язычницъ невѣрныхъ радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебѣ все такъ: «невѣрные», да «невѣрные»; всѣхъ одинъ Господь создалъ; жалѣть ихъ, слѣпыхъ, надо.

— Просвѣщать, отецъ Киріакъ.

— Просвѣтить, говоритъ, хорошо это, владыко, просвѣтить. Просвѣти, просвѣти,—и зашепталъ: «да просвѣтится свѣтъ твой предъ человѣки, когда увидятъ добрыя твоя дѣла».

— А я вотъ, говорю, къ тебѣ съ поклономъ пришелъ и за выучку горшокъ каши принесъ.

— Ну, что же, хорошо, говоритъ; садись же и самъ при горшкѣ посиди,—гость будешь.

Усадилъ онъ меня на обрубочекъ, самъ сѣлъ на другой, а кашу мою на скамью поставилъ и говоритъ:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да тебѣ же челомъ.

Стали мы ѣсть со старикомъ кашу и разговорились.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Меня, по правдѣ сказать, очень занимало, что̀ такое отклонило Кирiака отъ его успѣшной миссiонерской дѣятельности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему взгляду,—почти преступно, или, во всякомъ случаѣ, соблазнительно относиться къ этому дѣлу.

— О чемъ, говорю, станемъ бесѣдовать? — къ доброму привѣту хороша и бесѣда добрая. Скажи же мнѣ: не знаешь ли ты, какъ намъ научить вѣрѣ вотъ этихъ инородцевъ, которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да отъ добраго житiя примѣръ имъ показать.

— Да гдѣ же мы съ тобою ихъ будемъ учить?

— Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ наученiемъ идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утромъ сѣять сѣми, и вечеромъ не давать отдыха рукѣ,- все сѣять.

— Хорошо говоришь, отчего же ты такъ не дѣлаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нѣтъ, ужъ разскажи.

— А требуешь разсказать, такъ поясни: зачѣмъ мнѣ туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить?—учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? врагъ, что ли, не даетъ?

— Нѣ-ѣтъ! что̀ врагъ, — велика ли онъ для крещенаго человѣка особа: его однимъ пальчикомъ перекрести, онъ и сгинетъ; а вражки мынаютъ,—вотъ бѣда!

— Что это за вражки?

— А вотъ кулые сѣтели, отцы благочѣтели, приказные, чиновные, съ приписью подьячіе.

— Эти, стало быть, самого врага сильнѣй?

— Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничѣмъ не изымается, даже ни молитвою, ни постомъ.

— Ну, такъ надо, значитъ, просто крестить, какъ всѣ крестятъ.

— Крестить...—проговорилъ за мною Кириакъ, и—вдругъ замолчалъ и улыбнулся.

— Что же? продолжай.

Улыбка сошла съ губъ Кириака, и онъ съ серьезною и даже суровою миной забасилъ:

— Нѣтъ, я скорохватомъ не хочу это дѣлать, владыко.

— Что-о-о!

— Я не хочу этого такъ дѣлать, владыко, вотъ что!— отвѣчалъ онъ твердо и снятъ улыбнулся.

— Чего ты смѣешься? говорю. — А если я тебѣ велю крестить?

— Не послушаю, — отвѣчалъ онъ, добродушно улыбнувшись, и, фамильярно хлопнувъ меня рукою по колѣну, заговорилъ:

— Слушай, владыко: читалъ ты или нѣтъ,—есть въ житіяхъ одна славная повѣсть.

Но я его перебилъ и говорю:

— Пожалуйста, пожалуйста, меня съ житіями здѣсь о словѣ Божіемъ, а не о предніяхъ человѣческихъ. Вы, черноризцы, знаете, что въ житіяхъ можно и того, и другого достать, и потому и любите все изъ житій хватать.

А онъ отвѣчаетъ:

— Дай же мнѣ, владыко, кончить: можетъ я и изъ житій что-нибудь прикладно скажу.

И разсказалъ старую исторію изъ первыхъ христіанскихъ вѣковъ о двухъ друзьяхъ, — христіанинѣ и язычникѣ, изъ коихъ первый часто говорилъ послѣднему о христіанствѣ и такъ ему этимъ надокучилъ, что тотъ, будучи до тѣхъ поръ равнодушенъ, вдругъ сталъ ругаться и изрыгать самыя злыя хулы на Христа и на христіанство, а при этомъ его подхватилъ конь и убилъ. Другъ, христіанинъ, видѣлъ въ этомъ чудо и былъ въ ужасѣ, что другъ его, язычникъ, оставилъ жизнь въ такомъ враждебномъ ко Христу настрое-

ніи. Христіанинъ сокрушался объ этомъ и горько плакалъ, говоря: лучше бы я ему совсѣмъ ничего о Христѣ не говорилъ.—онъ бы тогда на Него не раздражался и отвѣта бы въ томъ не далъ. Но, къ утѣшенію его, онъ извѣстился духовно, что другъ его принятъ Христомъ, потому что, когда язычнику никто не докучалъ настойчивостію, то онъ самъ съ собою размышлялъ о Христѣ и призвалъ Его въ своемъ послѣднемъ вздохѣ.

— А Тотъ, говоритъ, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ и обнялъ и обитель далъ.

— Это опять, значитъ, все дѣло свертѣлось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вотъ это-то, говорю, твоя бѣда, отецъ Кириакъ, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ахъ, владыко, да какъ же на нее не полагаться: тайны-то уже тамъ очень большія творятся,—вся благодать оттуда идетъ: и материно молоко дѣтопитательное, и любовь тамъ живетъ, и вѣра. Вѣрь,—такъ, владыко. Тамъ она, вся тамъ: сердцемъ однимъ ее только и вызовешь, а не разумомъ. Разумъ ее не созидаетъ, а разрушаетъ: онъ родитъ сомнѣнія, владыко: а вѣра покой даетъ, радость даетъ... Это, я тебѣ скажу, меня обильно утѣшаетъ: ты вотъ глядишь какъ дѣло идетъ, да сердишься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зѣло.

— Что такое: добро зѣло?

— Все, владыко: и что намъ указано, и что отъ насъ сокрыто. Я думаю такъ, владыко, что мы всѣ на одинъ ширъ идемъ.

— Говори, сдѣлай милость, яснѣй: ты водное крещеніе-то просто-на-просто совсѣмъ отметаешь, что ли?

— Ну вотъ: и отметаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько я лѣтъ томился, все ждалъ человѣка, съ которымъ бы о духовномъ свободно по духу побесѣдовать, и, узнавъ тебя, думалъ, что вотъ такого дождался; а и ты сейчасъ, какъ стряпчій, за слово емлешься! Что тебѣ надо?—слово всяко ложь и я тожъ. Я ничего не отметаю: а ты обсуди, какіе мнѣ примѣры разные приходятъ,—и отъ любви, а не отъ ненависти. Яви терпѣніе,—вслушайся.

— Хорошо, отвѣчаю, буду слушать, что ты хочешь проповѣдывать.

— Ну, вотъ мы съ тобою крещены, — ну, это и хорошо: намъ этимъ какъ билетъ данъ на пиръ; мы и идемъ, и знаемъ, что мы званы, потому что у насъ и билетъ есть.

— Ну!

— Ну, а теперь видимъ, что рядомъ съ нами туда же бредетъ человѣчекъ безъ билета. Мы думаемъ, «вотъ дурачокъ! напрасно онъ идетъ:—не пустятъ его! Придетъ, а его привратники вонъ выгонятъ». А придемъ и увидимъ: привратники-то его погонятъ, что билета нѣтъ, а хозяинъ увидитъ, да, можетъ-быть, и пустить велитъ,—скажетъ: «ничего, что билета нѣтъ,—я его и такъ знаю: пожалуй, входи», да и введетъ, да еще, гляди, лучше иного, который съ билетомъ пришелъ, станетъ чествовать.

— Ты, говорю, это имъ такъ и внушаешь?

— Нѣтъ: что имъ это внушать? это я только про себя такъ о всѣхъ разсуждаю, по Христовой доброcти, да мудрости.

— Да то-то: мудрость-то Его ты понимаешь ли?

— Гдѣ, владыко, понимать! — ее не поймешь, а такъ... что̀ сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнѣ что̀ нужно сдѣлать, сейчасъ себя въ умѣ спрашиваю: можно ли это сдѣлать во славу Христову? Если можно, такъ дѣлаю, а если нельзя—того не хочу дѣлать.

— Въ этомъ, значитъ, твой главный катехизисъ?

— Въ этомъ, владыко, и главный, и неглавный, — весь въ этомъ: для простыхъ сердецъ это, владыко, куда какъ сподручно! — просто вѣдь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человѣка безъ помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимаютъ и хвалятъ: «хорошъ, говорятъ, вашъ Христосикъ—праведный», — по-ихнему это такъ выходитъ.

— Что же... это, пожалуй, хоть и такъ—хорошо.

— Ничего, владыко,—изрядно; а вотъ что̀ мнѣ нехорошо кажется: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и видятъ все, что̀ тутъ крещеные дѣлаютъ, и спрашиваютъ: можно ли то во славу Христову дѣлать? что̀ имъ отвѣчать, владыко? христіане это тутъ живутъ или нехристи? Сказать «нехристи»—стыдно, назвать христіанами — грѣха страшно.

— Какъ же ты отвѣчаешь?

Киріакъ только рукой махнулъ и прошепталъ:

— Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понялъ, что его религіозная мораль вошла въ столкновеніе съ своего рода «политикою». Онъ Тертулліана «О зрѣлищахъ» читалъ и вывелъ, что «во славу Христову» нельзя ни въ театры ходить, ни танцовать, ни въ карты играть, ни многаго иного творить, безъ чего современные намъ, наружные христіане уже обходиться не умѣютъ. Онъ былъ своего рода новаторъ и, видя этотъ обветшавшій міръ, стыдился его и чаялъ новаго, новаго духа и истины.

Какъ я ему это намекнулъ, онъ мнѣ сейчасъ и поддакнулъ.

— Да, говоритъ, да, эти люди плоть: — а что плоть-то показывать? — ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится черезъ нихъ имя Христово въ языцѣхъ.

— А зачѣмъ это къ тебѣ, говорятъ, будто инородцы и до сихъ поръ приходятъ?

— Вѣрятъ мнѣ и приходятъ.

— То-то; зачѣмъ?

— Поспорятъ когда или поссорятся, и идутъ: — разбери, говорятъ, по-христосикову.

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай ихъ знаю; а умъ Христовъ приложу и скажу, какъ быть.

— Они и примутъ?

— Примутъ: — они Его справедливость любятъ. А другой разъ больные приходятъ или бѣсные, — просятъ помолиться.

— Какъ же ты бѣсныхъ лѣчишь? отчитываешь, что ли?

— Нѣтъ, владыко; такъ помолюсь, да успокою.

— Вѣдь на это ихъ шаманы слывутъ искусниками.

— Такъ, владыко: — не ровенъ шаманъ: иные и впрямь не мало тайныхъ силъ природныхъ знаютъ; ну, да вѣдь и шаманы ничего... Они меня знаютъ и иные сами ко мнѣ людей шлютъ.

— Откуда же у тебя и съ шаманами пріязнь?

— А вотъ какъ: ламы буддійскіе на нихъ гоненіе сдѣлали, — ихъ, этихъ шамановъ, тогда наши чиновники много въ острогъ забрали, а въ острогѣ дикому человѣку скучно: — съ иными Богъ вѣсть что дѣлается. Ну, я, грѣшникъ, въ острогъ ходилъ, калачиковъ для нихъ по купцамъ выпрашивалъ и словцомъ утѣшалъ.

— Ну, и что же?

— Благодарны, берутъ Христа ради и хвалятъ Его: хорошъ, говорятъ, — добръ. Да ты молчи, владыко, они сами не чуютъ, какъ края ризы Его касаются.

— Да вѣдь какъ, говорю, касаются-то? все, вѣдь, это безъ толку!

— И, владыко! что ты все сразу такъ сунешься! Божіе дѣло своей ходой, безъ суеты идетъ. Не шесть ли водоносовъ было на пиру въ Канѣ, а вѣдь не всѣ ихъ, чай, сразу наполнили, а одинъ за другимъ наливали: Христосъ, батюшка, самъ уже на что великъ чудотворецъ, а и то слѣпому жиду прежде поплевалъ на глаза, а потомъ открылъ ихъ: а эти вѣдь еще слѣпѣе жида. Что отъ нихъ сразу-то много требовать? Пусть за краекъ Его ризочки держатся,— доброту Его чувствуютъ, а онъ ихъ Самъ къ себѣ уволочетъ.

— Ну, вотъ, уже и «уволочетъ»!

— А что же?

— Да какія ты слова-то неумѣстныя употребляешь.

— А чѣмъ, владыко, неумѣстное, — слово препростое. Онъ, благодѣтель нашъ, вѣдь и Самъ не боярскаго рода, за простоту не судится. Роть Его кто исповѣсть; а Онъ съ пастухами ходилъ, съ грѣшниками гулялъ и нелудивой овцой не брезговалъ, а гдѣ найдетъ ее, взвалитъ Себѣ, какъ она есть, на святыя рамена и тащитъ къ Отцу. Ну, а Тотъ... что Ему дѣлать? — не хочетъ многострадательнаго сына огорчить, — замарашку ради Его на дворъ овчій пуститъ.

— Ну, говорю, хорошо; въ катехизаторы, ты, братъ Кириакъ, совсѣмъ не годишься, а въ крестители ты, хоть и ретивствуешь немножко, однако приготовь и, какъ себѣ хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Кириакъ ужасно взволновался и разстроился.

— Помилуй, говоритъ, владыко: къ чему тебѣ меня нудить? Да запретитъ тебѣ Христосъ это сдѣлать! И ничего изъ этого не поспѣдуетъ, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это такъ?

— Такъ; потому что сія дверь для насъ затворена.

— Кто же ее затворилъ?

— А Тотъ, Который имѣетъ ключъ Давидовъ: «отверзаяй и никтоже отворитъ, затворяяй и никтоже отверзетъ». Или ты Апокалипсисъ позабылъ?

— Кириакъ, говорю, многія книги безумнымъ тя творятъ.

— Нѣтъ, владыко, я не безуменъ, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь и Духа Святаго оскорбишь, и только однихъ церковныхъ приказныхъ обрадуешь, чтобы имъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я его пересталъ слушать, однако не оставлялъ мысли современемъ его перекапризить и непремѣнно его послать. Но что бы вы думали? — вѣдь не одинъ простосердечный ветхозавѣтный Аммосъ, собирая ягоды, вдругъ сталъ пророчествовать, — и мой Кириакъ мнѣ напророчилъ, и его слова: «да запретитъ тебѣ Христосъ» начали дѣйствовать. Въ это самое время я, какъ нарочно, получилъ изъ Петербурга извѣщеніе, что, по тамошнему благоусмотрѣнію, у насъ, въ Сибири, увеличивается число буддійскихъ капищъ и удваиваются штаты ламъ. Я хоть и въ русской землѣ рожденъ и пріученъ былъ не дивиться никакимъ неожиданностямъ, но, признаюсь, этотъ порядокъ contra jus et fas изумилъ меня, а что гораздо хуже, — онъ совсѣмъ съ толку сбивалъ бѣдныхъ новокрещенцевъ и, можетъ-быть, еще большей жалости достойныхъ миссіонеровъ. Вѣсть съ этимъ радостнымъ событіемъ, во вредъ христіанству и въ пользу буддизма, какъ вихремъ разнеслась по всему краю. Для ея распространенія скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповѣстилась, что «все преодолѣвшій и все отвергшій» богъ Фо въ Петербургѣ «одолѣлъ и отвергъ и Христосика». Торжествующіе ламы увѣряли, что уже все наше верховное правительство и самъ нашъ Далай Лама, то-есть митрополитъ, приняли буддійскую вѣру. Перепугались миссіонеры, извѣстясь о семъ; не знали, что имъ дѣлать; иные изъ нихъ, кажется, отчасти сомнѣвались: ужъ и впрямь не повернуло ли въ Петербургѣ дѣло на ламайскую сторону, какъ оно въ то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а нынѣ, въ сію многодумную и дурашливую пору поворачиваетъ на спиритскую. Только нынче оно, разумѣется, совершается спокойнѣе, потому что теперь кумиръ хотя и ледащенькій выбранъ, но зато теперь и противъ этого рожна прать никому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки недоставало во многихъ и, въ числѣ прочихъ, во мнѣ грѣшномъ. Я не могъ равнодушно смотрѣть на моихъ бѣдныхъ крестителей, которые *тышкомъ* плелись изъ степей ко мнѣ подъ защиту. Имъ однимъ по всему краю не было ни ло-

шадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, Богъ ихъ знаетъ какъ, лѣзли пѣшіе по сугробамъ и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не какъ іереи Бога вышняго, а какъ настоящіе калѣки-перехожіе. Чиновники и зауряды все управленіе, безъ зазрѣнія совѣсти, покровительствовали ламамъ. Мнѣ приходилось сражаться съ губернаторомъ, чтобы сей христіанскій боярин хотя малость остепенялъ своихъ пособниковъ, дабы они, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ открыто радѣли буддизму. Губернаторъ, какъ водится, обижался, и у насъ съ нимъ закипѣла жестокая стычка: я ему на его чиновниковъ жалуюсь, — онъ мнѣ на моихъ миссіонеровъ пишетъ, что «никто-де имъ не мѣшаетъ, а они-де сами лѣнивые и неискусные». А мои дезертировавшіе миссіонеры, въ свою очередь, пищатъ, что имъ хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но нигдѣ ни лошадей, ни оленей не даютъ, потому что по степямъ всюду всѣ люди ламъ боятся.

— Ламы, говорятъ, богаты,—они чиновниковъ деньгами дарятъ, а намъ дарить нечѣмъ.

Что же мнѣ было можно имъ въ утѣшеніе сказать? Синоду, что ли, обѣщать представить, чтобы лавры и монастыри, имѣя «деньги многи», подѣлились съ нашею бѣдностію и какую-нибудь сумму на взятки приказнымъ отпустили, но боялся, что въ большихъ залахъ въ синодѣ это, чего добраго, за неумѣстное сочтутъ и, помолясь Богу, во вспомоществованіе на взятки мнѣ откажутъ, пожалуй. А къ тому же еще и это средство въ нашихъ рукахъ могло быть ненадежно: апостолы мои въ самихъ себѣ такую слабость мнѣ открыли, которая, въ связи съ обстоятельствами, получала очень важное значеніе.

— Насъ, говоритъ, за дикарей жалость беретъ; изъ нихъ съ этой возней совсѣмъ послѣдній толкъ выбьютъ; нынче мы ихъ крестимъ, завтра ламы его обращаютъ и велятъ Христа порицать, а за штрафъ все, что попало, у нихъ берутъ. Обнищеваетъ бѣдный народъ и въ скотѣ, и въ своемъ скудномъ разумѣ, — всѣ вѣры перепуталъ и на всѣ колѣна хромаетъ, а на насъ плачется.

Кириакъ этою борьбою очень интересовался и, пользуясь моимъ расположеніемъ, не разъ останавливалъ меня вопросами:

— Что тебѣ, владыко, вражки пишутъ? или:

— Что ты, владыко, вражкамъ написалъ?

Разъ даже онъ явился ко мнѣ съ просьбою:

— Посовѣтуйся со мною, владыко, какъ будешь вражкамъ писать?

Это было по случаю тому, что губернаторъ мнѣ ставилъ на видъ, что въ сосѣдней епархіи, при тѣхъ же обстоятельствахъ, въ какихъ я находился, проповѣдь и крещеніе совершаются успѣшно, причемъ указывалъ мнѣ на какого-то миссіонера Петра, изъ зырянъ, который цѣлыми массами крститъ инородцевъ.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросилъ сосѣдняго архіерея: такъ ли это?

Тотъ отвѣчалъ, что, дѣйствительно, у него есть зырянинъ, попъ Петръ, который два раза ѣздилъ на проповѣдь и въ первый разъ «всѣ кресты раскрестилъ», а во второй взвое больше крестовъ взялъ и опять недостало,—съ одного на другого на шеи перевѣшивалъ.

Кириакъ, какъ это услышалъ, такъ и всплакался.

— Боже мой,—говоритъ, откуда еще ко всѣмъ бѣдамъ пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ Его же церкви да Его же кровью затопитъ! Охъ, бѣда! помилосердуй, владыко.—проси скорѣе архіерея, чтобы онъ унялъ своего слугу вѣрнаго.—оставилъ бы въ церкви силъ хоть на сѣмена.

— Ты, говорю, отецъ Кириакъ, вздоръ говоришь; могу ли я отъ столь хвальной ревности человѣка удерживать?

— Ахъ, нѣтъ, молитъ, владыко, проси: вѣдь это тебѣ непонятно, а я такъ знаю, что, значитъ, теперь тамъ въ степяхъ дѣлается. Это все не Христу, а вражкамъ его службу тамъ идетъ. Зальютъ, зальютъ они Его, голубчика, кровью и на сто лѣтъ отъ Него народъ отпугаютъ.

Я, разумѣется, Кириака не послушалъ, а напротивъ—написалъ къ сосѣднему архіерею, чтобы онъ далъ мнѣ своего зырянина на подержаніе, или, какъ сибирскіе аристократы по-французски говорятъ: «о прока». Сосѣдъ мой архіерей въ это время уже, отбывъ сибирскую эпитимью, перемѣщался въ Россію и не постоялъ за своего досужаго крстителя. Зырянинъ былъ мнѣ присланъ: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслянъ. Я его сейчасъ же отправилъ въ степь, а недѣли черезъ двѣ отъ него уже и радостныя вѣсти имѣлъ: доно-

силъ онъ мнѣ, что креститъ народъ на всѣ стороны. Одного онъ опасался: достанетъ ли у него крестовъ, которыхъ забралъ съ собою весьма изрядную коробку? Изъ сего я, не ошибаяся, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего счастливаго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.

Вотъ, думаю, когда я досталъ себѣ, наконецъ, къ этому дѣлу настоящаго мастера! И очень былъ этому радъ, да и какъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ,—съ самой казенной точки зрѣнія,—потому что... и архіерей вѣдь тоже, господа, человѣкъ, и ему надокучитъ, когда одна власть пристаетъ: «крести», а другая — «пусти»... Ну, ихъ совсѣмъ! скорѣй какъ-нибудь кончить въ одну сторону, и какъ попался ловкій креститель, такъ пусть уже заурядъ все крестить, [illegible], и людямъ спокойнѣе станетъ.

Но Киріакъ не раздѣлялъ моего взгляда, и разъ иду я вечеромъ черезъ дворъ изъ бани и встрѣчаю его; онъ остановился и привѣтствуетъ меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй, говорю, отецъ Киріакъ.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянина-то отмылъ ли?

Я разсердился.

— Это, говорю, что̀ за глупость?

А онъ опять про зырянина.

— Онъ безжалостный, говоритъ, — онъ и у насъ теперь такъ креститъ, какъ за Байкаломъ крестилъ: его крестниковъ черезъ это только мучаютъ, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грѣхъ всѣмъ вамъ, а тебѣ больше всѣхъ грѣхъ, владыко!

Я Киріака счелъ за грубіяна, но слова-то его мнѣ все-таки въ душу запали. Что въ самомъ дѣлѣ? онъ, вѣдь, старикъ основательный, — на вѣтеръ болтать не станетъ: въ чемъ же тутъ секретъ? — какъ, въ самомъ дѣлѣ, взятый мною «о прока» досужій зырянинъ креститъ? Я имѣлъ понятіе о религіозности зырянъ: они по преимуществу храмоздатели, — церкви у нихъ повсюду отличныя и даже богатыя, но изъ всѣхъ глаголемыхъ христіанъ на свѣтѣ они, должно сознаться, самые внѣшніе. Ни къ кому столько, какъ къ нимъ, не идетъ опредѣленіе, что у нихъ «Богъ въ однихъ лишь образахъ, а не въ убѣжденіяхъ человѣка»: но,

вѣдь, не жжетъ же этотъ зырянинъ дикарей огнемъ, чтобы они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутъ дѣло? отчего зырянинъ успѣваетъ, а русскіе не умѣютъ, и отчего я этого о-сю пору не знаю?

— А все оттого, владыко,—пришло мнѣ на мысль,—что ты и тебѣ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете, да только подъ колокольнымъ звономъ разъѣзжаете, а про дальнія мѣста своей паствы мало думаете и о нихъ по слухамъ судите. На безсиліе свое на родной землѣ нарекаете, а сами все звѣзды хватать норовите, да вопрошаете: «что ми хощете дати, да азъ вамъ предамъ?» Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?

И ходилъ я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей пустой скучной залѣ, и до тѣхъ поръ доходился, пока вдругъ мнѣ пришла въ голову мысль: пробѣжать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надѣялся уяснить себѣ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и освѣжиться хотѣлось.

Для совершенія этого пути мнѣ, при моей неопытности, нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ инородческій языкъ; но какого же товарища лучше желать, какъ Кириака? И, не откладывая этого по своей нетерпѣливости въ долгій ящикъ, я призвалъ Кириака къ себѣ, открылъ ему свой планъ и велѣлъ собираться.

Онъ не противорѣчилъ, а, напротивъ, казалось, былъ даже очень радъ и, улыбаясь, повторялъ:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Откладывать было незачѣмъ, и мы на другое же утро ранымъ-рано отпѣли обѣденку, одѣлись оба по-туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ мой зырянинъ апостольствовалъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Тихо прокатили мы первый день на доброй тройкѣ и все бесѣдовали съ отцомъ Кириакомъ. Любезный старикъ разсказывалъ мнѣ интересныя исторіи изъ инородческихъ религіозныхъ преданій, изъ коихъ меня особенно занимала повѣсть о пятистахъ путешественникахъ, которые, подъ руководствомъ одного книжника, по-ихнему—«обушія», пустились путешествовать по землѣ въ то еще время, когда «побѣдившій силу бѣсовскую и отринувшій всѣ слабости»

богъ Шигемуни гостепріимствовалъ «непочатыми яствами» въ Ширвасѣ. Повѣсть эта тѣмъ интересна, что въ ней чувствуется весь складъ и духъ религіозной фантазіи этого народа. Пятьсотъ путниковъ, предводимые обушіемъ, встрѣчаютъ духа, который, чтобы устрашить ихъ, принимаетъ самый ужасный и отвратительный видъ и спрашиваетъ: «есть ли у васъ такія чудовища?»—«Есть гораздо страшнѣе», отвѣчалъ обушій.—«Кто же они?»—«Всѣ тѣ, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны: они, по смерти, становятся чудовищами гораздо тебя страшнѣе и гаже». Духъ скрылся и, превратясь гдѣ-то въ человѣка, такого сухого и тощаго, что даже жилы его пристали къ костямъ, опять появился предъ путниками и говоритъ: «Есть ли у васъ такіе люди?» «Какъ же, отвѣчаетъ обушій, гораздо суше тебя есть.—таковы всѣ, любящіе почести».

— Гм!—перебилъ я Кирїака:—это, говорю, смотри, уже не на насъ ли, архіереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вѣсть, владыко,- и продолжаетъ:—По нѣкоторомъ времени духъ явился въ видѣ прекраснаго юноши и говоритъ: «А вотъ такіе у васъ есть ли?»—Какъ же, отвѣчаетъ обушій,—между людьми есть несравненно тебя прекраснѣе,—это тѣ, которые имѣютъ острое понятіе и, очистивъ свои чувства, благоговѣютъ къ тремъ изяществамъ: Богу, вѣрѣ и святости. Сіи столь тебя красивѣе, что ты предъ ними никуда не годишься». Духъ разсердился и сталъ экзаменовать обушія другими манерами. Онъ зачерпнулъ въ горсть воды:—«Гдѣ, говоритъ, больше воды: въ морѣ или въ горсти?»—«Въ горсти болѣе», отвѣчалъ обушій.—«Докажи».—«Ну, и докажу: по видимому судя, кажется въ морѣ, дѣйствительно, болѣе воды, чѣмъ въ горсти, но когда придетъ время разрушенія міра и изъ нынѣшняго солнца выступитъ другое, огнепалящее, то оно изсушитъ на землѣ всѣ воды,—и большія, и малыя: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумберъ-гора (Атласъ) разсыплется; а кто при жизни напоилъ своею горстью уста жаждущаго или обмылъ своею рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнцъ не изсушатъ, а напротивъ того, будутъ только ее расширять и тѣмъ самымъ увеличивать»...—Право, какъ вы хотите, а вѣдь это не совсѣмъ глупо, господа?—вопросилъ, пріостановясь на минуту, разсказчикъ,—а? Нѣтъ, взаправду, какъ вы это находите?

— Очень не глупо, совсѣмъ не глупо, владыко.

— Признаюсь вамъ, и мнѣ это показалось, пожалуй, толковѣе иной протяженной проповѣди объ оправданіи... Ну, впрочемъ, не все объ этомъ. Потомъ повели мы долгія бесѣды о томъ, какой способъ надо предпочесть всѣмъ другимъ для обращенія дикарей въ христіанство. Кирiакъ находилъ, что съ ними надо какъ можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кирика съ его вопросами превзойдутъ о томъ: можно ли того причащать, кто яйцомъ въ зубы постучитъ: да не надо много и догматизировать, потому что ихъ слабый умъ устаетъ слѣдить за всякою отвлеченностью и силлогизаціею, а надо имъ просто разсказывать о жизни и о чудесахъ Христа, чтобы это представлялось имъ какъ можно живообразнѣе и чтобы ихъ бѣдной фантазіи было за что цѣпляться. Но главное: все на то напиралъ, что «кто премудръ и худогъ, тотъ пусть покажетъ имъ отъ своего житія добраго,—тогда они и Христа поймутъ, а иначе, говоритъ, плохо наше дѣло, и истинная наша вѣра, хоть мы ее промежъ нихъ и наречемъ, то будетъ она у нихъ подъ началомъ у неистинной: наша будетъ нареченная, а та дѣйствующая, — что въ томъ добра-то, владыко? Посуди: къ торжеству Христовой вѣры это будетъ, или къ ея униженію? А еще того горше, какъ отъ нашего что возьмутъ, да не знать, что изъ него сдѣлаютъ. Нечего спѣшить нарекать, а надо насаждать; другіе придутъ — будутъ поливать, а возраститъ самъ Богъ... Не такъ ли, владыко, апостолъ-то училъ, а? Вспомни его, должно-быть, такъ: а то, гляди, какъ бы не поспѣшить, да людей не насмѣшить и сатану не порадовать».

Я, по правдѣ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ соглашался и не замѣтилъ, какъ въ простыхъ и мирныхъ съ нимъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ тѣмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртѣ и на другое утро покатили на оленяхъ.

Погода стояла чудесная и ѣзда на оленяхъ очень меня занимала, хотя она, однако, не совсѣмъ отвѣчала моимъ о ней представленіямъ. Въ дѣтствѣ моемъ я очень любилъ смотрѣть на картинку, гдѣ былъ представленъ лапландецъ на оленяхъ. Но тѣ олени, на картинкѣ, были легкіе, быстроногіе, какъ вихри степные неслись, закинувъ назадъ

головы съ вѣтвистыми рогами. и я, бывало, все думалъ: эхъ, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая это, должно-быть, пріятная быстрота при такой скачкѣ! А на дѣлѣ же оно выходило не такъ: передо мною были совсѣмъ не тѣ уносистые, рогатые вихри, а камолые, тяжеловатые увальни съ понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бѣжали они побѣжкой нетвердою и нерезвою, склонивъ головы, и съ такою задышкою, что инда съ непривычки жалость брала на нихъ смотрѣть, особливо какъ у нихъ ноздри замерзли и они рты поразинули. Такъ тяжело дышатъ, что это густое дыханіе ихъ собирается облакомъ и такъ и стоитъ въ морозномъ воздухѣ полосою. И эта ѣзда, и грустное однообразіе пустынныхъ картинъ, которыя при ней открываются, производятъ такое скучное впечатлѣніе, что даже говорить не хочется, и мы съ Кириакомъ, ѣдучи два дня на оленяхъ, почти ни о чемъ и не бесѣдовали.

На третій день къ вечеру и этотъ путь прекратился: снѣга стали рыхлѣе, и мы замѣнили нескладныхъ оленей собаками — такія сѣренькія, мохнатыя и востроухія, какъ волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацѣпятъ, но салазки такія узенькія, что двоимъ рядомъ сидѣть невозможно, и мы съ отцомъ Кириакомъ должны были раздѣлиться: на однѣхъ приходилось ѣхать мнѣ съ проводникомъ, а на другихъ—Кириаку съ другимъ проводникомъ. Проводники оба казались равнаго достоинства, да и съ обличья ихъ одного отъ другого даже и не отличишь, особенно какъ своими малицами закутаются,—точно банные обмылки: что одинъ, что другой — въ обоихъ одна красота. Но Кириакъ нашелъ въ нихъ разницу и непремѣнно настаивалъ, чтобы усадить меня съ тѣмъ, который казался ему надежнѣе: а въ чемъ онъ видѣлъ эту надежность—не объяснилъ.

— Такъ, говоритъ, владыко: ты въ этомъ краѣ неопытнѣе меня, такъ ты съ этимъ поѣзжай.—За это я его не послушалъ и сѣлъ съ другимъ. Поклажу свою мы раздѣлили: я взялъ себѣ въ ноги узелокъ съ бѣльемъ да съ книгами, а Кириакъ надѣлъ на себя мурмину и дароносицу, да взялъ въ ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбой и прочей нашей незатѣйливой походной провизіей.

Усѣлись мы такъ, подоткнулись малицами, сверху по колѣнамъ оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Ѣзда эта была гораздо быстрѣе, чѣмъ на оленяхъ, но зато сидѣть такъ худо, что у меня съ непривычки черезъ часъ же страшно спину разломило. Погляжу на Киріака—онъ сидитъ какъ воткнутый столбушекъ, а я такъ и вихляюсь по сторонамъ,—все балансъ хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не могъ и поговорить съ моимъ проводникомъ. Узналъ только, что онъ крещеный и окрещенъ недавно моимъ зыряниномъ, а поэкзаменовать его не успѣлъ. Къ вечеру я такъ измучился, что совсѣмъ держаться не могъ и пожаловался Киріаку.

— Плохо, говорю: меня что-то сразу уже очень растрясло.

— А все это оттого, отвѣчаетъ, что ты меня не слушалъ, — не съ тѣмъ ѣдешь, съ которымъ я тебя сажалъ: этотъ лучше правитъ, покойнѣе. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, говорю, изволь, пересяду, — и точно, пересѣлъ и опять ѣдемъ.

Не знаю: понавыкъ ли я за прошлый день держаться на этихъ рожнахъ, или, дѣйствительно, этотъ проводникъ лучше своимъ орстелемъ правилъ, только мнѣ спокойнѣе ѣхалось, такъ что я даже могъ и побесѣдовать.

Спрашиваю его: крещеный онъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзолъ-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережетъ.

Дзолъ-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто бы о счастіи и здоровьѣ тѣхъ, которыя у нея вымолены.

— Такъ что же, говорю, а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзолъ-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага, ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебя за это, на зло твоей Дзолъ-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачѣмъ Дзолъ-Дзаягачи сердить? — она разсердится,—дуть станетъ.

— Очень она мнѣ нужна, твоя Дэолъ-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ же, бачка, меня крестить? — мнѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ — меня крещенаго бить будетъ, шаманъ придетъ—опять бить будетъ, лама придетъ—тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже разорили... Какъ же, бачка, разорили и брата, бачка, разорили.

— Развѣ у тебя есть братъ крещеный?

— Какъ же, бачка, есть братъ, бачка, есть.

— И онъ крещеный?

— Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?

— Какъ же, бачка, крестятъ.

— Врешь!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнѣ разсказываешь?

— Какой, бачка, вздоръ!—не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.

— Для чего же вы такъ смошенничали?

— Потому, бачка, что онъ добрый.

— Кто это: братъ-то твой, что ли?

— Да, бачка, братъ. Онъ сказалъ: «я все равно уже пропалъ, — окрещенъ, а ты спрячься, — я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И гдѣ же онъ теперь, твой братъ?

— Опять, бачка, креститься побѣжалъ.

— Куда же этого его, бездѣльника, понесло?

— А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слыхать, твердый попъ ѣздитъ.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дѣло?

— А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди; какъ же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка.—за нихъ креститься побѣжалъ.

— Да что же это за шайганъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣетъ дѣлать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама олешковъ не сгонитъ.

— Гм! надо, однако, твоего досужаго брата на примѣту взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?

— Куська-Демякъ, бачка.

— Кузьма или Демьянъ?

— Нѣтъ, бачка,—Куська-Демякъ.

— Да: по-твоему чище. — Куська-Демякъ или мѣди пятакъ,—только это два имени.

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Я тебѣ говорю—два!

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.

— Какъ же, бачка, мнѣ лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещеніи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторилъ, онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Куська-Демякъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенія вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка,—забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ?

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю, этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка,—вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю разыскать и разспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самъ зайсану отдамъ.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего. — онъ пропащій.

— Черезъ что же это онъ пропащій-то? Черезъ то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки забралъ, ему свой никто не вѣритъ.

— Отчего не вѣритъ?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить,— никто не вѣритъ.

— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещеный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже?—одинъ человѣкъ.

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а вѣрить нельзя.

— Почему же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему попъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что же тутъ худого? неужто же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну, такъ я же тебя не понимаю: о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещеный своруетъ, попу скажетъ, а попъ его, бачка, проститъ: онъ и невѣрный, бачка, черезъ это у людей станетъ.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему какъ бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и простить проси; человѣкъ проститъ и Богъ проститъ.

— Да, вѣдь, и попъ человѣкъ: отчего же онъ не можетъ простить.

— Отчего же, бачка, не можетъ простить?—и попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ простить?

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ простить?

— Какъ же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будетъ; невѣрный человѣкъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

Ахъ, ты, думаю, чучело этакое немытое, какія себѣ построенія настроилъ!—и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Іисуса Христа-то что-нибудь слыхалъ?

— Какъ же, бачка,—слыхалъ.

— Что же ты про Него слыхалъ?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гм! ну, хорошо—ходилъ; а еще что?

— Свинью, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка,—хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Ну, какъ же жалостливъ? Что онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на глаза, бачка, плевалъ, — слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако, ты, братъ, много знаешь.

— Какъ же, бачка,—много знаю.

— Кто же тебѣ все это разсказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ же, бачка,—наши, наши.

— А они отъ кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ,—и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ поглядываетъ, да орстелемъ машетъ.

— Ну, понялъ ли, спрашиваю, что я тебѣ говорилъ?

— Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морѣ топилъ, слѣпому на глаза плевалъ, — слѣпой видѣлъ, хлѣбца-рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбка, а дальше никакъ и не поднимется... И припомнились мнѣ Кириаковы слова о ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что же? и этотъ, пожалуй, крайка коснулся, но ужъ именно только коснулся, — чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему болѣе дать за него ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ какъ можно проще побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать: вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, не понялъ?

— Ничего, бачка, — все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.

— Вотъ ты бы Его и любилъ.
— Какъ, бачка, Его не любить?
— Что? ты можешь Его любить?
— Какъ же, бачка,—я, бачка, Его и всегда люблю.
— Ну, вотъ и молодецъ.
— Спасибо, бачка.
— Теперь, значитъ, тебѣ остается креститься: Онъ и тебя спасетъ.

Дикарь молчитъ.

— Что же, говорю, пріятель: что ты замолчалъ?
— Нѣтъ, бачка.
— Что такое «нѣтъ, бачка»?
— Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонитъ.
— Да; вотъ главная бѣда!
— Бѣда, бачка.
— А ты и бѣду потерпи за Христа.
— На что, бачка. — Онъ, бачка, жалостливый: какъ я дохнуть буду, Ему Самому меня жаль станетъ. На что Его обижать!

Хотѣлъ-было сказать ему, что если онъ вѣритъ, что Христосъ его пожалѣетъ, то пусть вѣритъ, что Онъ же его можетъ и спасти,—но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христосъ у этого человѣка былъ въ числѣ его добрыхъ и даже самыхъ добрыхъ божествъ, да только не изъ сильныхъ: добръ, да не силенъ,—не заступается.—ни отъ зайсана, ни отъ ламы не защищаетъ. Что же тутъ дѣлать? какъ дикаря переувѣрить въ этомъ, когда Христову сторону поддержать не съ кѣмъ, а для той много подпоръ? Католическій проповѣдникъ въ такомъ случаѣ схитрилъ бы, какъ они въ Китаѣ хитрили: положилъ бы Будѣ къ ногамъ крестикъ, да и кланялся и, ассимилировавъ и Христа, и Будду, кичился бы успѣхомъ; а другой новаторъ втолковалъ бы такого Христа, что въ Него и вѣрить нечего, а только... думай о Немъ благопристойно и—хорошъ будешь. Но тутъ и это трудно: чѣмъ этотъ мой молодецъ станетъ раздумывать, когда у него вся думалка комомъ смерзлась и ему ее оттаять негдѣ.

Припомнилось мнѣ, какъ Карлъ Эккартсгаузенъ превосходно, въ самыхъ простыхъ сравненіяхъ, умѣлъ пред-

ставлять простымъ людямъ великость жертвы Христова пришествія на землю, сравнивая это, какъ бы кто изъ свободныхъ людей, по любви къ заключеннымъ злодѣямъ, самъ съ ними заключался, чтобы терпѣть ихъ злонравіе. Очень просто и хорошо; но вѣдь у моего слушателя, благодаря обстоятельствамъ, нѣтъ большихъ злодѣевъ, какъ тѣ, отъ кого онъ бѣгаетъ изъ страха, чтобы его не окрестили; нѣтъ у него такого мѣста, которое могло бы произвести ужасъ въ сравненіи съ страшнымъ мѣстомъ его всегдашняго обитанія... Ничего съ нимъ не подѣлаешь,—ни Массильономъ, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеномъ. Вонъ онъ тебѣ тычетъ орстелемъ въ снѣгъ да помахиваетъ, рожа обмылкомъ—ничего не выражаетъ; въ глядѣлкахъ, которыя стыдъ глазами звать,—ни въ одномъ ни искры душевнаго свѣта; самые звуки словъ, выходящихъ изъ его гортани, какіе-то мертвые: въ горѣ ли, въ радости ли—все одно произношеніе, вялое и безстрастное,—половину слова гдѣ-то въ глоткѣ выговоритъ, половину въ зубахъ сожметъ. Гдѣ ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ истинъ и что̀ ему въ нихъ? Они ему бремя: ему надо вымирать со всѣмъ родомъ своимъ, какъ вымерли ацтеки, вымираютъ индѣйцы... Ужасный законъ! Какое счастье, что онъ его не знаетъ,—и знай тычетъ себѣ орстелемъ,—тычетъ направо, тычетъ налѣво: не знаетъ, куда меня мчитъ, зачѣмъ мчитъ и зачѣмъ, какъ дитя простой душою, открываетъ мнѣ, во вредъ себѣ, свои завѣтныя тайны... Малъ весь талантъ его и... благо ему: мало съ него спросится... А онъ все несется, несется въ безбрежную даль, и машетъ своимъ орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ дѣйствовать на меня, какъ маятникъ. Меня замаячило; эти мѣрные взмахи, какъ магнетизерскіе пассы, меня путали сонною сѣтью; подъ темя тѣснилась дрема, и я тихо и сладко уснулъ,—уснулъ для того, чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранитъ Господь всякую душу живую!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я спалъ очень крѣпко и, вѣроятно, довольно долго, но вдругъ мнѣ показалось, что меня какъ будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я въ полуснѣ еще хотѣлъ поправиться, но вижу, что меня опять кто-то по-

шатнулъ назадъ; а вокругъ все востъ... Что такое? Хочу посмотрѣть, но нечѣмъ смотрѣть.—глаза не открываются. Зову своего дикаря.

— Эй, ты, пріятель! гдѣ ты?

А онъ на самое ухо кричитъ мнѣ:

— Прочкнись, бачка,—прочкнись скорѣй! застынешь!

— Да что это я, говорю, не могу глазъ открыть?

— Сейчасъ, бачка, откроешь.

И съ этими словами—что бы вы думали?—взялъ да мнѣ въ глаза и плюнулъ, и ну своимъ оленьимъ рукавомъ тереть.

— Что ты дѣлаешь?

— Глаза тебѣ, бачка, протираю.

— Пошелъ ты, дуракъ...

— Нѣтъ, погоди, бачка,—не я дуракъ, а ты сейчасъ глядѣть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнѣ своимъ оленьимъ рукавомъ по лицу, мои смерзшіяся вѣки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видѣть? Я не знаю, можетъ ли быть страшнѣе въ аду: вокругъ мгла была непроницаемая, непроглядная темь—и вся она была, какъ живая: она тряслась и дрожала, какъ чудовище.—сплошная масса льдистой пыли была его тѣло, останавливающій жизнь холодъ—его дыханіе. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ грозныхъ своихъ явленій и, встрѣтясь съ ней лицомъ къ лицу, я ужаснулся.

Все, что я могъ проговорить, это былъ вопросъ о Кириакѣ,—гдѣ онъ? Но говорить было такъ трудно, что дикарь ничего не слышалъ. Тутъ я замѣтилъ, что онъ, говоря мнѣ, нагибался и кричалъ мнѣ подъ треухъ въ самое ухо, и самъ я подъ треухъ ему закричалъ:

— А гдѣ наши другія сани?

— Не знаю, бачка,—насъ разбило.

— Какъ разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотѣлъ этому не вѣрить: хотѣлъ оглянуться, но никуда, ни въ одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный и кромѣшный. Подъ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то копошилось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ видѣть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тотъ отвѣчаетъ:

— А это, бачка, собачки спутались,—грѣются.

И вслѣдъ затѣмъ онъ сдѣлалъ въ этой тьмѣ какое-то движеніе и говоритъ:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вотъ сюда, бачка,—въ снѣгъ падай.

— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Кирiака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его, но меня въ то же мгновеніе и сразу же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, причемъ довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говоритъ:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ замететъ, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не оставалось, какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее же подобрался.

— Вотъ теперь, говоритъ, бачка, хорошо будетъ.

Но это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четвородневный Лазарь въ Виѳанской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой человѣкъ: это было что-то хуже трупа,—это была смѣсь вонючей оленьей шкуры, остраго человѣчьяго пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьяго жира и грязи... О, Боже, о, бѣдный я человѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять въ этомъ метущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожаго на такую возможность нельзя было и ждать,—и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говоритъ:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ;—ты вотъ сюда клади морду, вмѣстѣ дуть будемъ,—тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-то напружинился, какъ клопъ, перекатился чрезъ меня и легъ прямо носъ къ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сапомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ тоже необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого стерпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю, какъ-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

«Мордою» его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для оттѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльныхъ словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, — почему же у архіерея не быть мордѣ? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вотъ что трудно было: сносить это его дыханіе съ этой смердючей юколой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ, — вѣроятно, зловоніемъ его собственнаго желудка, — противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю, — перестань; ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть—теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ,—не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И въ эту же секунду, какъ это выговорилъ, точно мустрованная лошадь, которая сразу въ галопъ принимаетъ, такъ и онъ сразу же уснулъ и сразу же захрапѣлъ. Да, вѣдь, какъ же, злодѣй, захрапѣлъ! Я, признаюсь вамъ, съ дѣтства страшный врагъ соннаго храпа, и гдѣ въ комнатѣ хоть одинъ храпливый человѣкъ есть, я уже мученикъ и ни за что уснуть не могу; а такъ какъ у насъ, въ семинаріи и академіи, разумѣется, было много храпуновъ, и я ихъ поневолѣ много и прилежно слушивалъ, то, не въ смѣхъ вамъ сказать, я вывелъ себѣ о храпѣ свои наблюденія: по храпу, увѣряю васъ, все равно, какъ по голосу и по походкѣ, можно судить о темпераментѣ и о характерѣ человѣка. Увѣряю васъ, это такъ: задорный человѣкъ — онъ и

храпитъ задорно, точно онъ и во снѣ сердится; а товарищъ у меня по академіи весельчакъ и франтъ былъ, — такъ тотъ и храпѣлъ какъ-то франтовски: — этакъ весело какъ-то, съ присвистомъ, точно въ своемъ городѣ въ соборъ идетъ новый сюртукъ обновлять. Его, бывало, даже изъ другихъ камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешній мой дикій сосѣдъ такую положительную музыку завелъ, что я никогда ни такого обширнаго діапазона, ни такого темпа еще не наблюдалъ и не слыхивалъ: точно какъ будто сильный густой рой гудитъ и въ звонкій сухой улей о стѣнки мягко бьется. Прекрасно этакъ, солидно, ритмически и мѣрно: у-у-у-у-бумъ. бумъ. бумъ, у-у-у-у-бумъ. бумъ. бумъ... По моимъ наблюденіямъ, надлежало бы вывести, что это дѣйствуетъ человѣкъ обстоятельный, надежный; но, лиха бѣда, мнѣ не до наблюденій было: онъ такъ одолѣлъ совсѣмъ, разбойникъ, этимъ гуломъ! Терпѣлъ-терпѣлъ я, наконецъ, не выдержалъ, — толкнулъ его въ ребра.

— Не храпи, говорю.

— А что, бачка? зачѣмъ не храпѣть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мнѣ не даешь.

— А ты самъ захрапи.

— Да я не умѣю храпѣть.

— А я, бачка, умѣю,—и опять сразу въ галопъ загудѣлъ.

Что ты съ этакимъ мастеромъ станешь дѣлать? Что ужъ тутъ съ такимъ человѣкомъ спорить, который во всемъ превосходитъ: и о крещеньи больше меня знаетъ, по скольку разъ крестятъ, и объ именахъ свѣдущъ, и храпѣть умѣетъ, а я не умѣю; во всемъ передо мною преферансъ получаетъ,—надо ему и честь, и мѣсто дать.

Поднятился я отъ него, какъ могъ, немножко въ сторону, провелъ съ трудомъ руку за подрясникъ и пожалъ репетиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значитъ, еще былъ день: вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, можетъ-быть, и больше... Сибирскія вьюги, вѣдь, продолжительны. Можете себѣ представить, каково имѣть все это въ перспективѣ! А между тѣмъ, положеніе мое все становилось ужаснѣе: сверху насъ, вѣрно, уже хорошо укрыло снѣгомъ и въ логовѣ нашемъ стало не только-тепло, а даже душно; но зато и отвратительныя, вонючія испаренія становились все гуще, — отъ этого спертаго смрада у меня занимало

дыханіе и очень жаль, что это сдѣлалось не сразу, потому что тогда я не испыталъ бы и сотой доли тѣхъ мученій, которыя ощутилъ, приведя себя въ память, что съ моимъ отцомъ Кириакомъ пропала и моя бутылка съ подправленною коньякомъ водою и вся наша провизія... Я ясно видѣлъ, что если я не задохнусь здѣсь, какъ въ Черной Пещерѣ, то мнѣ, навѣрно, грозитъ самая ужасная, самая мучительная изъ всѣхъ смертей.—голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь жалѣлъ, что не остался мерзнуть наверху и залѣзъ въ этотъ снѣжный гробъ, гдѣ мы двое лежали въ такой тѣснотѣ и подъ такимъ прессомъ, что всѣ мои усилія приподняться и встать были совершенно напрасны!

Съ величайшимъ трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего плеча кусочки снѣгу и жадно глоталъ ихъ, одинъ за другимъ, но—увы!—это меня нимало не облегчало—напротивъ, это возбуждало у меня тошноту и несносное жженіе въ горлѣ и желудкѣ, а особенно около сердца; затылокъ у меня трещалъ, въ ушахъ стоялъ звонъ и глаза гнело и выпирало на лобъ. А между тѣмъ докучный рой гудѣлъ все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились объ улей. Такое ужасное состояніе продолжалось, пока часовой репетиръ сказалъ семь, — и затѣмъ я больше ничего не помню, потому что потерялъ сознаніе.

Это было величайшее счастіе, какое могло посѣтить меня въ моемъ настоящемъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, отдыхалъ ли я въ это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мѣрѣ, не мучился представленіемъ о томъ, что меня ожидало впереди и что въ дѣйствительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти всѣ представленія встревоженной фантазіи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Когда я пришелъ въ чувства, пчелиный рой отлетѣлъ, и я увидѣлъ себя на днѣ глубокой, снѣжной ямы; я лежалъ на самомъ ея днѣ, съ вытянутыми руками и ногами и не чувствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды;—рѣшительно ничего! Только голова моя была до того мутна и безтолкова, что мнѣ порядочнаго труда стоило привести себѣ на память все, что со мною произошло, и въ какомъ я теперь нахожусь положеніи. Но, наконецъ, все это вы-

яснилось, и первая мысль, которая мнѣ пришла въ эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранѣе меня и улизнулъ одинъ, а меня бросилъ.

Оно, по здравому сужденію, ему такъ бы и стоило со мною сдѣлать, особенно послѣ того, какъ я ему вчера нагрозилъ и его крестить, и брата его Кузьму-Демьяна разъискивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ поступилъ. Чуть я, съ трудомъ двинувъ моими набрякшими членами, сѣлъ на днѣ моей разрытой могилы, какъ увидѣлъ я его шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подъ большимъ заиндивѣлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а надъ нимъ, на длинномъ суку, висѣла собака, у которой изъ распоротаго брюха ползли внизъ теплыя черева.

Я догадался, что это онъ жертву или, по-ихнему, таилгу принесъ, и, по правдѣ сказать, не возропталъ, что это жертвоприношеніе его здѣсь задержало, пока я проснулся, и помѣшало ему меня бросить. А я вполнѣ былъ увѣренъ, что этотъ язычникъ непремѣнно долженъ былъ имѣть такое нехристіанское намѣреніе, и завидовалъ отцу Киріаку, который терпитъ теперь свою бѣду, по крайней мѣрѣ, хоть съ человѣкомъ крещенымъ, который все же долженъ быть благонадежнѣе моего нехристя. И отъ тяжкаго ли моего положенія, что ли, во мнѣ родилось даже такое подозрѣніе, что не слукавилъ ли со мною отецъ Киріакъ и, предусматривая всѣ больше меня ему извѣстныя случайности сибирскихъ путешествій, подъ видомъ доброжелательства подсудобилъ мнѣ язычника, а себѣ отобралъ христіанина? Не похоже это, конечно, было на отца Киріака, и мнѣ даже и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что̀ дѣлать, когда она явилась?

Вылѣзъ я изъ снѣжной ямы и сталъ подбираться къ моему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снѣгъ захрустѣлъ подъ моими ногами, и обернулся, но сейчасъ же опять сталъ продолжать попрежнему свои таинодѣйствія.

— Ну, не довольно ли тебѣ кивать-то?—сказалъ я, постоявъ возлѣ него съ минуту.

— Довольно, бачка.—и сейчасъ же пошелъ къ санямъ и началъ цѣплять въ шорки остальныхъ собаченокъ. Закладка была готова, и мы поѣхали.

— Кому ты это тамъ таилгу далъ?—спросилъ я его, махнувъ назадъ головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовалъ: Богу или чорту—шайтану?

— Шайтану, бачка, какъ же.—шайтану.

— За что же ты его угостилъ?

— А за то, бачка, что онъ насъ не заморозилъ: я ему, бачка, за это собачку далъ,—пусть его лопаетъ.

— Гм! да онъ-то пусть лопаетъ.—не облопается, а собаченку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка,—пусть его беретъ—лопаетъ.

— Да; такъ ты съ расчетомъ: дохленькую ему далъ...

— Какъ же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь ѣдемъ?

— Не знаю, бачка—слѣдъ ищемъ.

— А гдѣ мой попъ—товарищъ?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же намъ его найти?

— Не знаю, бачка.

— Можетъ-быть, онъ замерзъ?

— Зачѣмъ, бачка, замерзъ: снѣгъ есть — не замерзнетъ.

Я вспомнилъ опять, что съ Кирiакомъ есть еще и бутылка съ согрѣвающимъ питьемъ, и провизiя, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поѣлъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не увѣренъ былъ, есть ли она съ нами.

Цѣлый день мы кружили какъ-то зря; я это видѣлъ—если не по безстрастному лицу моего возницы, то по неспокойнымъ, неровнымъ и тревожнымъ движенiямъ его собакъ, которыя все какъ-то прыгали, суетились и безпрестанно метались изъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними было много хлопотъ, но его неизмѣнное безстрастное равнодушiе не покидало его ни на минуту: онъ только работалъ своимъ орстелемъ какъ будто съ нѣсколько большимъ вниманiемъ, безъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сторазъ быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо гдѣ-нибудь подъ лѣсами, мимо которыхъ мы проѣзжали.

Но вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снѣгъ, прыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумѣется лучше меня зналъ, что это значитъ и какою угрожаетъ

намъ новою бѣдою, но не выразилъ ни страха, ни смущенія: такъ же, какъ и всегда, онъ твердою, но безстрастною рукою застремилъ въ снѣгъ свой орстель и далъ мнѣ держать этотъ якорь нашего спасенія, а самъ поспѣшно сошелъ съ саней, вынулъ изнемогшаго пса изъ хомутика и потащилъ его взадъ, за сани. Я думалъ, что онъ хочетъ пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидѣлъ, что и эта собака уже виситъ на деревѣ и изъ нея опять ползутъ внизъ кровавыя черева. Отвратительное зрѣлище!

— Это что опять?—крикнулъ я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много ему по двѣ собаки на день ѣсть.

— Ничего, бачка, пусть лопаетъ.

— Нѣтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ будешь колоть, то ты ихъ всѣхъ шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тѣхъ даю, которыя дохнуть.

— А ты бы ихъ лучше покормилъ.

— Нечѣмъ, бачка.

— Вотъ оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткій день уже опять клонился къ вечеру и остальныя собаченки, видимо, совсѣмъ устали, изъ силъ выбились и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. И вдругъ еще одна пала, а прочія всѣ, какъ по уговору, всѣ сразу сѣли на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой всталъ и хотѣлъ вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей разъ уже рѣшительно не позволилъ. Такъ надоѣло мнѣ на это смотрѣть, да и казалось, что эта мерзость какъ будто увеличивала ужасъ нашего положенія.

— Оставь, говорю, и не смѣй трогать: пусть издыхаетъ какъ ей пришлось.

Онъ и спорить не сталъ, но зато съ обычнымъ ему, самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ выкинулъ самую неожиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собаченокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей въ одну сторону и въ минуту же скрылись въ

лѣсу за дальнимъ перелогомъ. Все это сталось такъ скоро, какъ въ сказкѣ объ Ильѣ-Муромцѣ сказывается: «какъ садился Илья на коня, всѣ видѣли, а какъ уѣхалъ, того никто не видалъ». Наша двигательная сила насъ оставила: мы *отышли:* отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно бодрыхъ собаченокъ, при насъ оставалась только одна, издохшая, которая валялась у нашихъ ногъ въ своемъ хомутишкѣ.

Дикарь мой стоялъ на этомъ позорищѣ, облокотясь на свой орстель и съ тѣмъ же безстрастіемъ смотрѣлъ себѣ на ноги.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—воскликнулъ я.

— Пустилъ, бачка.

— Вижу, что пустилъ: а придутъ ли онѣ назадъ?

— Нѣтъ, бачка, не придутъ.—онѣ одичаютъ.

— Для чего же, для чего ты ихъ спустилъ?

— Лопать, бачка, хотятъ. — пусть звѣрька изловятъ,— лопать будутъ.

— А мы съ тобою что̀ будемъ лопать?

— Ничего, бачка.

— Ахъ ты, извергъ!

Онъ, вѣрно, не понялъ и ничего мнѣ не отвѣчалъ, но воткнулъ въ снѣгъ свой орстель и пошелъ. Никто бы не отгадалъ, куда и зачѣмъ онъ отъ меня удалился. Я его окликалъ, звалъ его вернуться назадъ, но онъ, только взглянувъ на меня своимъ тупымъ взглядомъ, прорычалъ: «молчи, бачка», и побрелъ дальше. Скоро и онъ исчезъ за онушкой, и я остался одинъ-одинёшенекъ.

Надо ли вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно было мое положеніе или, можетъ-быть, вы лучше поймете весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, что я голоденъ, что мнѣ хочется не ѣсть, въ человѣческомъ смыслѣ желанія пищи, а жрать, какъ голодному волку. Я вынулъ мои часы, подавилъ репетиръ и былъ пораженъ новымъ сюрпризомъ: мои часы стояли,—чего съ ними никогда не случалось на заводѣ. Дрожащими руками я вложилъ въ нихъ ключъ и удостовѣрился, что онѣ стали потому, что весь заводъ сошелъ; а онѣ ходили около двухъ сутокъ на одномъ заводѣ. Это мнѣ открывало, что мы, ночуя подъ снѣгомъ, пролежали въ своей ледяной могилѣ *болье чымъ сутки*! Сколько же? — можетъ-быть, двое.

можетъ-быть, трое? Я болѣе не удивлялся, что я такъ мучительно страдаю отъ голода... Я, значитъ, не ѣлъ, по крайней мѣрѣ, третьи сутки и, сообразивъ это, почувствовалъ свой терзающій голодъ еще ожесточеннѣе.

Ѣсть, что-нибудь ѣсть!—нечистое, гадкое, лишь бы ѣсть!—вотъ все, что я понималъ, отчаянно водя вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы стояли на плоскомъ возвышеніи; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди безконечное ея продолженіе; вправо обозначалась занесенная снѣгомъ низменность и перевалъ, за которымъ далеко синѣла на горизонтѣ гряда лѣса, куда скрылись наши собаки. Влѣво шла другая лѣсная опушка, вдоль которой мы ѣхали, пока вся наша сбруя не разстроилась. Сами мы стояли какъ разъ подъ большимъ сугробомъ, который, видно, намело на пригорокъ, покрытый высокими, подъ самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодомъ, я стылъ, сидя на краю саней, и, не обращая вниманія ни на что окружающее, не замѣтилъ, когда здѣсь очутился возлѣ меня мой дикарь. Я не видалъ ни того, какъ онъ подошелъ, ни того, какъ онъ, молча, сѣлъ рядомъ со мною; теперь же, когда я обратилъ на него вниманіе, онъ сидѣлъ, поставивъ орстель въ колѣна, а руки завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измѣнилась, ни одинъ мускулъ не двигался и глаза не выражали ничего, кромѣ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ на него и ни о чемъ его не спросилъ, а онъ, какъ до сихъ поръ никогда первый не заговаривалъ, и теперь не заговорилъ. Такъ мы и осмеркли, такъ и просидѣли рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ другу ни одного слова.

Но чуть на небѣ начало слегка сѣрѣть, дикарь тихо поднялся съ саней, заложилъ руки поглубже за пазуху и опять побрелъ вдоль по опушкѣ. Долго онъ не бывалъ назадъ, я долго видѣлъ, какъ онъ бродилъ и все останавливался: станетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разглядываетъ, и опять дальше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся съ моихъ глазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно возвращается и прямо съ прихода лѣзетъ подъ сани и начинаетъ тамъ что-то настроивать или разстроивать.

— Что ты, спрашиваю, тамъ дѣлаешь? — и при этомъ непріятно открываю, какъ у меня спалъ и даже совсѣмъ перемѣнился мой голосъ, между тѣмъ мой дикарь какъ прежде говорилъ, такъ и теперь такъ же, перекусывая звуки, отрываетъ.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи!—воскликнулъ я въ ужасѣ. тутъ только во всемъ значеніи понявъ, что такое значитъ «навострить лыжи».— Зачѣмъ ты лыжи достаешь?

— Сейчасъ убѣгу.

— Ахъ, ты, разбойникъ. думаю: куда же ты это побѣжишь?

— На правую руку, бачка, убѣгу.

— Зачѣмъ же ты туда побѣжишь?

— Лопать тебѣ принесу.

— Врешь, говорю.—ты меня здѣсь кинуть хочешь.

Но онъ нимало не смутился и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.

— Гдѣ же ты мнѣ лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же не знаешь: куда же ты бѣжишь?

— На праву руку.

— Кто же тамъ на правой рукѣ?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, такъ чего же ты бѣжишь?

— Примѣту нашелъ,—чумъ есть.

— Врешь. говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бросить хочешь.

— Нѣтъ; я лопать принесу.

— Ну. ступай, только ужъ лучше не ври, а иди себѣ куда знаешь.

— Зачѣмъ, бачка. врать, не хорошо врать.

— Очень, братъ, не хорошо, а ты врешь.

— Нѣтъ, бачка, не вру! поди со мной: я тебѣ примѣтку покажу.

И, зацѣпивъ лыжи и орстель. онъ поволокъ ихъ за собою и меня взялъ за руку. привелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:

— Видишь, бачка?

— Что же, говорю, дерево вижу, - больше ничего.

— А вонъ, на большомъ суку вѣтка на вѣткѣ.—видишь?

— Ну, что же такое? вижу. есть вѣтка, — вѣрно вѣтеръ ее сюда забросилъ.

— Какой, бачка, вѣтеръ: это не вѣтеръ, а добрый человѣкъ ее посадилъ,—въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дѣло, что или онъ меня обманываетъ, или самъ обманывается; но что же мнѣ дѣлать?—силой мнѣ его не удержать, да и зачѣмъ я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и голоду? Пусть бѣжитъ и спасается, если можетъ спастись,—и говорю ему по-монашески: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвѣчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ утвердился на лыжахъ, заложилъ орстель на плечи, шаркнулъ разъ ногой, шаркнулъ два,—и побѣжалъ. Черезъ минуту его уже и не видно стало, и я остался одинъ-одинёшенекъ среди снѣга, холода и совсѣмъ уже изнурившаго меня мучительнаго голода.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Небольшой зимній сибирскій день я пробродилъ около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумѣется, потихоньку, потому что и силъ у меня не было, да и отъ сильнаго движенія скорѣе устаешь, и тогда еще скорѣе стынешь.

Бродя все вблизи того мѣста, гдѣ меня кинулъ мой дикарь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на которомъ онъ мнѣ указывалъ примѣтную вѣтку: прилежно я ее разсматривалъ и все еще болѣе убѣждался, что это просто вѣтка, заброшенная сюда вѣтромъ съ другого дерева.

— Обманулъ, говорилъ я себѣ, обманулъ онъ меня, да и не поставится ему это въ грѣхъ: зачѣмъ ему было пропадать вмѣстѣ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ разсказывать, какъ тяжело и мучительно дологъ мнѣ казался этотъ куцый день? Я не вѣрилъ ни въ какую возможность спасенія и ждалъ смерти; но гдѣ она? зачѣмъ медлитъ и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь прежде, чѣмъ она меня обласкаетъ и успокоитъ мои мученія?.. Скоро я сталъ замѣчать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зрѣніе: вдругъ всѣ предметы какъ бы сольются и пропадутъ въ какой-то сѣрой мглѣ, но потомъ опять вдругъ и неожиданно разъяснятъ... Кажется, это происходитъ просто отъ усталости, но не знаю, какую роль здѣсь играетъ перемѣна

въ освѣщеніи: чуть освѣщеніе перемѣнится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потомъ опять затуманитъ. На часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавшій эти холмы снѣгъ удивительно чистымъ розовымъ свѣтомъ,—это бываетъ тамъ передъ вечеромъ, послѣ чего солнце сейчасъ же быстро и скрывается, и розовый свѣтъ тогда смѣняется самою дивною синевою. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все засинѣло, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось, — гдѣ рытвинка, гдѣ ножной слѣдъ, или такъ просто палкою въ снѣгъ ткнуто, — вездѣ какъ сизый дымокъ заклубился и черезъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь какъ опрокинутою чашей покрыло и потомъ опять облегчаетъ... сѣреетъ... Съ этою послѣднею перемѣною, какъ исчезъ и сей удивительный голубой свѣтъ и перебѣжала мгновенная тьма, на моихъ усталыхъ глазахъ въ сѣрой мглѣ пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Всѣ предметы начали принимать невѣроятные, огромные размѣры и очертанія: наши салазки торчали какъ корабельный остовъ; заиндивѣлая дохлая собака казалась сіяющимъ бѣлымъ медвѣдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали переходить съ мѣста на мѣсто... И все это такъ живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положеніе, готовъ былъ бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло отъ моихъ наблюденій и, пробудя во мнѣ новый страхъ, оживило съ нимъ вмѣстѣ и инстинктъ самосохраненія. Предъ моими глазами, вдали, въ полутьмѣ, что-то мелькнуло, какъ темная стрѣла, потомъ другая, третья, и вслѣдъ затѣмъ въ воздухѣ раздался протяжный жалобный вой.

Я мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отпущенныя собаки, которыя, вѣроятно, ничего съѣстного не нашли и звѣря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспомнили о своей околѣвшей подругѣ и хотятъ воспользоваться ея трупомъ. Во всякомъ случаѣ, тѣ ли это, или другіе, оголодавшіе ли псы, или волки, но они моему пресвященству спуска не дадутъ, и хотя мнѣ по разуму собственно было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чѣмъ долго томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохраненія взялъ свое, и я съ ловкостью и быстротою, какихъ, при-

знаться сказать, никогда за собою не зналъ и отъ себя не чаялъ, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранствѣ на самый верхъ дерева, какъ векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лѣзть. Передо мною открывалась цѣлая необъятность и снѣга, и темнаго, какъ густая накипь, неба, на которомъ, изъ далекой непроглядной тьмы, зардѣлись красноватыя, безлучныя звѣзды: а пока я окинулъ все это взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка, и опять стонъ, и вотъ опять во тьмѣ мелькнули врозсыпь стрѣлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ и свой собственный пульсъ внутри себя, и свое дыханіе: оно какъ-то шумитъ, какъ сѣно, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкиваетъ въ невыносимо-разрѣженномъ морозномъ воздухѣ, такомъ сухомъ и такомъ холодномъ, что даже мои волосы на бородѣ насквозь промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ воспоминаніи, которому всегда помогаютъ мои съ той поры испорченныя ноги. Внизу, можетъ-быть, было немножко теплѣе, а можетъ-быть, и нѣтъ; но я во всякомъ случаѣ не вѣрилъ, что нашествіе хищниковъ тамъ не повторится, и рѣшилъ до утра не сходить съ дерева. Это было не страшнѣе, чѣмъ закопаться подъ снѣгомъ съ моимъ зловоннымъ товарищемъ, да и, вообще, что уже могло быть страшнѣе всего моего теперешняго положенія? Я только выбралъ поразбросистѣе развѣтвленіе и усѣлся на немъ, какъ въ довольно спокойномъ креслѣ, такъ что если бы даже мнѣ и вздремнулось, то я ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, для большей безопасности, я крѣпко обхватилъ одинъ сукъ руками и завелъ ихъ обѣ поглубже за манжу. Позиція была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидѣлъ, какъ примерзлый старый сычъ, на котораго, вѣроятно, похожъ былъ и съ виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Оріонъ и Плеяды—эти небесные часы, по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ мученій. Я этимъ и занялся: сначала вычислилъ себѣ приблизительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ всякой цѣли, долго-долго глядѣлъ на эти странныя звѣзды, на совершенно черномъ небѣ, пока онѣ стали слабѣть и

изъ золотыхъ сдѣлались мѣдяными и, наконецъ, совсѣмъ потемнѣли и сгасли.

Настало утро, такое же сѣрое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по распоряженію Плеядъ, показали девять. Голодъ все ожесточался и мучилъ меня неимовѣрно: я уже не чувствовалъ ни томящаго запаха яствъ и никакого воспоминанія о вкусѣ пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудокъ сучило и скручивало какъ веревку и причиняло мнѣ мученія невыносимыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съѣстное, я спустился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ на снѣгу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедровая ли и нѣтъ ли въ ней орѣшковъ, но оказалось, просто-на-просто обыкновенная еловая шишка. Я разломилъ ее, досталъ изъ нея зернышко и проглотилъ, но смолистый запахъ былъ такъ противенъ, что и пустой желудокъ не принялъ этого зерна и отъ того боли мои только усилились. Въ это время я замѣтилъ, что около нашихъ брошенныхъ саней въ разныхъ направленіяхъ было множество недавнихъ слѣдовъ и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, былъ на очереди мой трупъ, на который сбѣжатся тѣ же волки и такъ же скоро и хищно его между собою раздѣлятъ. Только когда же это будетъ? Неужели еще сутки? А ну, какъ еще болѣе?—Нѣтъ. Я припомнилъ себѣ одного фанатика-запощеванца, который заморилъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имѣлъ духъ отмѣчать дни своего томленія и насчиталъ ихъ девять... Это ужасно! Но тотъ голодалъ въ теплѣ, а я подвергаюсь всему при жестокомъ холодѣ,—это, конечно, должно дѣлать большую разницу. Силы мои меня совсѣмъ оставили, — я уже не могъ согрѣвать себя движеніемъ и сѣлъ на сани. Даже сознаніе моей участи меня какъ будто покинуло: я чувствовалъ на вѣкахъ моихъ тѣнь смерти и томился только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ меня въ путь невозвратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти изъ этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всѣхъ живущихъ и нимало не сожалѣлъ, что здѣсь, въ этой студеной тьмѣ, я постелю постель мою. Цѣпь мыслей моихъ порвалась, кувшинъ разбился и колесо надъ колодцемъ обрушилось: ни мыслей, ни даже обращенія къ небу въ самыхъ

привычныхъ формахъ. — ничего, нигдѣ и нечѣмъ стало почерпнуть. Я это созналь и вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже извести Тебѣ покаянія, но Ты Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и поручись за меня передъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ умѣ моемъ, и затѣмъ ничего не помню, какъ шелъ этотъ день. Всеконечно, съ твердостію могу уповать, что онъ былъ такой же точно, какъ и тотъ, что̀ минулъ. Казалось мнѣ только, что я въ этотъ день видѣлъ будто бы вдали отъ себя два живыя существа, и это будто были двѣ какія-то птицы: онѣ мнѣ казались ростомъ съ сорокъ и статью похожія на сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ родѣ совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онѣ слетѣли откуда-то съ дерева на снѣгъ, походили и улетѣли. Но, можетъ-быть, мнѣ это только казалось въ моихъ предсмертныхъ галлюцинаціяхъ; однако, казалось это такъ живо, что я слѣдилъ за ихъ полетомъ и видѣлъ, какъ онѣ гдѣ-то вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого мѣста, такъ на немъ и стали, и остолбенѣли. Но что̀ бы вамъ думалось? — вдругъ я начинаю замѣчать въ этомъ направленіи какую-то странную точку, которой, кажется, здѣсь прежде не было. Притомъ же казалось, что она какъ будто движется, — хоть это было такъ незамѣтно, что движеніе ея скорѣй можно было отличать внутреннимъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увѣренъ, что она движется.

Надежда на спасеніе заговорила, и всѣ муки мои не въ силахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснѣе, и яснѣе опредѣлялась на этомъ удивительно нѣжно-розовомъ фонѣ. Миражъ ли это, столь возможный въ семъ пустынномъ мѣстѣ, при такомъ капризномъ освѣщеніи, или это, дѣйствительно, что-то живое спѣшитъ ко мнѣ, но оно во всякомъ случаѣ летитъ прямо на меня, и именно не идетъ, а летитъ: я вижу, какъ *оно* чертитъ, наконецъ, различаю фигуру—вижу у нея ноги,—я вижу, какъ онѣ штрихуютъ одна за другою и... вслѣдъ затѣмъ, снова быстро перехожу отъ радости къ отчаянію. Да; это не миражъ— я его слишкомъ явно вижу, но зато это и не человѣкъ, какъ и не звѣрь. Вообще на землѣ нѣтъ во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное,

фантастическое видѣніе, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, какъ господа спириты говорятъ нынѣ, «матеріализуясь» изъ игривыхъ токовъ морозной атмосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое воображеніе, или, кто что ни говори, а это духъ. Какой? Кто ты? Неужто это мой отецъ Кириакъ спѣшитъ мнѣ навстрѣчу изъ царства мертвыхъ... А можетъ быть мы оба уже *тамъ*?.. неужто я уже и кончилъ переходъ? Какъ хорошо! какъ любопытенъ этотъ духъ, этотъ мой новый согражданинъ въ новой жизни! Опишу его вамъ какъ умѣю: ко мнѣ плыла крылатая, гигантская фигура, которая вся съ головы до пятъ была облечена въ хитонъ серебряной парчи и вся искрилась: на головѣ огромнѣйшій, казалось, чуть ли не въ сажень вышины, уборъ, который горѣлъ, какъ будто весь сплошь усыпанъ былъ брильянтами или точно это цѣльная брильянтовая митра... Все это точно у богато-убраннаго индійскаго идола, и, въ довершеніе сего сходства съ идоломъ и съ фантастическимъ его явленіемъ, изъ-подъ ногъ моего дивнаго гостя брызжутъ искры серебристой пыли, по которой онъ точно несется на легкомъ облакѣ, по меньшей мѣрѣ, какъ сказочный Гермесъ.

И вотъ, пока я его разсматривалъ, онъ, этотъ удивительный духъ, все ближе, ближе, и — вотъ, наконецъ, совсѣмъ близко, и еще моментъ, и онъ, обрызгавъ всего меня снѣжной пылью, воткнулъ передо мною свой волшебный жезлъ и воскликнулъ:

— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ, ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, — мой дикарь! Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибаться: вотъ поэ ногами его тѣ же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣжалъ, за плечами другія; передо мною воткнутъ въ снѣгъ его оргель, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья ляжка, совсѣмъ и съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что онъ убранъ, во что онъ преобразился?

Не дожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промычавъ:

— Лопай, бачка!—самъ сѣлъ на сани и началъ снимать съ своихъ ногъ лыжи.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я припалъ къ окороку и грызъ, и сосалъ сырое мясо, стараясь утолить терзавшій меня голодъ, и въ то же время смотрѣлъ на моего избавителя.

Что это такое было у него на головѣ, которая оставалась все въ томъ же дивномъ блестящемъ, высокомъ уборѣ,— никакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

— Послушай, что это у тебя на головѣ?

— А это, отвѣчаетъ, то, что ты мнѣ денегъ не далъ.

Признаюсь, я не совсѣмъ понялъ, что онъ мнѣ этимъ хотѣлъ сказать, но всматриваюсь въ него внимательнѣе — и открываю, что этотъ его высокій брильянтовый головной уборъ есть не что иное, какъ его же собственные длинные волосы: всѣ ихъ пропушило насквозь снѣжною пылью, и какъ они у него на бѣгу развѣвались, такъ ихъ снопомъ и заморозило.

— А гдѣ же твой треухъ?

— Кинулъ.

— Для чего?

— А что ты мнѣ денегъ не далъ.

— Ну, говорю, я тебѣ, точно, забылъ денегъ дать,—это я дурно сдѣлалъ, но какой же жестокій человѣкъ этотъ хозяинъ, который тебѣ не повѣрилъ и въ такую стыдь съ тебя шапку снялъ.

— Съ меня шапки никто не снималъ.

— А какъ же это было?

— Я ее самъ кинулъ.

И разсказалъ мнѣ, что онъ по примѣткѣ весь день бѣжалъ, юрту нашелъ,—въ юртѣ медвѣдь лежитъ, а хозяевъ дома нѣтъ.

— Ну?

— Думалъ, тебѣ долго ждать, бачка,—ты издохнешь.

— Ну?

— Я медвѣдь рубилъ и лапу взялъ, и назадъ бѣжалъ, а ему шапку клалъ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.

— Да вѣдь тебя этотъ хозяинъ не знаетъ.

— Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.

— Который другой?

— А тотъ Хозяинъ, Который сверху смотритъ.

— Гм! Который сверху смотритъ?..

— Да, бачка, какъ же: вѣдь Онъ, бачка, все видитъ.

— Видитъ, братецъ, видитъ.

— Какъ же, бачка? — Онъ, бачка, не любитъ, кто худо сдѣлалъ.

Разсужденіе весьма близкое къ тому, какое высказалъ св. Сиринъ соблазнявшей его прелестницѣ, которая манила его къ себѣ въ домъ, а онъ приглашалъ ее согрѣшить всенародно на площади: та говоритъ: «тамъ нельзя; тамъ *люди увидятъ*», а онъ говоритъ: «я на людей-то не очень бы посмотрѣлъ, а вотъ какъ бы насъ Богъ не увидалъ? Давай-ка лучше разойдемся».

— Ну, братъ, подумалъ я, однако, и ты отъ царства небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей краткой моей думы кувыркнулся въ снѣгъ.

— Прощай, говоритъ, бачка, ты лошай, а я спать хочу.

И засопѣлъ своимъ могучимъ обычаемъ.

Это уже было темно; надъ нами опять разостлалось черное небо и по немъ, какъ искры по смолѣ, засверкали безлучныя звѣзды.

Я тогда уже немножко препитался, то-есть проглотилъ нѣсколько кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ медвѣжьимъ окорокомъ на рукахъ надъ спящимъ дикаремъ и вопрошалъ себя:

— Что за загадочное странствіе совершаетъ этотъ чистый, высокій духъ въ этомъ неуклюжемъ тѣлѣ и въ этой ужасной пустынѣ? Зачѣмъ онъ воплощенъ здѣсь, а не въ странахъ, благословенныхъ природою? Для чего умъ его такъ скуденъ, что не можетъ открыть ему Творца въ болѣе пространномъ и ясномъ понятіи? Для чего, о Боже, лишенъ онъ возможности благодарить Тебя за просвѣщеніе его свѣтомъ Твоего Евангелія? Для чего въ рукѣ моей нѣтъ средствъ, чтобы возродить его новымъ торжественнымъ рожденіемъ съ усыновленіемъ Тебѣ Христомъ Твоимъ? Должна же быть на все это воля Твоя: если Ты, въ семъ печальномъ его состояніи, вразумляешь его какимъ-то дивнымъ свѣтомъ свыше, то я вѣрю, что сей свѣтъ ума его есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумѣю: что сотворю, да не прогнѣвлю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И въ этомъ раздумьѣ не замѣтилъ я, какъ небо вдругъ

вспыхнуло, загорѣлось и облило насъ волшебнымъ свѣтомъ: все приняло опять огромные, фантастическіе размѣры и мой спящій избавитель представлялся мнѣ очарованнымъ могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Я пригнулся къ нему и сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей поры не видѣлъ, и что̀ я скажу вамъ?— онъ мнѣ показался прекраснѣ. Мнилось мнѣ, что это былъ тотъ, на чьей шеѣ обитаетъ сила; тотъ, чья смертная нога идетъ въ путь, котораго не знаютъ хищныя птицы; тотъ, передъ кѣмъ бѣжитъ ужасъ, сократившій меня до безсилія и уловившій меня, какъ въ петлю, въ мой собственный замыслъ. Скудно слово его, но зато онъ не можетъ утѣшать скорбное сердце движеніемъ губъ, а слово его, это—искра въ движеніи его сердца. Какъ краснорѣчива его добродѣтель и кто рѣшится огорчить его?... Во всякомъ разѣ не я. Нѣтъ, живъ Господь, огорчившій ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадетъ отъ спины моей и рука моя отломится отъ моего локтя, если я подниму ее на сего бѣдняка и на бѣдный родъ его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разномыслилъ съ тобою, и сейчасъ съ тобою не согласенъ, что будто «самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки». Нѣтъ; сей, спасшій жизнь мою, сдѣлалъ это не по чему иному, какъ по добродѣтели, самоотверженному состраданію и благородству; онъ, не зная апостольскаго завѣта Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавалъ душу свою въ благотвореніе». Онъ покинулъ свой треухъ и бѣжалъ сутки въ ледяной шапкѣ, конечно, движимый не однимъ *естественнымъ* чувствомъ состраданія ко мнѣ, а имѣя также religio, — дорожа *воссоединеніемъ* съ тѣмъ Хозяиномъ, «Который сверху смотритъ». Что̀ же я съ нимъ сотворю теперь? возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнѣйшей, я лишенъ возможности дать ему, доколѣ «слова путаютъ смыслъ смертнаго», а дѣлъ, для плѣненія его, показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить, или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не будетъ онъ, какъ Емморъ и Сихемъ, обрѣзавшіеся ради дочерей и скотовъ Іаковлевыхъ! Скотовъ и дочерей вѣрою пріобрѣтающіе — не вѣру, а дочерей и скотовъ только пріобрящутъ и семидалъ отъ рукъ ихъ будетъ Тебѣ яко же и кровь свиная. А гдѣ же мои средства его воспитать, его

просѣтить, когда нѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ не быть въ моихъ рукахъ? Нѣтъ: вѣрно, правъ мой Кириакъ: здѣсь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь,—и благъ мнѣ по мысли пришелъ совѣтъ Аввакума пророка: «аще умедлитъ, потерпи ему, яко идый пріидетъ и не умедлитъ». Ей, гряди, Христосъ, ей, гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную; а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего... пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается, сбросивъ жизнь, какъ лоза—дозрѣвшую ягоду, какъ дикая маслина—цвѣтокъ свой... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва. Авва Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословенъ до вѣка такимъ, какимъ Ты по благости Своей дозволилъ и мнѣ, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нѣтъ больше смятенія въ сердцѣ моемъ: вѣрю, что Ты открылъ ему Себя, сколько ему надо, и онъ знаетъ Тебя, какъ и все Тебя знаетъ:

Largior hic campos aether et lumine vestit
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!

подсказалъ моей памяти старый Виргилій, — и я поклонился у изголовья моего дикаря лицомъ до низу и, ставъ на колѣни, благословилъ его и, покрывъ его мерзлую голову своею полою, спалъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, обнявшись съ пустыннымъ ангеломъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ конецъ? Онъ не мудренѣе начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладилъ подъ меня принесенныя имъ лыжи, вырубилъ мнѣ шестъ, всунулъ въ руки и научилъ, какъ его держать; потомъ подпоясалъ меня веревкою, взялъ ее за конецъ и поволокъ за собою.

Спросите: куда? — Прежде всего за медвѣжатину долгъ платить. Тамъ мы надѣялись взять собакъ и ѣхать далѣе; но поѣхали не туда, куда вначалѣ влекла меня моя неопытная затѣя. Въ дымной юртѣ нашего кредитора ждало меня еще одно поученіе, имѣвшее весьма рѣшительное значеніе на всю мою послѣдующую дѣятельность. Въ томъ

было дѣло, что хозяинъ, которому мой дикарь шапку покинулъ, совсѣмъ не на охоту въ то время ходилъ, когда прибѣгалъ мой избавитель, а онъ выручалъ моего Киріака, котораго обрѣлъ брошеннаго его крещенымъ проводникомъ среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юртѣ, близъ тусклаго вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, и въ какомъ ужасномъ, сердце сжимающемъ, положеніи! Онъ весь обмерзъ; его чѣмъ-то смазали, и онъ еще живъ былъ, но ужасный запахъ, который обдалъ меня при приближеніи къ нему, сказалъ мнѣ, что духъ, стерегшій домъ сей, отходитъ. Я поднялъ покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отдѣлила все мясо его ногъ отъ кости, но онъ еще смотрѣлъ и говорилъ. Узнавъ меня, онъ прошепталъ:

— Здравствуй, владыко!

Въ несказанномъ ужасѣ я глядѣлъ на него и не находилъ словъ.

— Я ждалъ тебя, вотъ ты и пришелъ; ну, слава Богу. Видѣлъ стезю? Какова показалась?.. Ничего,— живъ будешь, опытъ имѣть будешь.

— Прости, говорю, меня, отецъ Киріакъ, что я тебя сюда завелъ.

— Полно, владыко. Благословенъ будь приходъ твой сюда; опытъ получилъ и живи, а меня скорѣй исповѣдуй.

— Хорошо, говорю, сейчасъ; гдѣ же у тебя Святые Дары,—они вѣдь съ тобой были?

— Со мной были, отвѣчаетъ, да нѣтъ ихъ.

— Гдѣ же они?

— Ихъ дикарь съѣлъ.

— Что ты говоришь!

— Да!.. съѣлъ! Ну, что говоритъ,— темный человѣкъ... спутанъ умъ... Не могъ его удержать... говоритъ: «попа встрѣчу,—онъ меня проститъ». Что говорить?.. все спуталъ...

— Неужто же, говорю, онъ и муро съѣлъ!

— Все съѣлъ, и губочку съѣлъ, и дароносицу унесъ, и меня бросилъ... вѣритъ, что «попъ проститъ»... Что говорить?.. спутанъ умъ... простимъ ему это, владыко, — пусть только насъ Христосъ проститъ. Дай слово мнѣ не искать его, бѣднаго, или... если отыщешь его...

— Простить?

— Да; Христа ради прости и... какъ пріѣдешь домой, гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, лу-

кавые, пожалуй, надъ бѣднякомъ-то свою ревность покажутъ. Пожалуйста, не сказывай.

Я далъ слово и, опустясь возлѣ умирающаго на колѣни, сталъ его исповѣдывать; а въ это самое время въ полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила въ свой бубенъ; ей пошли подражать на деревянномъ камертонѣ и еще на какомъ-то непонятномъ инструментѣ, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякаго рода муссикіи, повергались ницъ передъ истуканомъ дейрскаго поля,—и началось дикое торжество.

Это моленіе шло за насъ и за наше избавленіе, когда имъ, можетъ-быть, лучше было бы молиться за свое отъ насъ избавленіе, и я, архіерей, присутствовалъ при этомъ моленіи, а отецъ Кириакъ отдавалъ при немъ свой духъ Богу, и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ Іеремія пророкъ, или договаривался, какъ истинный свинопасъ евангельскій, не словами, а какими-то воздыханіями неизглаголанными.

— Умилосердись,— шепталъ онъ. — Прими меня теперь, какъ одного изъ наемниковъ Твоихъ! Насталъ часъ... возврати мнѣ мой прежній образъ и наслѣдіе... не дай мнѣ быть злымъ дьяволомъ въ адѣ; потопи грѣхи мои въ крови Іисуса, пошли меня къ Нему!.. хочу быть прахомъ у ногъ Его... Изреки: «да будетъ такъ»...

Перевелъ духъ и опять зоветъ:

— О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Іисусе!.. вотъ я бѣгу къ Тебѣ, какъ Никодимъ, ночью: вари ко мнѣ, открой дверь... дай мнѣ слышать Бога, ходящаго и глаголющаго!.. Вотъ... риза Твоя уже въ рукахъ моихъ... сокруши сетно мое... но я не отпущу Тебя... доколѣ не благословишь со мной всѣхъ.

Люблю эту *русскую* молитву, какъ она еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ вылилась у нашего Златоуста, Курила въ Туровѣ, которою онъ и намъ завѣщалъ «не токмо за свои молитися, но и за чужія, и не за единыя христіаны, но и за иновѣрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый старикъ мой, Кириакъ, такъ и молился, — *за всѣхъ* держалъ: «*всѣхъ*, говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Что съ такимъ чудакомъ подѣлаешь?

Съ сими словами потянулся онъ — точно поволокся за Христовою ризою,—и улетѣлъ... Такъ мнѣ и до сихъ поръ

представляется, что онъ все держится, виснитъ и носится за Нимъ, прося: «благослови *всѣхъ, а то — не отстану*». Дерзкій старичокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а Тотъ по добротѣ Своей ему не откажетъ. У насъ вѣдь это все in sancta simplicitate *семейно* со Христомъ дѣлается. Понимаемъ мы Его, или нѣтъ, объ этомъ толкуйте, какъ знаете, но а что мы живемъ съ Нимъ запросто—это-то уже очень, кажется, неоспоримо. А Онъ простоту сильно любитъ...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я схоронилъ Кириака подъ глыбой земли, на берегу замерзшаго ручья, и тутъ же узналъ отъ дикарей гнусную новость, что мой успѣшный зырянинъ крестилъ... стыдно сказать *—съ тощеніемъ*, по-просту—съ водочкой. Стыдомъ это въ моихъ глазахъ все это дѣло покрыло и не захотѣлъ я этого крестителя видѣть и слышать о немъ, а повернулъ назадъ къ городу, съ рѣшимостью сѣсть въ своемъ монастырѣ за книги, безъ коихъ монаху въ праздномысліи—смертная гибель, а въ промежуткахъ времени смирно стричь ставленниковъ, да дьячихъ съ мужьями мирить: но за святое дѣло, которое всвятѣ совершать нельзя кое-какъ, лучше совсѣмъ не трогаться,— не давать безумія Богу».

Такъ я и сдѣлалъ. — и вернулся въ монастырь умудренный опытомъ, что многострадальные миссіонеры мои люди добрые и слава Богу, что они такіе, а не иные.

Теперь я ясно видѣлъ, что добрая слабость простительнѣе ревности не по разуму — въ томъ дѣлѣ, гдѣ нѣтъ средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна,— въ этомъ убѣждала меня дожидавшаяся меня въ монастырѣ бумага, въ коей мнѣ сообщалось «къ свѣдѣнію», что въ Сибири, кромѣ 580 буддійскихъ ламъ, состоящихъ въ штатѣ при тридцати четырехъ кумирняхъ, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? вѣдь я не Канюшкевичъ или не Арсеній Маціевичъ, — я епископъ школы новой и съ кляпомъ во рту въ Ревелѣ сидѣть не хочу, какъ Арсеній сидѣлъ, да отъ этого и проку нѣтъ... Я принялъ извѣстіе объ усиленіи ламъ «къ свѣдѣнію», и только вытребовалъ, какъ могъ поскорѣе, къ себѣ назадъ изъ степей зырянина и, навѣсивъ ему за успѣхи набедренникъ, яко мечъ духовный, оставилъ его въ городѣ при соборѣ ризничимъ и наблюдателемъ за перезолоткою иконостаса; а своихъ лѣнивенькихъ

миссіонеровъ собралъ, да, въ поясъ имъ поклонясь, сказалъ:

— Простите меня, отцы и братія, что вашу доброту не понималъ.

— Богъ, говорятъ, проститъ.

— Ну, молъ, спасибо, что вы милостивы, и будьте отнынѣ вездѣ и всегда паче всего милостивы и Богъ милосердія будетъ на дѣлахъ вашихъ.

И съ тѣхъ поръ во все мое остальное, довольно продолжительное, пребываніе въ Сибири я никогда не смущался, если тихій трудъ моихъ проповѣдниковъ не давалъ столь любимыхъ великосвѣтскими религіозными нетерпѣливцами эффектныхъ результатовъ. Когда не было такихъ эффектовъ, я былъ покоенъ, „что «водоносы по очереди наполняются»: но когда случайно у того или у другого изъ миссіонеровъ являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь вамъ, чувствовалъ себя тревожно... Мнѣ припоминался то мой зырянинъ, то оный гвардейскій креститель Ушаковъ, либо совѣтникъ Ярцевъ, которые были еще благоносѣвшѣе, понеже у нихъ, якоже и во дни Владиміра, «благочестіе со страхомъ бѣ сопряжено», и инородцы у нихъ, еще до пріѣзда миссіонеровъ, уже просили крещенія... Да только что же изъ всей ихъ этой борзости и «благочестія, со страхомъ сопряженнаго», вышло?—Мерзость запустѣнія стала по святымъ мѣстамъ, гдѣ были купели сихъ борзыхъ крестильниковъ и... въ этомъ путалось все — и умъ, и сердце, и понятія людей, и я, худой архіерей, не могъ съ этимъ ничего сдѣлать, да и хорошій ничего не сдѣлаетъ, пока... пока, такъ-сказать, мы всерьезъ станемъ заниматься вѣрою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, въ какомъ положеніи бываемъ мы, русскіе крестители, и не отъ того, чай, что не понимаемъ Христа, а именно отъ того, что мы Его понимаемъ и не хотимъ, чтобы имя Его хулилось во языцѣхъ. И такъ я и жилъ уже, не лютуя съ прежнею прытью, а терпѣливо и даже, можетъ-быть, лѣностно влача кресты, отъ Христа и не отъ Христа на меня ниспадавшіе, изъ коихъ замѣчательнѣйшимъ былъ тотъ, что я, ревностно принявшись за изученіе буддизма, самъ ученіемъ моего зырянина прослылъ за потаеннаго буддиста... Такъ это при мнѣ и осталось, хотя я, впрочемъ, ревность своего зырянина не стѣснялъ и предоставлялъ ему орудовать испытанными, по своей вѣрности, пріемами князя

Андрея Боголюбскаго, о коихъ выкликалъ надъ его гробомъ Кузьма домочадецъ: «придетъ, дескать, бывало, язычникъ, ты велишь его весть въ ризницу, — *пусть смотритъ на наше истинное христіанство*». И я зырянину предоставилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ризницу и все собранное тамъ отъ нашего съ нимъ «истиннаго христіанства» со тщаніемъ показывать... И было все это хорошо и довольно дѣйственно; наше «истинное христіанство» одобряли, но только, разумѣется, можетъ-быть, моему зырянину казалось скучно по два да по три человѣка крестить, да и впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться съ самодовольнымъ невѣжествомъ, терпѣвшимъ вѣру только какъ политическое средство; зато теперь, можетъ-быть, еще скучнѣе бороться съ равнодушіемъ тѣхъ, которые замѣсто того, чтобы другимъ свѣтить, по удачному выраженію того же Маціевича, «*сами насилу въруютъ...*» А вы, вѣдь, современные умные люди, все думаете: «эхъ, плохи наши епархіальные архіереи! Что они дѣлаютъ? Ничего они, наши архіереи, не дѣлаютъ». Не хочу за всѣхъ заступаться: многіе изъ насъ, дѣйствительно, очень немощны стали: подъ крестами спотыкаются, падаютъ и уже не то, что кто-нибудь — заправскій воротила, а даже иной рора mitratus для нихъ въ своемъ родѣ владыкой становится, и все это, разумѣется, изъ того, «что ми хощете дати», но, а спросилъ бы я васъ: что ихъ до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархіальные архіереи, обращены въ администраторовъ и *ничего* живого не могутъ теперь дѣлать? И знаете: вы, можетъ-быть, большою благодарностію имъ обязаны, что они въ эту пору ничего не дѣлаютъ. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнемъ такія бремена неудобоносимыя, что, Богъ вѣсть, разсѣлся ли бы хребетъ вдребезги, или разлетѣлся бы ремень пополамъ; но мы вѣдь *консерваторы:* бережемъ, какъ можемъ, «свободу, ею же Христосъ насъ свободи», отъ таковыхъ «содѣйствій»... Вотъ, господа, почему мы слабо дѣйствуемъ и содѣйствуемъ. Не колите же намъ глазъ бывшими іерархами, какъ св. Гурій и другіе. Св. Гурій умѣлъ просвѣщать — это правда; да вѣдь онъ для того и ѣхалъ-то въ дикій край хорошо оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ «привлекать народъ ласкою, кормами, *заступленіемъ* передъ

властями, *печалованіемъ* за вины передъ воеводами и судьями»; «*онъ обязанъ былъ*» участвовать съ правителями въ совѣтѣ; а вашъ сегодняшній архіерей даже съ своимъ сосѣдомъ архіереемъ не воленъ о дѣлахъ посовѣщаться: ему словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому думать, а онъ обязанъ только все принять «*къ свѣдѣнію*». Чего же вы отъ него хотите, если ему нынѣ самому за себя уже негдѣ стало печаловаться?.. Эхъ, твори, Господи, волю Свою... Что можетъ еще дѣлаться, то какъ-то пока само дѣлается, и я это видѣлъ подъ конецъ моего пастырства въ Сибири. Пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ одинъ миссіонеръ и говоритъ, что онъ напалъ на кочевье въ томъ мѣстѣ, гдѣ я зарылъ моего Кириака, и тамъ у ручья цѣлую толпу окрестилъ въ «Кириакова Бога», какъ крестился нѣкогда человѣкъ во имя «Бога Іустинова». Добрый народъ у костей добраго старца возлюбилъ и понялъ Бога, сотворившаго сего добряка, и самъ захотѣлъ служить Богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велѣлъ Кириаку такой здоровый дубовый крестъ поставить, что отъ него не отрекся бы и галицкій князь Владимірко, вмѣнявшій ни во что цѣлованіе креста малаго: воздвигли мы Кириаку крестъ вдвое больше всего зырянина. — и это было самое послѣднее мое распоряженіе по сибирской паствѣ.

Не знаю, кто этотъ крестъ срубитъ, или уже до сихъ поръ и срубилъ его: буддійскіе ли ламы, или русскіе чиновники, — да, впрочемъ, это все равно...

Вотъ вамъ разсказъ мой и конченъ. Судите всѣхъ насъ, въ чемъ видите, — оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой Кириакъ понималъ Христа навѣрно не хуже тѣхъ нашихъ заѣзжихъ проповѣдниковъ, которые брящаютъ, какъ кимвалъ звенящій, въ вашихъ гостиныхъ и вашихъ зимнихъ садахъ. Тамъ имъ и присутствовать, среди женъ Лотовыхъ, изъ коихъ каждая, какихъ бы словесъ ни наслушалась, въ Сигоръ не уйдетъ, а, пофинтивъ передъ Богомъ, доколѣ у насъ очень скучненько живется, при малѣйшемъ измѣненіи въ жизни, опять къ своему Содому обернется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ и будетъ заключаться весь успѣхъ этой салонной христовщины. Что намъ до этихъ чудодѣевъ? Они хотятъ не по низу идти, а по верху летать, но, имѣя, какъ прузи, крыльца малыя, а

чревища великія, далеко не залетятъ и не прольютъ ни свѣта вѣры, ни услады утѣшенія въ туманы нашей родины, гдѣ въ дебрь изъ дебри ходитъ *нашъ* Христосъ — благій и добрый и, главное, до того терпѣливый, что даже всякаго самаго плохенькаго изъ слугъ своихъ Онъ научилъ съ покорностью смотрѣть, какъ разоряютъ Его дѣло тѣ, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпѣлися, потому что намъ уже это не первый снѣгъ на головы. Было и то, что нашъ «*Камень вѣры*» прятали, а «*Молотъ*» на него нѣмецкаго издѣлія всѣмъ въ руки совали, и стричь-то, и брить-то насъ хотѣли, и въ аббатиковъ передѣлать желали. Одинъ благодѣтель, Голицынъ, намъ свое юродское богословіе указывалъ проповѣдывать; другой, Протасовъ, намъ своимъ пальцемъ подъ самымъ носомъ грозилъ; а третій, Чебышевъ, уже всѣхъ превзошелъ, и на гостиномъ дворѣ, какъ и въ синодѣ, открыто «гнилыя слова» изрыгалъ, увѣряя всѣхъ, что «Бога нѣтъ и говорить о Немъ глупо»... А кого еще впередъ срѣтать будемъ и что намъ тотъ или другой новый пѣтухъ запоетъ, про то и гадать нельзя. Одно утѣшеніе, что всѣ они, эти радѣтели Церкви русской, ничего ей не сдѣлаютъ, потому что не равна ихъ борьба: Церковь неразорима, какъ зданіе апостольское, а въ сихъ пѣвняхъ духъ пройдетъ и не познаютъ они мѣста своего. Но вотъ что, господа, мнѣ кажется крайне безтактно, — это то, что иные изъ этихъ, какъ ихъ нынѣ стали звать, лица высокопоставленныя, или широкоразставленныя, нашей скромности не замѣчаютъ и ея не цѣнятъ. Это, поистинѣ скажу, неблагодарно: имъ бы не резонъ нарекать на насъ, что мы терпѣливы да смирны... Будь мы понетерпѣливѣе, такъ Богъ вѣсть, не стали бы сожалѣть объ этомъ очень многіе, и больше всѣхъ тѣ, иже въ трудѣхъ не суть и съ человѣки ранъ не пріемлютъ, а, обложивъ тукомъ свои лядвіи, праздно умствуютъ, во что бы имъ начать вѣрить, чтобы было только о чемъ-нибудь умствовать. Поцѣните же вы, господа, хоть святую скромность православія и поймите, что вѣрно оно духъ Христовъ содержитъ, если терпитъ *все*, что Богу терпѣть угодно. Право, одно его смиреніе похвалы стоитъ; а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить.

Мы всѣ безъ уговора невольно отвѣчали:

— Аминь.

Оглавленіе

VII ТОМА.

Обойденные. (Романъ).

	стр.
Часть третья	3
На краю свѣта	101

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

КНИГА ПЕРВАЯ.
ВЪ ПРОВИНЦІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тополь да березка.

Въ трактовомъ селѣ Отрадѣ, на постояломъ дворѣ, огороженномъ со всѣхъ сторонъ покрытыми соломою сараями, было еще совсѣмъ темно.

Въ этой темнотѣ никакъ нельзя было отличить стоящаго здѣсь господскаго тарантаса отъ окружающихъ его телѣгъ тяжелаго трактирнаго обоза. А около тарантаса ужъ ворочается какое-то существо, при этомъ что-то бурчитъ себѣ подъ носъ и о чемъ-то вздыхаетъ. Существо это кряхтитъ потому, что оно уже старо и что оно не въ силахъ нынче приподнять на дугу укладистый казанскій тарантасъ съ тою же молодецкою удалью, съ которою оно поднимало его двадцать лѣтъ назадъ, увозя съ своимъ бариномъ сосѣднюю барышню. Повертѣвшись у тарантаса, существо подошло къ окошечку постоялой горницы и слегка постучалось въ раму. На стукъ едва слышно отозвался старческій голосъ, а вслѣдъ за тѣмъ нижняя половина маленькаго окошечка приподнялась и въ ней показалась маленькая, сѣдая голова съ сбившеюся на сторону повязкой.

— Что, Никитушка?—спросила старушка.

— Пора, Марина Абрамовна.

— Пора?

Да холодкомъ-то полегче отъѣдемъ.

— Ну, пора такъ пора.

— Буди барышень-то. Я ужъ подмазалъ, закладать стану.

Никитушка опять пошелъ къ тарантасу, разобралъ лежавшій на козлахъ пукъ вожжей и исчезъ подъ темнымъ сараемъ, гдѣ пофыркивали отдохнувшія лошади.

Черезъ полчаса тарантасъ, запряженный тройкою рослыхъ барскихъ лошадей, стоялъ у утлаго крылечка. Въ горницѣ было попрежнему темно и на крыльцѣ никто не показывался. Никитушка нерѣдко позѣвывалъ, покрещивалъ ротъ и съ привычною кучерскою терпѣливостью смотрѣлъ на троечниковъ, засуетившихся около своихъ возовъ. Наконецъ, на высокомъ порогѣ двери показалась стройная дѣвушка, покрытая большимъ шейнымъ платкомъ, который плотно охватывалъ ея молодую головку, перекрещивался на свѣжей груди и крѣпкимъ узломъ былъ завязанъ сзади. Въ рукахъ у дѣвушки былъ дорожный мѣшокъ и двѣ подушки въ ситцевыхъ наволочкахъ.

— Здравствуй, Никита,—привѣтливо сказала дѣвушка, пронося въ дверь свою ношу.

— Здравствуйте, барышня, — отвѣчалъ сѣдой Никитушка.— Что это вы сами-то таскаете?

— Да такъ, это вѣдь легкое.

— Дайте, матушка, я уложу.

И Никитушка, соскочивъ съ козелъ, принялъ изъ рукъ барышни дорожный мѣшокъ и подушки.

— Какое утро хорошее!—проговорила дѣвушка, глядя на покрывшееся блѣднымъ утреннимъ свѣтомъ небо и загораживая ручкою зѣвающій ротикъ.

— День, матушка Евгенія Петровна, жаркій будетъ! Оводье проклятое доймета совсѣмъ.

— То-то ты насъ и поднялъ такъ рано.

— Да какъ же, матушка! Разъ, что жаръ, а другое дѣло послѣдняя станція до губерни-то. Близко, близко, а вѣдь сорокъ верстъ еще. Спознишься выѣхать, будетъ ни два, ни полтора. Завтра, вонъ, люди говорятъ, Петровъ день; добрые люди къ вечернямъ пойдутъ; Агніи Николаевнѣ и сустрѣть васъ некогда будетъ.

А пока у Никитушки шелъ этотъ разговоръ съ Евгеніей Петровной, старуха Абрамовна, разсчитавшись съ заспаннымъ дворникомъ за самоваръ, горницу, овесъ, да сѣно и заткнувъ за пазуху своего капота замшевый мѣшочекъ съ деньгами, будила другую дѣвушку, которая не оказывала

никакого вниманія къ словамъ старухи и продолжала спать сладкимъ сномъ молодости. Управившись съ собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потомъ одну за другою вытащила изъ-подъ головы спящей обѣ подушки и понесла ихъ къ тарантасу.

— Гдѣ-жъ Лиза, няня?—спросила ее Евгенія Петровна, оставававшаяся все это время на крылечкѣ.

— Гдѣ-жъ, милая? Спитъ на голой лавкѣ.

— Не встала еще?—спросила съ удивленіемъ дѣвушка.

— Да вѣдь какъ всегда: не разбудишь ее.—Побуди поди, красавица моя.—добавила старуха, размѣщая по тарантасу подушки и узелки съ узелочками.

Красавица ушла съ крылечка въ горницу, а вслѣдъ за нею черезъ нѣсколько минутъ туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантасъ былъ совсѣмъ готовъ: только сѣсть да ѣхать. Солнышко выглянуло своимъ краснымъ глазомъ: извозчики длинною веренницею потянулись со двора. Никитушка зѣвнулъ и какъ-то невольно крякнулъ.

— Ну, что это, сударыня, глупить-то! Падаетъ какъ пьяная,- говорила старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое семнадцатилѣтнее дитя, которое никакъ не могло разнять слипающихся глазокъ и шло, опираясь на старуху и на подругу.

— Носи ее, какъ ребеночка малаго.—говорила старуха, закрывая упавшую въ тарантасъ дѣвушку, сѣла сама впереди противъ барышень подъ фордекомъ и крикнула:—«съ Богомъ, Никитушка».

Тарантасъ, выѣхавъ со двора, покатился по ровной дорогѣ, обросшей старыми высокими ракитами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Кто ѣдетъ въ тарантасѣ.

Мелодическое погромыхиванье въ тонъ подобранныхъ бубенчиковъ и тихая качка тарантаса, потряхивающагося на гибкихъ, пружинистыхъ дрогахъ, въ союзѣ съ ласкающимъ вѣтеркомъ ранняго утра, навели сонъ и дрему на всѣхъ ѣдущихъ въ тарантасѣ. То густыя потемки, то сѣрый полумракъ ранняго утра не позволяли намъ разсмотрѣть этого общества, и мы сдѣлаемъ это теперь, когда единственный неспящій членъ его, кучеръ Никитушка, глядя

на лошадей, не можетъ замѣтить нашего присутствія въ тарантасѣ.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою въ мягкую пуховую подушку, спитъ Лизавета Егоровна Бахарева. Ей семнадцать лѣтъ, она очень стройна, но не высока ростомъ. У ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющіеся у лба, какъ часто бываетъ у молодыхъ француженокъ. Овалъ ея лица нѣсколько круглъ, щечки дышатъ здоровымъ румянцемъ, сильно пробивающимся сквозь нѣсколько смуглый цвѣтъ ея кожи. На вискахъ видны тоненькія голубыя жилки, бьющіяся молодою кровью. Глазъ ея теперь нельзя видѣть, потому что они закрыты длинными рѣсницами, но въ институтѣ, изъ котораго она возвращается къ домашнимъ ларамъ, всегда говорили, что ни у кого нѣтъ такихъ прелестныхъ глазъ, какъ у Лизы Бахаревой. Все ея личико, съ нѣсколько вздернутымъ, такъ сказать, курносымъ, задорнымъ носикомъ, дышитъ умомъ, подвижностью и энергіей, которой читатель могъ не заподозрить въ ней, глядя, какъ она поднималась съ лавки постоялаго двора.

Другую нашу героиню мы уже видѣли на крылечкѣ. Читатель, конечно, догадался, что эти двѣ дѣвушки—героини моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся въ старческой дремѣ Абрамовну, Евгенія Петровна тоже завела глазки и тихо уснула подъ усыпляющіе звуки бубенцовъ. Онѣ ровесницы съ Лизой Бахаревой, вмѣстѣ онѣ поступили въ одинъ институтъ, вмѣстѣ окончили курсъ и вмѣстѣ спѣшатъ на безсмѣнныхъ лошадяхъ, каждая подъ свои родныя липы. На взглядъ Евгенія Петровна кажется нѣсколько постарше Бахаревой, но это только такъ кажется. На самомъ дѣлѣ ей тоже восемнадцатый годъ, что и Лизѣ. Марина Абрамовна недаромъ назвала Евгенію Петровну красавицей. Она, дѣйствительно, хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на полотнѣ извѣстную дочь, кормящую грудью осужденнаго на смерть отца, то онъ не нашелъ бы лучшей натурщицы, какъ Евгенія Петровна Гловацкая. Станъ высокій, стройный и роскошный, античная грудь, античныя плечи, прелестная ручка, волосы черные, черные какъ вороново крыло, и кроткіе, умные, голубые глаза, которые такъ и смотрѣли въ душу, такъ и западали въ сердце, говоря, что мы на

все смотримъ и все видимъ, мы не боимся страстей, но отъ дерзкаго взора они въ насъ не вспыхнутъ пожаромъ. Вообще въ ея лицѣ много спокойной рѣшимости и силы, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ней много и той женственности, которая прежде всего ищетъ раздѣла, ласки и сочувствія. Теперь она спитъ, обнявъ Лизу, и голова ея, скатившись съ подушки, лежитъ на плечикѣ подруги, которая и передъ нею кажется существомъ ребенкомъ.

Нянѣ, Маринѣ Абрамовнѣ, пятьдесятъ лѣтъ. Она московская солдатка, давно близкая слуга семьи Бахаревыхъ, съ которою не разлучается уже болѣе двадцати лѣтъ. О ней говорятъ, что она съ душкомъ, но женщина умная и честная.

Кучеръ Никитушка, лѣтъ пять тому назадъ, прожилъ полстолѣтія. Когда ему было тридцать лѣтъ, онъ участвовалъ съ Егоромъ Бахаревымъ въ похищеніи у одного сосѣдняго помѣщика дочери Ольги Сергѣевны, съ которою потомъ его баринъ сочетался бракомъ въ своей полковой церкви, и навсегда забылъ услугу, оказанную ему при этомъ случаѣ Никитушкою. Никитушка ходилъ съ барином и барынею по походамъ, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги и няньчить барышню Лизавету Егоровну, которую онъ теперь везетъ домой послѣ долголѣтняго отсутствія. Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, ни дѣтей, ни кола, ни двора, и онъ самъ о себѣ говорилъ, что онъ человѣкъ походный. Цѣлый вѣкъ онъ изжилъ таскаючись и только лѣтъ съ восемь пріютился осѣдло, примостивъ себѣ кроватку въ одномъ порожнемъ стойлѣ господской конюшни. Тутъ онъ спалъ лѣто и зиму съ старой собакой, Розкой, которую щенкомъ укралъ шутки ради у одного венгерскаго пана въ 1849 году. На барина своего, отставного полковника Егора Николаевича Бахарева, онъ смотрѣлъ глазами солдата прошлаго времени, неизвѣстно за что считалъ его своимъ благодѣтелемъ и отцомъ-командиромъ, разумѣя, что повиноваться ему не только за страхъ, но и за совѣсть самъ Богъ повелѣваетъ.

Кругло говоря, и Никитушка, и Марина Абрамовна были отживающіе типы той старой русской прислуги, которая рабски-снисходительно относилась къ своимъ господамъ и гордилась своею имъ преданностью. И тотъ, и другая сочли бы высочайшимъ преступленіемъ, достойнымъ, если не

смертной казни, то, по крайней мѣрѣ, церковной анаѳемы, если бы они упустили какой-нибудь интересъ дома Бахаревыхъ, или дома смотрителя уѣзднаго училища, Гловацкаго. Дружба старика Бахарева со старикомъ Гловацкимъ, у котораго Бахаревъ нанималъ постоянную квартиру, необходимую ему по званію безсмѣннаго уѣзднаго предводителя дворянства, внушала имъ священное почтеніе и къ старику Гловацкому, и къ его Женичкѣ, подругѣ и пріятельницѣ Лизы.

Теперь тарантасъ нашъ путешествуетъ отъ Москвы уже шестой день и ему остается проѣхать еще верстъ около ста до уѣзднаго города, въ которомъ растутъ родныя липы нашихъ барышень. Но на дорогѣ у нихъ уже близехонько есть перепутье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пріютъ безмятежный.

Спокойное движеніе тарантаса по мягкой грунтовой дорогѣ, со въѣзда въ московскія ворота губернскаго города, вдругъ замѣнилось несноснымъ подкидываніемъ экипажа по широко разошедшимся, неровнымъ плитамъ безобразнѣйшей мостовой и разбудило разомъ всѣхъ трехъ женщинъ. На дворѣ былъ одиннадцатый часъ утра.

— Городъ? — спросила, проворно вскочивъ, Лиза Бахарева.

— Городъ, матушка, городъ.—отвѣчала старуха.

— Городъ! Женни, городъ, пріѣхали, — щебетала Лизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Гловацкую.

— Тоже мостовою зовется,—замѣтила Лиза.

— И, матушка, все лучше болота, что̀ у насъ-то въ городѣ,—проговорила няня.

— Да у насъ, няня, развѣ городъ?

— А что жъ у насъ такое, красавица?

— Чортъ знаетъ что!

— Ну, ты ужъ хоть у тетеньки-то этого своего чернаго-то не поминай! Пріучили тебя экую гадость вспоминать!

Дѣвушки засмѣялись, и Гловацкая, вставши, стала приводить себя въ порядокъ.

Между тѣмъ, тарантасъ, прыгая по каменнымъ волнамъ губернской мостовой, проѣхалъ московскую улицу, курскую, кромскую площадь, затѣмъ стрѣлецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и черезъ полверсты отъ курской заставы остановился у стѣнъ дѣвичьяго монастыря.

Монастырь стоялъ за городомъ на совершенно ровномъ, какъ скатерть, зеленомъ выгонѣ. Онъ былъ обнесенъ со всѣхъ сторонъ красною кирпичною стѣною, на которой по угламъ были выстроены четыре такія же красныя кирпичныя башенки. Кругомъ никакого жилища. Только въ одной сторонѣ двѣ вѣтряныя мельницы лѣниво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописнаго не было въ положеніи этого подгороднаго монастыря: какъ-то потерянно смотрѣлъ онъ своими красными башенками, на которыя не было сдѣлано даже и всходовъ. Ничего-таки, ровно ничего тамъ не было располагающаго ни къ мечтѣ, ни къ самоуглубленію. Это не то, что пустынная обитель, гдѣ есть рядъ келій, темный проходъ, часовня у святыхъ воротъ, съ чудотворною иконою, и возлѣ ключъ воды студеной, — это было скучное, сухое мѣсто.

Въ двухъ стѣнахъ монастыря были сдѣланы ворота, изъ которыхъ одни были постоянно заперты, а у другихъ стояла часовенка. Въ этой часовенкѣ всегда сидѣла монашка, вязавшая чулокъ и звонившая колокольчикомъ, придѣланнымъ къ кошельку на длинной ручкѣ, когда мимо часовенки брелъ какой-нибудь прохожій. Возлѣ часовни, въ самыхъ темныхъ воротахъ постоянно сидѣлъ на скамеечкѣ семидесятилѣтній солдатъ, у котораго еще, впрочемъ, осталось во рту три зуба. Онъ тоже обыкновенно вязалъ шерстяной чулокъ, взапуски съ монашкой, сидѣвшей въ часовнѣ. Каждый вечеръ они мѣрялись, кто больше навязалъ, и монашка говорила: «я, Арефьичъ, сегодня больше твоего связала», или Арефьичъ объявлялъ: «сегодня я, мать, больше тебя связъ».

Завидя подъѣзжавшій тарантасъ, Арефьичъ вскинулъ своими старческими глазами и опять въ его рукахъ запрыгали чулочные прутья; но когда лошадиныя головы дерзостно просунулись въ самыя ворота, старикъ громко спросилъ:

— Кого надо?

— Своихъ, своихъ, — отвѣчалъ, не обращая большого вниманія на этотъ окликъ, Никитушка.

— Кого своихъ? — переспросилъ Арефьичъ и, отбросивъ на скамейку чулокъ, схватилъ за поводъ лѣвую пристяжную.

Монашка изъ часовни выскочила и, позванивая колокольчикомъ, съ недоумѣніемъ смотрѣла на происходившую сцену. Изъ экипажа послышался веселый хохотъ.

— Что ты! лѣшій! аль тебѣ высадило?—кричалъ съ козелъ Никитушка на остановившагося въ рѣшительной позѣ привратника.

— Да, такъ, на то я сторожъ... на то здѣсь поставленъ...— шамшилъ беззубый Арефьичъ, и глаза его разгорались тѣмъ особеннымъ огнемъ, который замѣчается у солдатъ, входящихъ въ дикое озлобленіе при видѣ гордаго, но безсильнаго врага.

— Чего, чортъ слѣпой, не пустишь-то?

— Не пущу,— задыхаясь, но рѣшительно отвѣтилъ опять Арефьичъ.—Позови кого тебѣ надо къ воротамъ, а не ѣзди.

— А, крупа поганая, что ты, не видишь?..

— Да чьи такія вы будете? Изъ какихъ мѣстовъ-то? — пропищала часовенная монашка, просовывая въ тарантасъ кошелекъ съ звонкомъ и свою голову.

— Да Бахаревскія, Бахаревскія, что-й-то вы словно не видите, я барышень къ тётенькѣ изъ Москвы везу, а вы не пускаете. — Стой, Никитушка, тутъ, я сейчасъ сама къ Аглаѣ Николаевнѣ доступлю.—Старуха стала спускать ноги изъ тарантаса и, почуявъ землю, заколтыхала къ кельямъ. Никитушка остановился, монастырскій сторожъ не выпускалъ изъ руки поводьевъ пристяжного коня, а монашка опять всунулась въ тарантасъ.

— Изъ Москвы ѣдете-то?—спросила она барышень.

— Женни, тебя спрашиваютъ,—сказала Лиза и, продолжая лѣниться, смотрѣла на тиковый потолокъ фордека.

Гловацкая посмотрѣла на Лизу и вѣжливо отвѣтила монахинѣ:

— Изъ Москвы.

— Въ ученьѣ были?

— Да, въ институтѣ.

Монахиня помолчала, а черезъ нѣсколько минутъ опять спросила:

— А теперь къ кому же ѣдете?

— Домой, къ родителямъ.—отвѣчала Женни.

— Сродственниковъ имѣете?

— Да.

— Зачѣмъ это у васъ въ ворота не пускаютъ? — повернувшись къ говорившимъ, спросила Лиза.

— Какъ, матушка?

— Не пускаютъ зачѣмъ? кого боятся? кого караулятъ?

— Н... ну. такое распоряженіе отъ мать-игумены.

По монастырскому двору рысью бѣжала высокая, весноватая дѣвушка, въ черномъ коленкоровомъ платьѣ, съ сбившимся съ головы чернымъ шерстянымъ платкомъ.

— Пусти! пусти! Что еще за глупости такія. выдумалъ не пущать!—кричала она Арефьичу.

— Я на то здѣсь поставленъ... а велятъ, я и пущу, — отвѣтилъ солдатъ и отошелъ въ сторону.

Рыжая. весноватая дѣвушка мигомъ вспрыгнула въ тарантасъ и быстро поцѣловала руки обѣихъ барышень, прежде чѣмъ тѣ успѣли ихъ спрятать. Тарантасъ поѣхалъ.

— А тётенька-то какъ обрадовались: на крыльцо ужъ вышли встрѣчать, ожидаютъ васъ. — У насъ завтра престолъ, владыко будутъ сами служить: закуска будетъ и мірскіе изъ города будутъ, — трещала дѣвушка скороговоркою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мать Агнія.

На высокомъ. чистенькомъ крыльцѣ небольшого. но очень чистаго деревяннаго домика, окруженнаго со всѣхъ сторонъ акаціею. сиренью. пестрыми клумбами однолѣтнихъ цвѣтовъ и не менѣе пестрою деревянною рѣшеткою. стояли четыре женщины и двѣ молоденькія дѣвочки. Три изъ этихъ женщинъ были монахини. а четвертая наша знакомая, Марина Абрамовна. Впереди. на самой нижней ступенькѣ чистенькаго крылечка рисовалась высокая стройная фигура въ черной шелковой рясѣ и бархатной шапочкѣ съ креповыми оборками и длиннымъ креповымъ вуалемъ. Это была игуменья и настоятельница монастыря. Агнія Николаевна. родная сестра Егора Николаевича Бахарева и. слѣдовательно, по немъ родная тетка Лизы. Ей было лѣтъ сорокъ пять. но на видъ казалось не болѣе сорока. Въ ея большихъ черныхъ глазахъ виднѣлась смѣлая душа, гордая своею силою и своимъ прошлымъ страданіемъ, отпечатнымъ стальнымъ штемпелемъ времени на пергаментномъ лбу игумены. Когда матери Агніи было восемнадцать лѣтъ, она яркою звѣздою взошла на аристократическій небосклонъ такъ-называемаго свѣта. Первый ея выѣздъ въ качествѣ взрослой дѣвицы былъ на великолѣпный балъ. данный дворянствомъ покойному императору Александру Первому, за

полгода до его кончины. Всѣ глаза на этомъ балѣ были устремлены на ослѣпительную красавицу Бахареву: императоръ прошелъ съ нею полонезъ, наговорилъ любезностей ея старушкѣ-матери, не умѣвшей ничего отвѣтить государю отъ робости, и на другой день прислалъ молодой красавицѣ великолѣпный букетъ въ еще болѣе великолѣпномъ порт-букетѣ. Съ тѣхъ поръ нынѣшняя мать Агнія заняла первое мѣсто въ своемъ свѣтѣ. Три года продолжалось ея свѣтское теченіе, два года за нею ухаживали, искали ея вниманія и ея руки, а на третій она, черезъ пятыя руки, получила изъ Петербурга маленькую записочку отъ стройнаго гвардейскаго офицера, привозившаго ей два года назадъ букетъ отъ покойнаго императора. Въ этой записочкѣ было написано только слѣдующее: «Судьба моя рѣшена самымъ печальнымъ образомъ. Не жди меня и обо мнѣ не справляйся: это только можетъ навлечь на тебя большія непріятности. Слѣдовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы мои страданія. Возвращаю тебѣ твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько можешь и какъ можешь. Блаженства, которое я ощущалъ два года, зная, что ты любишь меня болѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, достанетъ мнѣ на весь остатокъ моей жизни, и въ холодныхъ норахъ ужасной страны моего изгнанія я не забуду ни твоего чистаго взора, ни твоего прощальнаго поцѣлуя.

Твой до гроба
Князь А. Т.»

Анна Николаевна Бахарева въ этомъ случаѣ поступила такъ, какъ поступали многія героини писанныхъ и неписанныхъ романовъ ея вѣка. Она томилась, рвалась, выплакала всѣ глаза, отстояла колѣни, молясь теплой Заступницѣ міра холоднаго, просила ее спасти его и дать ей силы совладать съ страданіемъ вѣчной разлуки, и черезъ два мѣсяца стала навѣщать старую знакомую своей матери, инокиню Серафиму, черезъ полгода совсѣмъ переселилась къ ней, а еще черезъ полгода, несмотря ни на просьбы и заклинанія семейства, ни на угрозы брата похитить ее изъ монастыря силою, сдѣлалась сестрою Агніею. Съ лѣтами все это обошлось: старики, примирившись съ молодой монахиней, примерли; братъ, надъ которымъ она имѣла сильный умственный перевѣсъ, возвратясь изъ своихъ по-

ходовъ, очень подружился съ нею: и вотъ сестра Агнія уже восьмой годъ смѣнила умершую игуменью Серафиму и блюдетъ суровый уставъ пріюта неумѣвшихъ найти въ жизни ничего, кромѣ горя и страданія. Мать Агнію всѣ уважаютъ за ея умъ и за ея безупречное поведеніе по монастырской программѣ. У нея бываетъ почти весь городъ, и она каждаго встрѣчаетъ безъ всякаго лицезрѣнія, съ тѣмъ же спокойнымъ достоинствомъ, съ тою же сдержанностью, съ которою она теперь смотритъ на медленно подъѣзжающій къ ней экипажъ съ двумя милыми ей дѣвушками.

Съ боку матери Агніи стоитъ въ почтительной позѣ Марина Абрамовна; сзади ихъ, одною ступенькою выше, безотвѣтное существо, мать Манефа, другъ и сожительница игумены, и мать казначея, обѣ уже пожилыя женщины. Наверху же крыльца, прислонясь къ лавочкѣ, стояли двѣ десятилѣтнія дѣвочки въ черныхъ шерстяныхъ рясахъ и въ остроконечныхъ бархатныхъ шапочкахъ. Обѣ дѣвочки держали въ рукахъ чулки съ вязальными спицами.

— Какой глупый человѣкъ!—проговорила разбитымъ голосомъ мать Манефа, глядя на приближающійся тарантасъ.

— Кто это у тебя глупый человѣкъ?—спросила, не оборачиваясь, игуменья.

— Да Арефычъ.

— Чѣмъ онъ такъ глупъ сталъ?

— Да какъ же не пускать.

— Ничуть это не выражаетъ его глупости. Старикъ свое дѣло дѣлаетъ. Ему такъ приказано, онъ такъ и поступаетъ. Исправный слуга, и только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантасъ остановился у крыльца передъ кельею матери Агніи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Старое съ новымъ.

— Тетя! это вы, моя милая? — крикнула, выпрыгивая изъ тарантаса, Лиза Бахарева.

— Я, мой дружочекъ, я, — отвѣчала игуменья, протянувъ къ племянницѣ руки.

Обѣ обнялись и заплакали.

— Ну, полно, полно плакать, — говорила мать Агнія. — Хоть это и хорошія слезы, радостныя, а все же полно. Дай

мнѣ обнять Гешу. Поди ко мнѣ, дитя мое милое!—отнеслась она къ Гловацкой.

Съ этими словами старуха обняла Женни, стоявшую возлѣ Лизы, нѣсколько разъ поцѣловала ее, и у нея опять набѣжали слезы.

— Славная какая!—произнесла она, отодвинувъ отъ себя Гловацкую, и, держа ее за плечи, любовалась дѣвушкою съ упоеніемъ артиста. Точно мать покойница: хороша; когда-бъ и сердце тебѣ Богъ далъ материно,—добавила она, насмотрѣвшись на Женни, и протянула руку стоявшему передъ ней безъ шапки Никитушкѣ.

— Довезъ, старина, благополучно?

— Благополучно доставилъ, матушка Агнія Николаевна,— отвѣчалъ старикъ, почтительно цѣлуя игуменьину руку.

— Ну и молодецъ.

Игуменья погладила Никитушку по его сѣдой головѣ и, обратясь къ рыжей дѣвушкѣ, таскавшей изъ тарантаса вещи, скомандовала:

— Экипажъ на житный дворъ, а лошадей въ конюшню. Тройку рабочихъ пусть выведутъ пока изъ стойлъ и поставятъ подъ сараемъ, къ рѣшеткѣ. Онѣ смирны, имъ ничего не сдѣлается. А мы пойдемте въ комнаты,—обратилась она къ ожидавшимъ ее дѣвушкамъ и, взявъ за руки Лизу и Женни, повела ихъ на крыльцо.—Ахъ, и забыла совсѣмъ!— сказала игуменья, остановясь на верхней ступенькѣ.— Никитушка! винца, вѣдь, не пьешь, кажется?

— Не пью, матушка Агнія Николаевна.

— Ну, отпрягши-то, приходи ко мнѣ на кухню; я тебя велю чайкомъ поить; вечеромъ сходи въ городъ въ баню съ дорожки; а завтра пироги будутъ. Прощай пока, управляйся, а потомъ придешь разсказать, какъ ѣхалось. Татьяну видѣлъ въ Москвѣ?

— Видѣлъ, матушка.

— Ну, что?

— Ничего, матушка, живетъ.

— Ну, съ Богомъ, управляйся, да приходи чай пить. Пойдемте, дѣтки.

Съ чистенькаго крылечка игуменьиной кельи была дверь въ такія же чистенькія, но довольно тѣсныя сѣни, съ двумя окнами по сторонамъ входной двери. Въ этихъ сѣняхъ, кромѣ двери, выходящей на крыльцо, было еще трое дверей.

Однѣ, направо, вели въ жилыя комнаты матери Агніи. Тутъ была маленькая проходная комната въ родѣ передней, гдѣ стоялъ большой платяной шкафъ, умывальный столикъ съ большимъ мѣднымъ тазомъ и мѣднымъ же рукомойникомъ съ подъемнымъ стержнемъ; небольшой столикъ съ привинченной къ нему швейной подушечкой и кровать рыжей келейницы, закрытая ватнымъ кашемировымъ одѣяломъ. Далѣе шла довольно большая и очень свѣтлая угловая комната въ четыре окна, по два въ каждую сторону. Здѣсь стояла длинная отоманка, обитая зеленой шерстяной матеріей, образникъ, трое тщательно закрытыхъ и заколотыхъ пялецъ, рядъ простыхъ плетеныхъ стульевъ и большіе стѣнные часы въ старинномъ футлярѣ. Въ этой комнатѣ жили и учились двѣ сиротки, которыхъ мать Агнія взяла изъ холодной избы голодныхъ родителей и которыхъ мы видѣли въ группѣ, ожидавшей на крыльцѣ нашихъ героинь. Дѣвочки здѣсь учились и здѣсь же спали ноги къ ногамъ на зеленой шерстяной отоманкѣ. Рядомъ была комната самой Агніи. Это была очень просторная горница, раздѣленная пополамъ ширмами краснаго дерева, обитыми сверху до половины зеленою тафтою. За ширмами стояла полуторная кровать игуменьи съ прекраснымъ замшевымъ матрацомъ, ночной столикъ, небольшой шкафъ съ книгами и два мягкія кресла; а по другую сторону ширмъ помѣщался богатый образникъ съ нѣсколькими лампадами, горѣвшими передъ фамильными образами въ дорогихъ ризахъ; письменный столъ, обитый зеленымъ сафьяномъ съ вытисненными по угламъ золотыми арфами, кушетка, двѣ горки съ хрусталемъ и нѣсколько креселъ! Полъ этой комнаты былъ весь обитъ войлокомъ, а сверху зеленымъ сукномъ.

Затѣмъ шелъ большой залъ, занимавшій средину домика, а потомъ комната матери Манефы и столовая, изъ которой шла узенькая лѣстница внизъ въ кухню.

Мать Агнія ввела своихъ дорогихъ гостей прямо въ спальню и усадила ихъ на кушетку. Это было постоянное и любимое мѣсто хозяйки.

— Чай, — сказала она матери Манефѣ и сѣла сама между дѣвушками.

— Давно мы не видались, дѣтки, — нѣсколько нараспѣвъ произнесла игуменья, положивъ на колѣни каждой дѣвушкѣ одну изъ своихъ бѣлыхъ, аристократическихъ рукъ.

— Давно, тетя! шесть лѣтъ,—отвѣчала Лиза.

— Да, шесть лѣтъ, друзья мои. Много воды утекло въ это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина замужъ вышла; всѣ постарѣли и не поумнѣли.

— Зина счастлива, тетя?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ? Ни да, ни нѣтъ тебѣ не отвѣчу. То слышу—бранятся, жалуются другъ на друга, то мирятся. Ничего не разберу. Второй годъ замужемъ, а комедій настроила столько, что другая въ двадцать лѣтъ не успѣетъ.

— Сестра вспыльчива.

— Вздалмошна, мой другъ, а не вспыльчива. Вспыльчивость въ доброй, мягкой женщинѣ еще небольшое зло, а въ ней блажь какая-то сидитъ.

— А онъ хорошій человѣкъ?

Такъ себѣ.

— Умный?

— Не вижу я въ немъ ума. Что за человѣкъ, когда бабы въ рукахъ удержать не умѣетъ.

— Такъ они несчастливы?

— Такимъ людямъ нечего больше дѣлать, какъ ссориться да мириться. Ничего, такъ и проживутъ, то ругаясь, то цѣлуясь, да добрыхъ людей потѣшая.

— А мама? папаша?

— Братъ очень состарѣлся, а мать все котятъ чешетъ, какъ и въ старину бывало.

— А сестра Соня?

— Съ годъ ужъ ее не видала. Не любитъ ко мнѣ, старухѣ, учащать, скучаетъ. Впрочемъ, должно быть, все съ гусарами въ амазонкѣ ѣздитъ. Болтается дѣвочка, не читаетъ ничего, ничего не любитъ.

— Вы, тетя, все такія же рѣзкія.

— Въ мои годы, другъ мой, люди не мѣняются, а если мѣняются, такъ очень дурно дѣлаютъ.

— Отчего же дурно, тетя? Никогда не поздно исправиться.

— Исправиться? — переспросила игуменья и, взглянувъ на Лизу, добавила:—ну, исправляются-то или мѣняются къ лучшему только богатыя, прямыя искреннія натуры, а кто весь вѣкъ лгалъ и себѣ, и людямъ и не исправлялся въ молодости, тому ужъ на старости лѣтъ не исправиться.

— Будто ужъ всѣ такіе лживые, тетя,—смѣясь, проговорила Лиза.

— Не всѣ, а очень многіе. Лженовъ больше, чѣмъ всѣхъ дурныхъ людей съ иными пороками. Какъ ты думаешь, Геша? — спросила игуменья, хлопнувъ дружески по рукѣ Гловацкую.

— Не знаю, Агнія Николаевна,— отвѣчала дѣвушка.

— Гдѣ тебѣ знать, мой другъ, васъ вѣдь въ институтѣ-то какъ въ парникѣ держатъ.

— Да, это наше институтское воспитаніе ужасно, тетя,— вмѣшалась Лиза.—Теперь на него очень много нападаютъ.

— И очень дурно дѣлаютъ, что нападаютъ. — отвѣтила игуменья.

Дѣвушки взглянули на нее изумленными глазами.

— Вы же сами, тетечка, только-что сказали, что институтъ не знакомитъ съ жизнью.

— Да, я это сказала.

— Значитъ, вы не одобряете институтскаго воспитанія?

— Не одобряю.

— А находите, что нападать на институты не должно?

— Да, нахожу. Нахожу, что всѣ эти нападки неумѣстны, непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно передѣлать, такъ и училища передѣлаются. А то, что институты! У насъ, что ни семья, то адъ, дрянь, болото. Въ институтахъ воспитываютъ плохо, а въ семьяхъ еще несравненно хуже. Такъ что-жъ тутъ институты? Институты необходимое зло пошлаго вѣка и больше ничего. Ши-ка, дружочекъ, умойся: самоваръ несутъ.

Лиза встала и пошла къ рукомойнику.

— Возьми тамъ губку, охвати что-то, пыль на васъ насѣла, хоть рѣпу сѣй,—добавила она, глядя на античную шейку Гловацкой.

Пока дѣвушки умылись и поправили волосы, игуменья сдѣлала чай и ожидала ихъ за весело шипѣвшимъ самоваромъ и безукоризненно чистенькимъ чайнымъ приборомъ.

Дѣвушки, войдя, поцѣловали руки у Агніи Николаевны и усѣлись по обѣимъ сторонамъ ея кресла.

— Пойди-ка въ залу, Геша, посмотри, не увидишь ли чего-нибудь знакомаго,—сказала игуменья.

Гловацкая подошла къ дверямъ, а за нею порхнула и Лиза.

— Картина маминаго шитья! — крикнула изъ залы Глозацкая.

— Да. Это я тебѣ все берегла: возьми ее теперь. Ну, идите чай пить.

Дѣвушки опять усѣлись за столъ.

— Экая женщина-то была! —какъ бы размышляла вслухъ игуменья.

— Кто это, тетя?

— Да ея покойница мать. Что это за ангелъ во плоти былъ! Вотъ ужъ именно хорошее-то и Богу нужно.

— Мать была очень добра.

— Да это истинно святая. Такихъ женщинъ немного родится на свѣтѣ.

— И папа же мой вѣдь добрякъ. Прелестный мой папа.

— Да, мы съ нимъ большіе друзья; ну, все же онъ не то. Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. Доброта-то въ ней была прямая, высокая, честная, ни этихъ сентиментальностей глупыхъ, ни нервъ, ничего этого дурацкаго, чѣмъ хвалятся наши слабонервные кучера въ юбкахъ. Это была сила, способная на всякое самоотверженіе; это было существо, никогда не жившее для себя и серьезно преданное своему долгу. Да, мой другъ Геша, — добавила игуменья со вздохомъ и значительно приподнявъ свои прямыя брови:—тебѣ не нужно далеко искать образцовъ!

— Вы такъ отзываетесь о мамѣ, что я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Я очень рада, что о моей мамѣ осталась такая добрая память.

— Да, истинно добрая.

— Но сама я...

— Что ты сама?

Дѣвушка закраснѣлась и застѣнчиво проговорила:

— Я не знаю, какъ надо жить.

— Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему, жить надо какъ живется; меньше говорить, да больше дѣлать, и еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраивать изъ всего только одно свое положеніе, не обращая вниманія на обрѣзки, да главное дѣло не лгать ни себѣ, ни людямъ. Первое дѣло не лгать. Людямъ ложь вредна, а себѣ еще вреднѣе. Станешь лгать себѣ, - такъ всѣхъ обманешь и сама обманешься.

— Да какъ же лгать *себѣ*, тетя?

— Ахъ, мать моя? Какъ? Ну, вотъ одна выдумаетъ, что она страдалица, другая, что она героиня, третья еще что-нибудь такое, чего вовсе нѣтъ. Увѣрятъ себя въ существованіи несуществующаго, да и пойдутъ чудеса творить, отъ которыхъ Богъ знаетъ сколько людей станутъ въ несчастныя положенія. Вотъ какъ твоя сестрица Зиночка.

— Вы, тетя, на нее нападаете, право.

— Что мнѣ, мой другъ, нападать-то! Она мнѣ не врагъ, а своя, родная. Мнѣ вовсе непріятно, какъ о ней пустые-то языки благовѣстятъ.

— Вы же сами не хвалите ея мужа.

— Такъ что жъ! не хвалю, точно не хвалю. Ну, такъ и резонъ молодой бабочкѣ сдѣлаться городскою притчею?

— Да если онъ дурной человѣкъ, тетя?

— Ну, какой есть,—сама выбрала.

— Можно ошибиться.

— Очень можно. Но изъ одной-то ошибки въ другую лѣзть не слѣдуетъ; а у насъ-то это, къ несчастію, всегда такъ и бываетъ. Сдѣлаемъ худо, а поправимъ еще хуже.

— Да въ чемъ же ея ошибки, за которыя всѣ такъ строго ее осуждаютъ?

— Въ чемъ? А вотъ въ слабохарактерности, въ болтовнѣ, въ неумѣньи скрыть отъ свѣта свое горе и во всякомъ отсутствіи желанія помочь ему, исправить свою жизнь, сдѣлать ее сносною и себѣ, и мужу.

— Это не такъ легко, я думаю.

— И не такъ ужъ очень трудно. Брыкаться не надо. Брыканьемъ ничему не поможешь, только ноги себѣ же отобьешь.

— Извините, тетя: вы, мнѣ кажется, оправдываете семейный деспотизмъ.

— Въ иныхъ случаяхъ, да, оправдываю.

— Въ какихъ же это, тетя, случаяхъ?

— Напримѣръ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ хранитъ слабыхъ и неопытныхъ членовъ семьи отъ заблужденій и ошибокъ.

Дѣвушка немного покраснѣла и сказала:

— Значитъ, вы оправдываете рабство женщины?

— Изъ чего же это значитъ?

— Да какъ же! Вы оправдываете, какъ сейчасъ сказали,

въ иныхъ случаяхъ деспотизмъ; а четверть часа тому назадъ замѣтили, что мужъ моей сестры не умѣетъ держать ее въ рукахъ.

— Ну такъ что жъ такое?

— Это значитъ оправдывать рабство женщины въ семьѣ?

У Лизы раздувались ноздри, и она безпрерывно откидывала за уши постоянно разбѣгавшіяся кудри.

— Нѣтъ, милая, это значитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ признавать необходимость въ семьѣ одного авторитета.

— Ну, да. Признавать законность воли одного надъ стремленіями другихъ! Что жъ это, не деспотизмъ развѣ?

— Ничуть не деспотизмъ.

— А что же? Что же это такое? Я должна жить какъ мнѣ прикажутъ?

— Отчего же не такъ, какъ тебѣ посовѣтуютъ?

— Да, если это дружескій совѣтъ равнаго лица, а не приказаніе, какъ вы называете, авторитета.

— Слушайся совѣта, такъ онъ не перейдетъ въ приказаніе.

— А если перейдетъ?

— Ну, ты же будешь виновата. Значитъ, не умѣла держать себя.

— Этакъ у васъ всегда сильный правъ: равенства, значитъ, нѣтъ.

— Равенства нѣтъ.

— И это вамъ нравится?

— Это нравится вѣрно природѣ. Спроси ее, зачѣмъ одинъ умнѣе другого, зачѣмъ одинъ полезнѣе другого обществу.

— Природа глупа.

— Ну, какая есть.

— Гм! Это ужасно.

— Что это ужасно?

— Повиноваться, и только повиноваться!

— Нѣтъ, не только: можно и жить, и любить, и дѣлать другихъ счастливыми.

— Все повинуясь?

— Повинуясь,—повинуясь разуму.

— Своему,—да; я это понимаю.

— Или другому, если этотъ разумъ яснѣе твоего, опытнѣе твоего и имѣетъ всѣ основанія желать твоего блага.

— А если нѣтъ?

— Тогда повелѣвай имъ сама. . . .

— Господи! Какъ странно вы смотрите, тетя, на жизнь. Или будь деспотомъ, или рабомъ. Приказывай, или повинуйся. Мужъ глава, значитъ, какъ это читается.

— Въ большинствѣ случаевъ.

— И не выходи изъ его воли?

— Да. Если эта воля разумна, не выходи изъ нея. Иначе: не станешь признавать надъ собой одной воли, одного голоса, придется узнать ихъ надъ собою нѣсколько, и далеко не столь искреннихъ и честныхъ.

— Извините, тетя, что я скажу вамъ?

— Пожалуйста.

Лиза немного задумалась и, закраснѣвшись, сказала:

— Вы отстали отъ современнаго образа мыслей.

Выслушавъ это замѣчаніе, игуменья спокойно собрала со стола нѣсколько крошечекъ бѣлаго хлѣба и, ссыпавъ ихъ въ полоскательную чашку, спросила:

— А ты къ чему пристала, глядя на свѣтъ сквозь закрашенныя стекла института?

— Мы читали, мы говорили тоже, не безпокойтесь.

— Нѣтъ: не могу не безпокоиться, потому что вижу въ твоей головкѣ всѣ эти бредни-то новыя. Я тоже вѣдь говорю съ людьми-то, и врядъ ли такъ ужъ очень отстала, что и судить не имѣю права. Я только не пристала къ вралямъ и не разсталась со смысломъ. Я знаю эти, какъ ты называешь, взгляды-то. Двухъ лѣтъ еще нѣтъ, какъ ея братецъ вотъ тутъ же, на этомъ самомъ мѣстѣ, все развивалъ мнѣ ваши идеи новыя. Все вздоръ какой-то! Не поймешь ничего. — Пріѣхалъ Ипполитъ изъ университета,— обратилась она къ Головацкой:— ну, и зашелъ ко мнѣ. Вижу мальчикъ, совсѣмъ еще мальчикъ—восемнадцать лѣтъ вѣдь всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первыхъ же шагахъ обругалъ, отца раскритиковалъ: зачѣмъ, зачѣмъ, говоритъ, анахоретомъ живетъ? — Для тебя же съ сестрой, говорю, батюшка такъ живетъ. — Отъ науки отсталъ, говоритъ. Ну, глупъ отецъ, однимъ словомъ, а онъ уменъ: тутъ же при мнѣ и при двухъ сестрахъ, очень почтенныхъ женщинахъ, монастыри обругалъ, назвалъ насъ устрицами, приросшими къ своимъ раковинамъ. Богъ знаетъ, что такое? Школы хорошей нѣтъ этому мальчику.

— Что жъ онъ вѣдь, можетъ-быть, говорилъ правду?— замѣтила Лиза.

— Правду, говоришь, говорилъ?

— Да.

Тетка немножко насупилась.

— И правду надо знать какъ говорить.

— Вы же сами говорите всѣмъ правду.

— Да, то-то, я говорю, надо знать какъ говорить правду-то, а не осуждать за глаза отца родного, при чужихъ людяхъ.

— Онъ, вѣрно, и не осуждалъ, а разбиралъ, анализировалъ.

— Насъ, старухъ, изругалъ ни къ стру, ни къ смотру. Вреднѣйшіе мы люди, тунеядицы.

— Монастыри, тетя, — отжившія учрежденія. Это всѣ говорятъ.

— А почему это они отжившія учрежденія, смѣю спросить?

— Потому, что люди должны трудиться, а не сидѣть запершись, ничего не дѣлая.

— Кто жъ это вамъ сказалъ, что здѣсь ничего не дѣлаютъ? Не угодно ли присмотрѣться самой-то тебѣ поближе. Можетъ-быть, здѣсь еще болѣе работаютъ, чѣмъ гдѣ-нибудь. У насъ каждая почти однимъ своимъ трудомъ живетъ.

— А въ мірѣ она бы втрое болѣе могла трудиться.

— Или совсѣмъ бы не могла.

— Это отчего?

— Отъ многаго. Отъ неспособности сжиться съ этимъ міромъ-то: отъ неумѣнья отстоять себя; отъ недостатка силъ бороться съ тѣмъ, что не всякій поборетъ. Есть люди, которымъ нужно, просто необходимо такое безмятежное пристанище, и пристанище это существуетъ, а если не отжила еще потребность въ этихъ учрежденіяхъ, то, значитъ, всякій молокососъ не имѣетъ и права называть ихъ отжившими и поносить въ глаза людямъ, дорожащимъ своимъ тихимъ пріютомъ.

— Вы сейчасъ обвиняли ея брата въ томъ, что онъ осуждаетъ людей въ глаза, а теперь обвиняете его въ томъ, что онъ говоритъ правду въ глаза. Какъ же говорить ее нужно?

Мать Агнія совсѣмъ вспыхнула.

— Говорить надо съ умомъ,—замѣтила она рѣзко.

— Да я тутъ, собственно, не вижу глупости.

— Очень жаль, что ты не видишь неблаговоспитанности и мѣщанства.

— Что жъ, и мѣщане люди, тетя?

— Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди, вносящіе въ жизнь гадкую мѣщанскую дрязгу.

— Стало-быть, они совсѣмъ ужъ не того стоятъ, чего мы?

— Совсѣмъ не того, чего стоятъ всѣ люди благовоспитанные, цаляшіе человѣка въ человѣкѣ. То люди, а то *мѣщане*.

Лиза встала со стула, сдѣлала ироническую гримасу и, пожавъ плечами, проговорила:

— Не понимаю, какъ такой взглядъ согласовать съ идеею христіанскаго равенства.

— Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Очень просто. Всѣ мы равны передъ Богомъ.

— Только-то?

— И только. Мѣщанство всегда останется мѣщанствомъ.

— Какъ ты думаешь объ этомъ, Женни? — спросила Лиза, стоя лицомъ къ открытому окну.

Но прежде чѣмъ Женни успѣла что-нибудь отвѣтить, мать Агнія отвѣтила за нее:

— Геша не будетъ такъ дерзка, чтобы произносить приговоръ о томъ, чего она сама еще хорошо не знаетъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Молодой пересадокъ.

Большой монастырскій колоколъ гудѣлъ и заливался, призывая сестеръ безмятежнаго пристанища къ вечерней молитвѣ и долгому, праздничному всенощному бдѣнію. По длиннымъ дощатымъ мосткамъ, перекрещивавшимъ во всѣхъ направленіяхъ монастырскій дворъ и такимъ образомъ поддерживавшимъ при всякой погодѣ удобное сообщеніе между кельями и церковью, потянулись сестры. Много ихъ было подъ началомъ матери Агніи. Лиза сѣла у окна въ теткиной спальнѣ и глядѣла на проходившія мимо ея черныя фигуры. Шли тихимъ, солиднымъ шагомъ пожилыя монахини въ такихъ шапкахъ и такихъ же вуаляхъ, какъ носила мать Агнія и мать Манефа; прошли три еще болѣе суровыя фигуры въ длинныхъ мантіяхъ, далеко волокшихся сзади длинными шлейфами; шли такъ же чинно и поту-

вивъ глаза въ землю молодыя послушницы въ черныхъ, остроконечныхъ шапочкахъ. Между послѣдними было много очень, очень молодыхъ существъ, въ которыхъ молодая жизнь жадно глядѣла сквозь опущенные глазки. Новы были впечатлѣнія, толпившіяся въ головкахъ Лизы и Женни, стоявшей тутъ же за кресломъ подруги и вмѣстѣ съ нею находившейся подъ страннымъ вліяніемъ монастырской суеты. Веселый звонъ колоколовъ, розовое вечернее небо, свѣжій воздухъ, пропитанный ароматомъ цвѣтовъ, окружающихъ каждую келью, и эти черныя фигуры, то согбенныя и закутанныя въ черныя покрывала, то молодыя и стройныя, съ миловидными личиками и потупленными глазами: все это было ново для нашихъ героинь и все это располагало ихъ къ задумчивости и молчанію. Наконецъ, кончился третій трезвонъ: двѣ молоденькія послушницы, съ большими книгами подъ руками, шибко пробѣжали къ церкви, а за дверью матери Агніи чистый, молодой контральтъ произнесъ нараспѣвъ: «Господи, Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ».

— Аминь, — отвѣчала мать Агнія, оканчивавшая прикалываніе своего вуаля.

Въ дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя къ игуменьѣ, поцѣловала ея руку.

— Здравствуй, Ѳеоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади.

— Хорошо вездѣ, матушка, — отвѣчала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью.

— Все готово?

— Уже начатъ положили.

— Ну, пойдемъ.—давай мантію.

Сестра Ѳеоктиста сняла со стѣны мантію и накинула ее на плечи игуменьи. Мать Агнія была сурово-величественна въ этой длинной мантіи. Даже самое лицо ея какъ-то преобразилось: ничего на немъ не было теперь, кромѣ сухости и равнодушія ко всему окружающему міру.

— Ну, до свиданія, дѣти, — сказала она, подавая руки оставшимся у окна дѣвушкамъ.

— А мы развѣ не пойдемъ въ церковь?—спросила Лиза.

— Какъ хотите. Вы устали, служба сегодня долгая будетъ, оставайтесь дома.

— Лучше пойдемъ и мы, постоимъ сколько намъ захочется.

— Ну, хорошо. Позовите Маринку и поправьтесь тутъ, а я сейчасъ пришлю за вами сестру Ѳеоктисту, она васъ проводитъ въ церковь.

По мосткамъ опустѣлаго двора шла строгою поступью мать Агнія, а за нею, держась нѣсколько сзади ея лѣваго плеча и потупивъ въ землю прелестные голубые глазки, брела сестра Ѳеоктиста.

— Ахъ, какая хорошенькая!—сказала Лиза вслѣдъ прошедшимъ монахинямъ.

— Чудо, что такое, — подтвердила Гловацкая.

— Это вы про сестру Ѳеоктисту изволите говорить, барышня? — вмѣшалась весноватая бѣлица, камеръ-юнгфера матери Агніи.

— Вотъ про эту монахиню.—отвѣтила Гловацкая.

— Это она и есть сестра Ѳеоктиста-съ.

— Прехорошенькая.

— Это, барышня, въ міру красоту-то наблюдаютъ; а здѣсь всѣ равны, что Ѳеоктиста, что другая какая.

— Давно она въ монастырѣ?

— Третій годъ, матушка: третій годъ, овдовѣвши, какъ въ монастырь пошла. Она вѣдь еще въ маломъ постригъ.

— Что же она тутъ при тетушкѣ?—спросила Лиза.

— Такъ, тетенька любятъ, чтобы она при нихъ находилась.—Адъютантомъ своимъ называютъ ее.

— Развѣ она съ тетушкой живетъ?

— Нѣтъ, у нея есть своя полкелья, а только, когда въ церковь, или когда у тетеньки гости бываютъ, такъ ужъ сестра Ѳеоктиста при нихъ.

— Зачѣмъ же это?

— Такъ... Тетенькѣ такъ угодно.

— Она знакома была тетушкѣ прежде, что ль?

— Не могу вамъ про это доложить, — да нѣтъ, врядъ, чтобы была знакома. Она вѣдь изъ простыхъ, изъ города Брянскова, изъ купецкой семьи. Да простые такіе купцы-то, не то, чтобы какъ вонъ наши губернскіе или московскіе. Совсѣмъ изъ простого званія.

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!— раздалось опять за дверью. Весноватая бѣлица твердо возгласила: «Аминь», и на порогѣ показалась сестра Ѳеоктиста.

— Спаси васъ Господи и помилуй, — проговорила она, подходя къ дѣвушкамъ и смиренно придерживая одною ру-

кою полу рясы, а другою собирая длинныя шелковыя четки съ крестомъ и изящными волокнистыми кистями.

— Здравствуйте, здравствуйте,—привѣтливо отвѣчали въ одинъ голосъ обѣ дѣвушки.

Ѳеоктиста добродушно поцѣловала обѣихъ и опять поклонилась.

— Вотъ вы уже пришли; а мы еще не готовы совсѣмъ,— извините насъ, пожалуйста.

Сестра Ѳеоктиста ласково улыбнулась и сказала:

— Ничего-съ: я посижу, подожду,—и она сѣла на кончикѣ дивана.

— Много мірскихъ въ церкви?—спросила сестру Ѳеоктисту продолжавшая торчать здѣсь бѣлица.

— Много. Яблоку упасть негдѣ. Очень тѣсно въ храмѣ.

— Пошлите, пожалуйста, нашу няню. — попросила Лиза бѣлицу, послѣ чего та тотчасъ же вышла, а вслѣдъ затѣмъ появилась Марина Абрамовна.

Старуха, растопыривъ руки, несла въ нихъ только-что выправленныя утюгомъ бѣлыя платьица барышень и другія принадлежности ихъ туалета.

— Одѣвайтесь, матушки, а то къ шапочному разбору придете, — говорила Марина Абрамовна, кладя на столъ принесенныя вещи.

Дѣвушки стали одѣваться, няня помогала то той, то другой.

— Дайте я вамъ помогу, — сказала сестра Ѳеоктиста, положивъ въ уголъ дивана свои четки.

Дѣвушки вѣжливо отклоняли ея услужливость.

— Нѣтъ, что жъ такое, я помогу. Развѣ это трудно?

И сестра Ѳеоктиста, встряхнувъ бѣлую, крахмальную юбку, набросила ее на Гловацкую.

— Благодарю васъ, душка моя,—отвѣчала, закраснѣвшись, дѣвушка и, обернувшись, поцѣловала два раза молодую монахиню.

А монахиня опять заворочалась въ накрахмаленныхъ вещахъ и одѣвала Женни въ то же самое время, какъ Абрамовна снаряжала Лизу.

— Какъ нынче манишки-то стали шить! Совсѣмъ какъ мужчинская рубашка,—говорила сестра Ѳеоктиста, оправляя надѣтую на Женни манишку.

— Вамъ нравится этотъ фасонъ?

— Нѣтъ, я такъ говорю; легче какъ будто, а то бывало у насъ все шнурки, да шнурочки.

— Вы давно въ монастырѣ?

— Давно. Ужъ и не помню когда, — отвѣчала, смѣясь, Ѳеоктиста.—Три года ужъ.

— И нескучно вамъ?

— О чемъ скучать-то? —Спаси Господи и помилуй!

Сестра Ѳеоктиста глубоко вздохнула и въ серединѣ двухъ юницъ отправилась въ церковь. Въ церкви была страшная давка и духота. Сестра Ѳеоктиста насилу провела Лизу съ Женей впередъ къ рѣшеткѣ, окружающей амвонъ, и отошла къ особенному возвышенію, на которомъ неподвижно стояла строгая игуменья. Воздухъ въ церкви все болѣе и болѣе сгущался отъ запаха жарко горящихъ въ огромномъ количествѣ восковыхъ свѣчъ, ладана и дыханія плотной толпы молящагося народа. Передъ началомъ стихиръ мать Агнія незамѣтно кивнула пальцемъ сестрѣ Ѳеоктистѣ. Та подошла къ ней, сдѣлала поясной поклонъ и подставила ухо, а потомъ опять поклонилась тѣмъ же пояснымъ поклономъ и стала тихонько пробираться къ нашимъ героинямъ.

— Мать игуменья безпокоятся за васъ, — шепнула она дѣвушкамъ. — Онѣ велѣли мнѣ проводить васъ домой; вы устали, васъ Богъ проститъ; вамъ отдохнуть нужно.

— Пойдемте,—такъ же шопотомъ отвѣчали обѣ дѣвушки и стали пробираться вслѣдъ за Ѳеоктистою къ выходу.

На дворѣ стояли густыя сумерки.

— Чаю напьетесь? — спросила сестра Ѳеоктиста, входя на крыльцо кельи.

— По правдѣ сказать, такъ всего болѣе спать хочется, — отвѣчала Лиза.

— Ну, такъ Христосъ съ вами, спите. Прощайте, Господь съ вами.

— А нѣтъ, зайдите, зайдите, —заговорили дѣвушки.

— Раздуйте самоварчикъ, — сказала входя сестра Ѳеоктиста.—Ну, такъ спать? — добавила она, обратясь къ дѣвицамъ.

— Лежать, сестра Ѳеоктиста,—отвѣчала Лиза.

— Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вамъ душепарочки волью.

— Милая! какая вы милая! — сказала Лиза и крѣпко, взасосъ, по-институтски, поцѣловала монахиню.

— Чѣмъ такъ вамъ мила стала? Голубп вы мои! Раздѣвайтесь-ка, да на постельку.

Истомленныя дорогою дѣвушки начали спѣшно разоблачаться.

— Гдѣ же лечь?—спросила Лиза.

— На постель, на постель, мой ангелъ. Тетушка такъ сказала,—отвѣчала сестра Ѳеоктиста.

— Валимся! — проговорила Лиза и, забросивъ за уши свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею съ краю легла тихо Гловацкая.

— Ну, и отлично. Теперь я подамъ чайку.

— Зачѣмъ же вы сами, сестра Ѳеоктиста?

— Да что жъ за бѣда. Я и сама напьюсь съ вами.

Чаекъ подали, и дѣвушки, облокотясь на подушечки, стали пить. Сестра Ѳеоктиста усѣлась въ ногахъ, на кровати.

Дѣвушки, утомленныя шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постелькѣ и не хотѣли чаю. Сестра Ѳеоктиста налила имъ по второй чашкѣ, но эти чашки стояли нетронутыя и стыли на столикѣ.

— Кушайте!

— Не хочется,—отвѣчали обѣ дѣвушки.

— Ну, почивайте. Всенощная еще не скоро кончится. Часа полтора еще пройдетъ, почивайте, а я пойду.

— Нѣтъ, посидите съ нами, вы вѣдь тоже устали, тамъ духота такая въ церкви.

— Сестра Ѳеоктиста! Какъ вы думаете, можно покурить потихоньку?

— Охъ, не знаю, право.

— Вѣдь никто не взойдетъ?

— Не знаю.

Лиза спрыгнула съ кровати, зажгла папироску и сѣла у печки.

— Не тянетъ что-то.

— Труба, вѣрно, закрыта отъ грома. Я открою сейчасъ,— и Ѳеоктиста открыла трубу.

Женни тоже покурила, и обѣ дѣвушки снова улеглись.

— Душно точно, голова такъ и кружится, да это ничего, Господь подкрѣпитъ, я привыкла ужъ, — говорила Ѳеоктиста, продолжая прерванный разговоръ о церковной духотѣ.

— Какъ вы успѣли привыкнуть такъ скоро?— спросила, внимательно глядя на сестру Ѳеоктисту, Лиза.

— М-мъ! Такъ привыкла, потому что здѣсь вѣдь хорошо.
— Чѣмъ же хорошо?
— Тихо такъ, хорошо.
Вышла пауза.
— И вы никогда не скучаете?—спросила Женни.
— Чего скучать, надо Богу молиться, а не скучать.
— Иногда противъ воли скучается.
Сестра Ѳеоктиста вздохнула.
— Молитвой надо ограждать себя,—проговорила она тихо.
— А если нельзя молиться?—спросила быстро Лиза.
— Отчего нельзя?
— Если не спокоенъ, разстроенъ, взволнованъ.
— Тутъ-то и молиться.
— Вы это на себѣ испытали когда-нибудь?
— Какъ же. Искушенія тоже бываютъ большія и въ монастырѣ.
— Интриги?
— Какъ изволите?
— Интриги, говорю, есть? — Сплетни, ссоры, клеветы,— пояснила Лиза.
— А! Ну, все надо перенесть! на то покаяніе, на то монастырь.
— А есть это все?
— Какъ вамъ сказать?—отвѣчала Ѳеоктиста съ самымъ простодушнымъ выраженіемъ на своемъ добромъ, хорошенькомъ личикѣ.—Бываетъ, врагъ смущаетъ человѣка, все по слабости по нашей. Тутъ вѣдь не то, чтобъ какъ со злости говорится что, или дѣлается.
— А все врагъ смущаетъ?
— Все по слабости нашей.
— Вы зачѣмъ пошли въ монастырь-то?
— Какъ изволите?—переспросила сестра Ѳеоктиста.
Лиза повторила свой вопросъ.
Такъ, пошла да и только.
— Дурно вамъ было дома, что-ль?
— М-мъ... такъ. Мужъ померъ, дитя померло, тятенька померъ, я и пошла.
— Развѣ никого больше не оставалось у васъ, и состоянія никакого не было?
— Нѣтъ, видите,—и повернувшись лицомъ къ Лизѣ и взявъ ее за колѣно, начала сестра Ѳеоктиста:—я вѣдь вотъ пер-

ковная, ну, понимаете, православная, т. е. по-нашему, по русскому закону крещена, ну, только тятенька мой жили мы въ нуждѣ большой. Городокъ нашъ маленькій, а тятенька, на волю откупившись, тутъ домикъ въ долгъ тоже купили, хотѣли трактирчикъ открыть, такъ какъ они были поваромъ, ну, не пошло. Только приказные судейскіе когда придутъ, да и то все въ долгъ больше, а помѣщики все на почтовую станцію заѣзжали. Такъ, бывало, и плиты по недѣлѣ цѣлой не разводимъ. Ну, я ужъ была на возрастѣ, шестнадцатый годокъ мнѣ шелъ; матери не было, братецъ въ лакейской должности гдѣ-то въ Петербургѣ, у важнаго лица, говорятъ, служитъ, только отцу они не помогали. Извѣстно въ этакой столицѣ, самимъ имъ что, я думаю, нужно, въ большомъ-то домѣ!

Ѳеоктиста вздохнула и, помолчавъ, продолжала:

— Жениховъ у насъ мало, да и то всѣ глядятъ на богатенькихъ, а мы же опять и въ мѣщанство-то только приписались, да и бѣдность. Очень тятенька покойникъ обо мнѣ печалился. Ну, а тутъ, такъ черезъ улицу отъ насъ купцы жили, — тоже недавно они въ силу пошли, изъ мѣщанъ, а только ужъ богатые были; всѣмъ торговали: солью, хлѣбомъ, желѣзомъ, всякимъ, всякимъ товаромъ. У насъ вѣдь, по нашему маленькому мѣсту, нѣтъ этихъ магазиновъ, а все вмѣстѣ всѣмъ торгуютъ. Только были эти купцы старовѣры... не нашего, значитъ, закона, поповъ къ себѣ не принимаютъ, а все безъ поповъ. Ну, какъ тамъ, Богъ самъ знаетъ, какъ это сдѣлалось, только этотъ купеческій сынъ Естифей Ефимычъ вздумалъ ко мнѣ присвататься. Изъ себя былъ какой, вѣдь, молодецъ; всякая бы, то-есть всякая, всякая у насъ, въ городѣ-то, за него пошла; ну, а онъ ко мнѣ сватался. Въ домѣ-то что у нихъ изъ-за этого было, страсти Божьи, какъ, бывало, разскажутъ. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда дѣвчонка была, ничего этого не понимала. Ужъ не знаю, какъ тамъ покойничекъ Естифей-то Ефимычъ все это съ маменькой своей уладилъ, только такъ о снажинкахъ прислали къ тятенькѣ сватовъ.

— Ну?

— Ну, и выдали меня замужъ, въ церкви такъ въ нашей вѣнчали, по-нашему. А тутъ я годочекъ всего одинъ съ мужемъ-то пожила, да и овдовѣла, дитя родилось, да

умерло, все, какъ говорила вамъ, — тятенька тоже померли еще прежде.

— А вы въ монастырь и пошли?

— Да и пошла вотъ.

— А съ мужемъ вы счастливы были?

— Извѣстно какъ замужемъ. Сама хорошо себя ведешь, такъ и тебѣ хорошо. Я жъ мужа почитала и онъ меня жалѣлъ. Только свекровь очень ужъ строгая была. Страсть какія онѣ были суровыя.

— Обижала она васъ?

— Нѣтъ, обиды чтобъ такъ не было, а все, разумѣется, за вѣру мою, да за бѣдность сердились, все мужа, бывало, урекаютъ, что взялъ неровню; ну, а мнѣ мужа жаль, я, бывало, и заплачу. Вотъ изъ чего было, все изъ моей дурости.—Жарко каково!—проговорила Ѳеоктиста, откинувъ съ плеча креповое покрывало.

— Снимите шапку.

— И то.

Ѳеоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись изъ-подъ сдерживавшей ее шапки, разсыпалась по черной рясѣ.

— Господи, какое великолѣпіе!—вскрикнула Лиза.

— Что это вы?

— Смотри, смотри, Женни, какіе волосы!

— Что вы, что вы это,—закраснѣвшись, лепетала сестра Ѳеоктиста и протянула руку къ только-что снятой шапкѣ: но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, нѣсколько разъ крѣпко ее поцѣловала. Женни тоже не отказалась отъ этого удовольствія и, перегнувъ къ себѣ стройный станъ Ѳеоктисты, обѣ дѣвушки съ восторгомъ цѣловали ее своими свѣжими устами.

— Что это вы?—опять пролепетала монахиня.

— Какая вы красавица, сестра Ѳеоктиста.

— Спаси Господи и помилуй; что это вамъ вздумалось! Искушеніе съ вами, съ мірскими, право.

Сестра Ѳеоктиста набожно перекрестилась и добавила:

— Ну, такъ вотъ я вамъ ужъ доскажу. Вышедши замужъ-то, я затяжелѣла; ну, брюхомъ-то мнѣ то того, то другого смерть вотъ какъ хочется. А Великій постъ былъ: у насъ въ домѣ, какъ вотъ словно въ монастырѣ, опричь грибовъ ничего не варили, да и то по середамъ и по пят-

ницамъ безъ масла. Маменька строго это соблюдала. А мнѣ то это икры захочется, то рыбы соленой, да такъ захочется, что вотъ просто душенька моя выходитъ. Я, бывало, это Естифею Ефимовичу ночью скажу, а онъ днемъ припасетъ, пронесетъ мнѣ въ карманѣ, а какъ спать ляжемъ съ нимъ, я пологомъ задернусь на кровати, да и ѣмъ. Грѣхъ это такъ ѣсть-то, Богу помолимшись, ну, а я ужъ никакъ стерпѣть не могла. Брюхомъ это часто у женщинъ бываетъ. Ну, и наказалъ же меня Господь за мои за эти за глупости! Охъ-хо-хо!

Ѳеоктиста утерла слезы, наполнившія длинныя рѣсницы ея большихъ голубыхъ глазъ, и продолжала:

— Въ самый въ Страстной вторникъ задумалось мнѣ про селянку съ рыбой. Вотъ умираю, хочу селянку съ севрюжинкой, да и только. Пришелъ мужъ изъ лавки, легли спать, я ему это и сказываю про свое про хотѣнье-то. Что ты, говоритъ, дура, какіе дни! Люди теперь хлѣба мало вкушаютъ, а ты что задумала? Молись, говоритъ, больше, все пройдетъ. А я вмѣсто молитвы-то цѣловать его да упрашивать: голубчикъ, говорю, соколъ мой ясный. Естифей Ефимычъ! уважь ты меня разъ, я тебя сто разъ уважу. Пристаю къ нему: ручки, ножки, говорю, тебѣ перецѣлую, только уважь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что какъ пристанешь къ нему лаской, безпремѣнно онъ тебѣ сдѣлаетъ. Смотрю, точно ужъ, говоритъ, только какъ, говоритъ, пронести? Пронести никакъ нельзя. Это и правда. Рыбу тамъ или икру можно какъ въ карманѣ пронесть, а селянку жидкую никакъ нельзя. Такъ я это въ горѣ и заснула. Утромъ, гляжу, мужъ толкъ меня подъ бокъ: прибѣжи, говоритъ, часовъ въ двѣнадцать въ лавку. Я догадалась, опять-таки его расцѣловала. Охъ, Боже, Боже мой, Боже мой! великая я грѣшница передъ Тобою!.. Жду не дождусь. Только пробило одиннадцать часовъ, я и стала надѣвать шубейку, чтобъ къ мужу-то идти, да только-что хотѣла поставить ногу на порогъ, а въ двери нашъ молодецъ изъ лавки, какъ есть полотно блѣдный. Что ты, что ты, Герасимъ? — спрашиваемъ его съ маменькой, а онъ и слова не выговоритъ. — Что, молъ, пожаръ, что ли? Въ окно такъ-то смотримъ, а онъ глядѣлъ-глядѣлъ на насъ, да разомъ какъ крикнетъ: хозяинъ, говоритъ, Естифей Ефимычъ потонули. — Какъ потонулъ? гдѣ? — Къ городничему, гово-

ритъ. за рѣку чего-то пошли, сказали, что коли Ѳедосья Ивановна, — это я-то, — придетъ, чтобъ его въ чуланчикѣ подождали, а тутъ, слышимъ, кричатъ на берегу: обломился, обломился, потонулъ. Побѣгли,—ничего ужъ не видно, только дыра во льду и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь ледъ испрухъ. Ничего тутъ ужъ я и не помню. Побѣгли къ городничему, и городничій самъ пришелъ. Онъ, говоритъ, у меня не былъ, а былъ у повара, севрюги кусокъ принесъ, просилъ селянку сварить. Это въ трактиръ-то на станцію ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встрѣтишь кого изъ своихъ, онъ, мой голубчикъ, и пошелъ мнѣ селяночку-то эту, проклятую, готовить къ городническому повару, да торопился, на мостъ-то далеко, онъ льдомъ хотѣлъ, грѣхъ и случился. Во всемъ я передо всѣми повинилась. Что тутъ только мнѣ было! Боже мой, Господи! Хуже меня по цѣлому городу человѣка не ставили. И точно, что стоило. А ужъ свекровь, бывало, какъ начнетъ: силы небесныя, что только она говорила! И змѣя-то я, и блудница вавилонская, сѣдящая при водахъ на звѣрѣ червленнѣ,—чего только не говорила она съ горя. Разумѣется, мать, больно ей было, одинъ сынъ только, и того лишилась. И не знаю я, какъ ужъ это все я только пережила! А только мнѣ даже лучше было, что меня ругала маменька. А тутъ ужъ безъ покойника я родила дѣвочку, — хорошенькая такая была, да черезъ двѣ недѣли померла. Какъ я ни старалась маменькѣ угождать, все ужъ не могла ей угодить: противна я ей ужъ очень стала. Какъ я ей въ глаза, она сейчасъ: иди, иди, сретица проклятая! Гонитъ меня. Думала въ тятенькинъ домикъ перейти, что онъ мнѣ оставилъ—маменька еще пуще осерчала: развратничать, говоритъ, захотѣла, полюбовниковъ на свободѣ собирать хочется. Я и стала проситься въ монастырь, да вотъ и живу.

— А домикъ вашъ?

— Такъ свекровь его взяла, а мнѣ тутъ полкольи поставила.

— И ничего вамъ не даютъ?

— Нѣтъ, на что же мнѣ, я работаю. Мнѣ развѣ много нужно?

— Зачѣмъ же вы ей отдали?

— Да пусть. На что мнѣ. Такъ оставила ей.

— И тутъ вамъ, говорите, хорошо?

— Хорошо, молюсь да работаю, что жъ мнѣ. Конечно, иной разъ...

— Что, скучно?

— Нѣтъ, спаси Господи и помилуй! А все вотъ за эту... за красоту-то, что вы говорите. Не то, такъ то выдумаютъ.

— Что жъ, кому мѣшаетъ ваша красота?

— Да такъ, нѣтъ это по злобѣ! Такъ врагъ-то смущаетъ. Онъ вѣдь въ мірѣ такъ не смущаетъ, а здѣсь, гдѣ блюдутся, онъ тутъ и вередуетъ.

— Вамъ жаль вашего мужа?

— Очень жаль! Ахъ, какъ жаль. И гдѣ онъ, гдѣ его тѣло-то понесли быстрыя воды весеннія. Молюсь я, молюсь за него, а все не смолить мнѣ моего грѣха.

— Вы его любили?

— Какъ же не любить мужа!

— А дитя тоже жаль?

— Не знаю ужъ какъ и сказать, кого больше жаль! Дитя жаль, да все не такъ, все усну, такъ забуду, а мужа и во снѣ-то не забуду. И во снѣ онъ меня мучитъ. Молюсь, молюсь Создателю: Господи, упокой Ты его, отжени отъ меня грѣхъ мой. А только усну, только заведу глаза, а онъ надо мною стоитъ. Вотъ совсѣмъ стоитъ. Чувствую, холодный такой, мокрый весь, синій, какъ извѣстно, утопленникъ, а потомъ будто бѣлѣетъ; лицо опять человѣческое становится, глазами смотритъ все на меня и совсѣмъ какъ живой, совсѣмъ живой. Просто вотъ беретъ меня за плечи, цѣлуетъ. Оеня, говоритъ, моя, другъ мой!

Сестра Ѳеоктиста остановилась, долго смотрѣла молча въ одну точку темной стѣны и потомъ неожиданно, дернувъ на себѣ ряску, тревожно проговорила:

— Кудри его черныя вотъ такъ по лицу по моему... Ахъ ты, Господи! Боже мой! Когда жъ эти сны кончатся? Когда Ты успокоишь и его душеньку, и меня, грѣшницу нераскаянную.

Тихо, безъ всякаго движенія сидѣла на постели монахиня, устремивъ полные благоговѣйныхъ слезъ глаза на озаренное лампадой распятіе, молча смотрѣли на нее дѣвушки. Всенощная кончилась, подъ окномъ послышались шаги и голосъ игумены, возвращавшейся съ матерью Манефой. Сестра Ѳеоктиста быстро встала, надѣла свою шапку

съ покрываломъ и, поцѣловавъ обѣихъ дѣвицъ, быстро скользнула за двери игуменьиной кельи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ ночной тишинѣ.

Глубоко запалъ въ молодыя сердца нашихъ героинь простодушный разсказъ сестры Ѳеоктисты. Ни слова имъ не хотѣлось говорить, и ни слова онѣ не сказали по ея уходѣ.

Мать Агнія тихо вошла въ комнату, гдѣ спали маленькія дѣвочки, тихонько пріотворила дверь въ свою спальню, и видя, что тамъ только горятъ лампады и ничего не слышно, заключила, что гости ея уснули, и, затворивъ опять дверь, позвала бѣлицу.

— Умыться и раздѣться, — сказала она вошедшей дѣвушкѣ.

— Тамъ приготовлено-съ.

— Перенести сюда, да тише, не разбуди дѣтей.

Въ спальню вошла бѣлица и тихонько понесла оттуда умывальный приборъ.

— Пили чай?—спросила игуменья вполголоса.

— Кушали, матушка.

— Давно легли?

— Давно-съ, только они не спали должно-быть.

— Отчего?

— Сестра Ѳеоктиста все у нихъ тамъ сидѣла на кровати, только вотъ сейчасъ выскочила.

— Спасибо ей.

— Все разговаривали съ нею.

— Молодые люди, поговорить хотятъ.

— Да-съ, все про мужа говорили.

— Про какого мужа?

— Про Ѳеоктистинова.

— Что жъ они говорили?

— Все Ѳеоктиста разсказывала, какъ жила у своихъ въ міру.

— Ну?

— А онѣ, барышни, все слушали. Все про сны какіе-то сказывала имъ, что мужа видитъ.

— Это ты слышала?

— Какъ же-съ!

— Сходи-ко къ ней, чтобъ завтра, какъ встанетъ... пораньше бъ встала и пришла ко мнѣ.

— Слушаю-съ!

— Давай умываться!

Послышались плески воды.

— Лихаревская Аннушка заходила отдохнуть,—говорила, подавая умываться, бѣлица.

— Ну и что жъ?

— Барыня-то ихняя вернулась.

— Вернулась?

— Вернулась, говоритъ, и прямо мужу въ ноги.

— Ну?

— Простилъ-съ, говоритъ, во всемъ.

— Дуракъ! — какъ бы про себя замѣтила мать Агнія и, сѣвъ на стулъ, начала тщательно вытираться полотенцемъ.

— А у матери Варсонофьи опять баталія была съ этой съ новой бѣлицей, что изъ дворянокъ, вотъ что мать-то отдала.

— За что это?

— Все дворянствомъ своимъ кичится, стало-быть. У васъ, говоритъ, все необразованіе, кляузы, говоритъ, наушничество. Такая ядовитая дѣвушка, Богъ съ ней совсѣмъ.

— Вѣрно, досадили ей.

— Не знаю-съ.

— Варсонофія-то сама хороша. Вели-ка завтра этой бѣлицѣ за часами у ранней на поклоны стать. Скажи, что я приказала безъ разсужденій.

— Слушаю-съ.

— Давай чистить зубы.

Бѣлица опять взошла на цыпочкахъ въ спальню и опять вышла.

— Что это у тебя въ той рукѣ?—спросила игуменья.

— Соръ какой-то... бумажку у печки какую-то подняла.

— Покажи.

Бѣлица подала окурочекъ тоненькой папироски, засунутый дѣвушками въ печку.

— Откуда это?

— Барышни, вѣрно, курили.

— Не забудь, чтобъ рано была у меня Ѳеоктиста.

— Слушаю-съ.

Игуменья положила окурочекъ папиросы въ карманъ своей ряски.

— А Никита былъ здѣсь?

— Какъ же-съ.

— Я его и видѣть не успѣла. А ты сказала казначеѣ, чтобъ отправила Татьянѣ на почту что я приказала?

— Виновата, запомнила-съ, завтра скажу. Плохо ей, Татьянѣ-то бѣдной. Мужа-то ея теперь въ пожарную команду перевели; все одна, недостатки, говоритъ, страшные терпитъ.

— Бѣдная женщина.

— Да-съ. На васъ, говоритъ, только и надѣется. Грѣхъ, говоритъ, будетъ барышнѣ: я имъ всей душой служила, а онѣ и забыли. Таково-то, говоритъ, господское сердце.

— Врешь.

— Право. Никитушка сказывалъ, что очень обижается.

— Врешь, говорю тебѣ.—Къ брату давно поѣхали дать знать, что барышни прибыли?

— Передъ вторымъ звономъ Борисъ поѣхалъ.

— Отчего такъ долго собирался?

— Сѣдло, говоритъ, никуда не годится, никакой, говоритъ, сбруи нѣтъ. Подъ бабьимъ начальствомъ жить — лучше, говоритъ, камни ворочать. На весь житный дворъ зѣвалъ.

— Его ужъ давно пора со двора долой. А гусаръ не былъ?—совсѣмъ понизивъ голосъ, спросила игуменья.

— Нѣтъ-съ, нынче не было его. Я все смотрѣла, какъ народъ проходилъ и выходилъ, а только его не было: врать не хочу.

— То-то. Если ты только врешь на нее...

— Вотъ убей меня Богъ на семъ мѣстѣ!

— Ну, ужъ половину соврала. Я съ ней говорила и изъ глазъ ея вижу, что она ничего не знаетъ и въ помышленіи не имѣетъ.

— Да вѣдь я и не докладала, что она чѣмъ-нибудь тутъ причина, а я только...

— Врешь, докладывала.

— Нѣтъ, матушка, вѣрно говорю: не докладывала я ничего о ней, а только докладала точно, что онъ это, какъ взойдетъ въ храмъ Божій, такъ уставитъ въ нее свои бѣльмы поганыя и такъ и не сводитъ.

— Глядѣть никому нельзя запретить, а если другое что...

— Нѣтъ, другого прочаго до сихъ поръ точно, что ужъ не замѣчала, такъ не замѣчала, и грѣха брать на себя не хочу.

— А что Дороѳея!

— Трезвонитъ-съ.

— Г-мъ! усмирилась?

— Нѣтъ-съ. И ни вотъ капельной капельки.

— Все свое.

— Умру, говоритъ, а правду буду говорить. Мнѣ, говоритъ, сработать на себя ничего некогда, пусть казначею за покупками посылаютъ. На то она, говоритъ, казначея, на то есть лошади, а я не кульеръ какой-нибудь, чтобъ летать. Нравная женщина!

— Я ее успокою.

— Владыкѣ, говоритъ, буду жаловаться. Хочетъ въ другой монастырь проситься.

— Что-о! въ другой монастырь?

— Да-съ. Такъ разсуждала.

— Въ другой монастырь! А! ну, посмотримъ, какъ ее переведутъ въ другой монастырь. Разуй меня и иди спать.— добавила игуменья.

Лиза повернулась на кровати и шепнула:

— Вонъ оно, мѣщанство-то!

— Да, — также шопотомъ отвѣчала Женни, и дѣвушки, завернувшись въ одѣяло, обнялись другъ съ другомъ.

А мать Агнія тихо вошла, перекрестила ихъ, поцѣловала въ головы, потомъ тихо перешла за перегородку, упала на колѣни и начала читать положенную монастырскимъ уставомъ полунощницу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Родныя липы.

Село Мерево отстоитъ сорокъ верстъ отъ губернскаго города и семь отъ уѣзднаго, въ которомъ отецъ Гловацкій служитъ смотрителемъ уѣзднаго училища. Село Мерево стоитъ на самой почтовой дорогѣ. Въ немъ около двухсотъ крестьянскихъ дворовъ, каменная церковь и два помѣщичьи дома. Одинъ изъ господскихъ домовъ, построенный на крутомъ, обрывистомъ берегу рѣки, принадлежитъ вдовѣ камергера Мерева, а другой, утопающій въ зелени сада, разросшагося на роскошной почвѣ лугового берега рѣки Рыбницы, кавалерійскому полковнику и мѣстному уѣздному предводителю дворянства Егору Николаевичу Бахареву. Деревня вытянута по обѣ стороны рѣки, и какъ разъ про-

тивъ сада Бахаревыхъ, доходящаго до самаго берега, черезъ рѣку есть мостъ.

Былъ девятый часъ вечера. Если бъ я былъ поэтъ, да еще хорошій поэтъ, я бы непремѣнно описалъ вамъ, каковъ былъ въ этотъ вечеръ воздухъ и какъ хорошо было въ такое время сидѣть на лавочкѣ подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, глядя на зеркальную поверхность тихой рѣки и запоздалыхъ овецъ, съ блеяніемъ перебѣгавшихъ по опустѣвшему мосту. Кругомъ тихо, тихо, и все надвигается сгущающійся сумракъ, а между тѣмъ какъ-то все видишь: только всѣ предметы принимаютъ какіе-то гигантскіе размѣры, какіе-то фантастическіе образы. Верстовой столбъ представляется великаномъ и совсѣмъ какъ будто идетъ, какъ будто вотъ-вотъ нагонитъ; надбрежная ракита смотритъ горою, и запоздалая овца, торопливо перебѣгающая по разошедшимся половицамъ моста, такъ хорошо и такъ звучно стучитъ своими копытками, что никакъ не хочется вѣрить, будто есть люди, равнодушные къ красотамъ природы, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вечеромъ на каменномъ порожкѣ инвалиднаго дома, что̀ чувствуешь только припоминая эти милыя, теплыя ночи, когда и сонная рѣка, покрывающаяся туманной дымкой, колеблющаяся возлѣ вашихъ ногъ луговая травка и коростель, дерущій свое горло на противоположномъ косогорѣ, говорятъ вамъ: мы всѣ одно, мы всѣ природа, будемъ тихи теперь, теперь такая пора тихая. Въ деревняхъ мало такихъ индифферентныхъ людей и то, всего чаще, это бываютъ или барышни, или барыни. Деревенскій человѣкъ, какъ бы ни мала была степень его созерцательности, какъ бы ни велики были гнетущія его нужды и заботы, всегда чутокъ къ тому, что̀ происходитъ въ природѣ. Никогда онъ утромъ не приметъ къ сердцу извѣстнаго вопроса такъ, какъ приметъ его въ густыя сумерки или въ палящій полдень.

Итакъ, подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, надъ самою рѣкою, была прилажена длинная дощатая скамейка, на которой теперь сидитъ цѣлое общество. Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, высокій, плотный мужчина, съ огромнѣйшими сѣдыми усищами, толстымъ славянскимъ носомъ, дѣтски веселыми и дѣтски простодушными голубыми глазами. На лѣвой щекѣ у него широкій бѣлый шрамъ отъ сабельнаго удара. Одѣтъ онъ въ голубую гусарскую

венгерку съ довольно полинялыми шнурами и въ форменной военной фуражкѣ. Онъ куритъ огромную нѣмецкую трубку, выпуская изъ-подъ своихъ сѣдыхъ, прокопченыхъ усищъ цѣлыя облака дыма, который по тихому вѣтерку прямо ползетъ на лицо сидящихъ возлѣ Бахарева дамъ и отъ котораго дамы, ничего не говоря, безцеремонно отмахиваются платками. Въ колѣняхъ у него сидитъ старая легавая сука. Сумбека, стоившая будто бы когда-то тысячу рублей, которую Егору Николаевичу нѣсколько разъ за нее даже и давали, но ни разу не дали. Бахаревъ сидитъ вторымъ отъ края; справа отъ него помѣщаются четыре женщины и въ концѣ ихъ одна стоящая фигура мужескаго рода, а слѣва сидитъ очень высокій и очень тонкій человѣкъ, одѣтый совершенно такъ, какъ одѣваются польскіе ксендзы: длинный черный сюртукъ до пятъ, черный двубортный жилетъ и черныя панталоны, заправленныя въ голенища козловыхъ сапожекъ, а по жилету часовой шнурокъ, сплетенный изъ русыхъ женскихъ волосъ. Онъ уже совсѣмъ сѣдъ, гладко выбритъ и коротко стрижется. Въ живыхъ черныхъ глазахъ этого лица видно много уцѣлѣвшаго огня и нѣжности, а характерные заломы въ углахъ тонкихъ губъ говорятъ о силѣ воли и сдержанности. Это смотритель уѣзднаго училища, Петръ Лукичъ Гловацкій. Возлѣ Гловацкаго, заложивъ за спину руки, стоитъ вольнонаемный конторщикъ, мѣщанинъ Наркизъ Ѳеодоровъ Перепелицынъ. Ему лѣтъ подъ пятьдесятъ, онъ полонъ, приземистъ, съ совершенно краснымъ лицомъ и синебагровымъ носомъ, вводящимъ всѣхъ въ заблужденіе насчетъ его склонности къ спиртнымъ напиткамъ, которыхъ Перепелицынъ не пилъ отъ роду. Онъ въ синемъ сюртукѣ, бѣломъ жилетѣ и штанахъ бланжеваго трико. Слѣва стоитъ законная супруга предводителя, пріобрѣтенная посредствомъ ночного похищенія, Ольга Сергѣевна, въ бѣломъ чепцѣ очень стараго и очень своеобычнаго фасона, въ марсельновомъ темненькомъ платьѣ безъ кринолина и въ большомъ красномъ французскомъ платкѣ, въ который она безпрестанно самымъ тщательнымъ образомъ закутывала съ головы до ногъ свою сухощавую фигурку. Рядомъ съ матерью сидитъ старшая дочь хозяевъ, Зинаида Егоровна, второй годъ вышедшая замужъ за помѣщика Шатохина, очень недурная собою особа съ блѣдно-сахарнымъ лицомъ и капризною

верхнею губкою; потомъ матушка попадья, — очень полная женщина въ очень узкомъ темненькомъ платьѣ, и ея дочь, очень тоненькая, миловидная дѣвушка въ очень широкомъ платьѣ, а, наконецъ, Соня Бахарева. Она нѣсколько похожа на сестру Зину и нѣсколько напоминаетъ Лизу, но все-таки она болѣе сестра Зины, чѣмъ Лизы. У нея очень хорошіе каштановые волосы и очаровательный свѣженькій ротикъ. Вообще, это барышня, какихъ много: существо мелочно-самолюбивое, тирански-жестокое и сентиментально-мечтательное. Такое существо, которое, пока растетъ, такъ ничего въ немъ нѣтъ, а вырастетъ — станетъ ни швецъ, ни жнецъ, ни въ дуду игрецъ. Противъ Сони и дочери священника сидитъ на зеленой муравкѣ человѣкъ лѣтъ двадцати восьми или тридцати; на немъ парусинное пальто, такія же панталоны и пикейный жилетъ съ турецкими букетами, а на головѣ ветхая студенческая фуражка съ голубымъ околышемъ и просаленнымъ дномъ. Это кандидатъ юридическихъ наукъ Юстинъ Феликсовичъ Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но очень непрезентабельна: онъ невысокъ ростомъ, сутулъ, съ широкою, впалой грудью, огромными руками и большою головою съ волосами самаго неопредѣленнаго цвѣта. Эта голова составляетъ самую рѣзкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у него постоянно какъ будто падаетъ и въ этомъ паденіи тянетъ его то въ ту, то въ другую сторону, безъ всякаго на то соизволенія ея владѣльца.

Все это общество, сидя противъ меревскаго моста, ожидало нашихъ героинь, и нѣкоторые изъ его членовъ уже начинали терять терпѣніе.

— Вѣрно, не пріѣдутъ сегодня, — замѣтила матушка попадья, опасаясь, чтобы батрачка безъ нея не поставила квасить неочередный кубанъ.

— Очень можетъ быть, — поддержала ее Ольга Сергѣевна, по мнѣнію которой ни одинъ разумный человѣкъ вечеромъ не долженъ былъ оставаться надъ водою.

— Вовсе этого не можетъ быть, — возразилъ Бахаревъ: — сестра пишетъ, что онѣ выѣдутъ тотчасъ послѣ обѣда; — значитъ, ужъ если считать самое позднее, такъ это будетъ часа въ четыре, въ пять. Тутъ около пятидесяти верстъ; ну, пять часовъ проѣдутъ и будутъ.

— А можетъ-быть раздумали. — слабо возразила Ольга Сергѣевна.

— Не можетъ этого быть, потому что это было бы глупо, а Агнія дурить не охотница.

— Въ дорогѣ что-нибудь могло случиться скорѣе. — проговорилъ сквозь зубы Гловацкій.

— Это такъ: это могло случиться: лошади и экипажъ сдѣлали большую дорогу, а у Никиты пустосвята вѣтеръ въ башкѣ ходитъ,—не осмотрѣлъ навѣрное.

— Верхового не послать ли-съ навстрѣчу? — предложилъ Перепелицынъ.

— Ну... подождемъ часочекъ еще: если не будетъ ихъ, тогда нужно будетъ послать.

— Чѣмъ посылать, такъ лучше жъ самимъ ѣхать,—опять пропѣдилъ Гловацкій.

— И то правда. Только если мы съ Петромъ Лукичемъ уѣдемъ, такъ ты, Нарцизъ, смотри! Не моргай тутъ... дѣйствуй. Чтобъ все какъ говорилъ... понимаешь: хлопсъ-хлопсъ, и готово.

— Понимаю-съ.

— То-то, а то вѣдь тамъ, небось, въ носки жарятъ.

— Какъ можно-съ?

— Ну, да, толкуй: можно-съ... Эхъ, Зина, Алексѣя-то твоего нѣтъ!

— Да, нѣтъ,—простонала Зина.

— Чудакъ, право, какой! Семейная, можно сказать, радость, а онъ запропастился.

Зина глубоко вздохнула, склонила на бокъ головку и, скручивая пальчиками кисточку своей мантиліи, печально обиженнымъ тономъ снова простонала:

— Я ужъ къ этому давно привыкла.

— Давно-о?—спросилъ старикъ.

— Да. Это всегда такъ. Стоитъ мнѣ пожелать чего-нибудь отъ мужа, и этого ни за что не будетъ.

— Что ты вздоръ-то говоришь, матушка! Алексѣй мужикъ добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса какая-нибудь, что онъ тебѣ на зло все будетъ дѣлать.

— Какой ты странный, Егоръ Николаевичъ,—томно вмѣшалась Ольга Сергѣевна:—ужъ вѣрно женщина имѣетъ причины такъ говорить, когда говоритъ.

— Нѣтъ, это еще не вѣрно.

— Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотверженное существо, станетъ лгать, выдумывать, клеветать на человѣка, съ которымъ она соединена неразрывными узами! Странны ваши сужденія о дочери, Егоръ Николаевичъ.

— А ваши еще страннѣе и еще вреднѣе. Дуйте, дуйте ей, сударыня, въ уши-то, что она несчастная, ну и въ самомъ дѣлѣ увидите несчастную. Москва вѣдь отъ грошовой свѣчи сгорѣла. Вы вотъ сегодня все выболтали ужъ, такъ и беретесь снова за старую пѣсню.

— Я не болтаю, какъ вы выражаетесь, и не дую никому въ уши, а я...

Но въ это время за горою послышались ритмическіе удары копытъ скачущей лошади и вслѣдъ за тѣмъ показался знакомый всадникъ, несшійся во весь опоръ къ спуску.

— Костикъ! — вскрикнулъ Бахаревъ, быстро поднимаясь въ тревогѣ со скамейки.

— Онъ-съ,— такъ же тревожно отвѣчалъ конторщикъ.

Всѣ встали съ своихъ мѣстъ и торопливо пошли къ мосту.

Между тѣмъ форейторъ Костикъ, проскакавъ половину моста, замѣтилъ господъ и, поднявъ фуражку, кричалъ:

— Ѣдутъ! Ѣдутъ!

— Ѣдутъ? Гдѣ ѣдутъ? — спрашивалъ Бахаревъ, теряясь отъ волненія.

— Сейчасъ ѣдутъ, за меревскими овинами ужъ.

— А! за овинами... Боже мой!.. Смотри, Наринъ... ахъ, Боже...— и старикъ побѣжалъ рысью по мосту, вдогонку за Гловацкимъ, который уже шагалъ на той сторонѣ рѣки, наискось по направленію къ довольно крутому спиралеобразному спуску.

Дамы шли тоже такъ торопливо, что Ольга Сергѣевна, нѣсколько разъ споткнувшись на подолъ своего длиннаго платья, наконецъ пріостановилась и, обратясь къ младшей дочери, сказала:

— Мнѣ неловко совсѣмъ идти съ Матузалевной, понеси ее, пожалуйста, Сонечка. Да нѣтъ, ты ее задушишь; ты все это какъ-то такъ дѣлаешь, Богъ тебя знаетъ! Саша, дружочекъ, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла изъ-подъ шали Ольги Сергѣевны бѣлую кошку и положила ее на свои руки.

— Осторожнѣй, дружочекъ, она не такъ здорова,— скоро-

говоркою добавила Ольга Сергѣевна и, приподнявъ передъ своего платья, засѣменила вдогонку за опередившими ее дочерьми и попадьею.

Кандидата уже не было съ ними. Увидѣвъ бѣгущихъ стариковъ, онъ самъ не выдержалъ и, не размышляя долго, во всѣ лопатки ударился навстрѣчу ѣдущимъ.

Три лица, бросившіяся на гору, всѣ разбились другъ съ другомъ. На половинѣ спуска, отдуваясь и качаясь отъ одышки, стоялъ Бахаревъ, стараясь разстегнуть скорѣе шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть болѣе воздуха; немного впереди его торопливо шелъ Гловацкій, но тоже безпрестанно спотыкался и задыхался. Немощная плоть стариковъ плохо повиновалась бодрости духа. Зато Помада, уже преодолѣвъ самую большую крутизну горы, настоящимъ орловскимъ рысакомъ несся по болѣе отлогой косинѣ верхней части спуска. Онъ ни на одно мгновенье не призадумался, что онъ скажетъ дѣвушкамъ, которыя его никогда не видали въ глаза и которыхъ онъ вовсе не знаетъ. Завидя впереди на дорогѣ двѣ бѣлѣвшіяся фигуры, онъ удвоилъ рысь и въ одно мгновеніе сталъ противъ дѣвушекъ, нѣсколько испуганныхъ и еще болѣе удивленныхъ его появленіемъ.

— Здравствуйте! —сказалъ онъ, задыхаясь, и затѣмъ не могъ вспомнить ни одного слова.

— Здравствуйте,— растерянно отвѣчали дѣвицы.

Помада снялъ фуражку, обтеръ ея дномъ раскраснѣвшееся лицо и совсѣмъ растерялся.

— Кто вы?—спросила Лиза.

— Я?.. Тутъ ждутъ... идутъ вотъ сейчасъ... идите...

— Кто? гдѣ ждетъ?

— Ваши.

Дѣвушки пошли, за ними пошелъ молча Помада, а сзади ихъ, изъ-за перваго поворота спуска, заскрипѣлъ заторможеннымъ колесомъ тарантасъ.

— Евгенія! дочь! Женичка! — раздалось впереди, и изъ окружающей ночной темноты выдѣлилась длинная фигура.

Гловацкая отгадала отцовскій голосъ, вскрикнула, бросилась къ этой фигурѣ и, охвативъ своими античными руками худую шею отца, плакала на его груди тѣми слезами, которыми, по сказанію нашего народа, ангелы Божіи радуются на небесахъ. И ни Помада, ни Лиза, безотчетно остановив-

шіеся въ молчаніи при этой сценѣ, не замѣтили, какъ къ нимъ колтыхалъ ускореннымъ, но не скорымъ шагомъ, Бахаревъ. Онъ не могъ ни слова произнесть отъ удушья и, не добѣжавъ пяти шаговъ до дочери, сдѣлалъ надъ собой отчаянное усиліе. Онъ какъ-то прохрипѣлъ:—«Лизокъ мой!»—и, прежде чѣмъ дѣвушка успѣла сдѣлать къ нему шагъ, споткнулся и упалъ прямо къ ея ногамъ.

— Папа, милый мой, вы зашиблись?—спрашивала Лиза, наклонясь къ отцу и обнимая его.

— Нѣтъ... ничего... споткнулся... старъ становлюсь,—лепеталъ эксъ-гусаръ голосомъ, прерывающимся отъ радостныхъ слезъ и удушья.

— Вставайте же, милый вы мой.

— Постой... это ничего... дай мнѣ еще поцѣловать твои ручки, Лизокъ... Это... ничего... охъ!

Бахаревъ стоялъ на колѣняхъ на пыльной дорогѣ и цѣловалъ дочернины руки, а Лиза, опустившись къ нему, цѣловала его сѣдую голову. Обѣ пары давно-давно не были такъ счастливы и обѣ плакали. Между тѣмъ подошли дамы, и пріѣзжія дѣвушки стали переходить изъ объятій въ объятія. Старики, прійдя въ себя послѣ перваго волненія, обняли другъ друга, поцѣловались, опять заплакали, и все общество, осыпая другъ друга разспросами, шумно отправилось подъ гору. Внѣ всякой радости и внѣ всякаго вниманія оставался одинъ Юстинъ Помада, шедшій нѣсколько въ сторонѣ, пошевеливая по временамъ свою пропотѣвшую подъ масляной фуражкой куафюру.

У самаго моста, гдѣ кончался спускъ, общество нагнало тарантасъ, возлѣ котораго стояла Марина Абрамовна, глядя, какъ Никитушка отцѣплялъ отъ колеса тормозъ, прилаженный еще по допотопному манеру.

— Здорово, ребятки!—крикнулъ Егоръ Николаевичъ, поровнявшись съ тарантасомъ.

— Здравствуйте, батюшка Егоръ Николаевичъ,—отозвались Никитушка и Марина Абрамовна, устремляясь поцѣловать барскую руку.

— Здравствуй, Марина Мишкекъ, здравствуй, Никита Пустосвятъ, — говорилъ Бахаревъ, цѣлуясь съ слугами. — Какъ ѣхали?

— Ничего, батюшка, ѣхали слава Богу.

— Ну, ѣхали, такъ и поѣзжайте. Маршъ! — скомандовалъ онъ.

Тарантасъ поѣхалъ, стуча по мостовинамъ; господа пошли сбоку его по лѣвую сторону, а Юстинъ Помада съ неопредѣленнымъ чувствомъ одиночества, неумолчно вопіющимъ въ человѣкѣ при видѣ людского счастія, безотчетно перешелъ на другую сторону моста и, крутя у себя передъ носомъ сорванный стебелекъ подорожника, брелъ одиноко, смотря на мѣрную выступку усталой пристяжной.

«Что жъ,— размышлялъ самъ съ собою Помада.—Стоитъ вѣдь вытерпѣть только. Вѣдь не можетъ же быть, чтобъ на мою долю таки-такъ ужъ никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встрѣчи, вѣдь разныя встрѣчи бываютъ!.. Случай какой-нибудь неожиданный... вѣдь бываютъ же всякіе случаи...»

Эти размышленія Помады были неожиданно прерваны молніей, блеснувшей справа изъ-за частокола бахаревскаго сада и раздавшимся тотчасъ же залпомъ изъ пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись въ сторону и прежде чѣмъ Помада могъ что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его подъ себя и, обломивъ утлыя перила, вмѣстѣ съ нимъ свалилась съ моста въ рѣку.

— Что такое? что такое? Рѣжьте скорѣй постромки!— крикнулъ Бахаревъ, подскочивъ къ испуганнымъ лошадямъ и держа за поводъ дрожащую коренную, между тѣмъ какъ упавшая пристяжная барахталась, стоя по брюхо въ водѣ, съ оторваннымъ поводомъ и одною только постромкою. Набѣжали люди, благополучно свели съ моста тарантасъ и вывели, не входя вовсе въ воду, упавшую пристяжную.

— Водить ее, водить теперь, гонять; она напилась воды горячая!—кричалъ старый кавалеристъ.

— Слушаемъ, батюшка, погоняемъ.

— Слушаемъ! что надѣлали? Черти?

— Мы, Егоръ Николаевичъ, выслушамши ваше приказаніе...

— Что приказаніе?—кричалъ разсерженный и сконфуженный старикъ.

— Такъ какъ было ваше на то приказаніе.

— Какое мое приказаніе? Такого приказанія не было.

— Выпалить приказывали-съ.

— Выпалить,—ну, что же! Гдѣ я приказывалъ выпалить? Я приказалъ салютъ сдѣлать, какъ съ моста съѣдутъ, а вы...

— Не спопашились, Егоръ Николаевичъ.

Тѣмъ и кончилось дѣло на чистомъ воздухѣ. Въ большой свѣтлой залѣ сконфуженнаго Егора Николаевича встрѣтилъ улыбающійся Гловацкій.

— Ну, что, обморокъ небось?—спросилъ его виолголоса Бахаревъ.

— Ничего, ничего,—отвѣчалъ Гловацкій:—все ужъ прошло; дѣти умываться пошли. Все прошло.

— Ну-у,—Бахаревъ перекрестился, и проговорилъ:—слава въ вышнихъ Богу, что на землѣ миръ,—бросилъ на столъ свою фуражку.

— Угораздило же тебя выдумать такую штуку; хорошо, что тѣмъ все и кончилось,—смѣясь, замѣтилъ Гловацкій.

— И не говори лучше! Чортъ ихъ зналъ, что они и этого не сумѣютъ.

— Да этого нужно было ожидать.

— Ну, полно,—знаешь: и на Машку бываетъ промашка. Пойдемъ-ка къ дѣтямъ. А дѣти-то!

— Что дѣти?

— Большія совсѣмъ.

— Дождались, Петръ Пустынникъ.

— Дождались, драбантъ, дождался.

Старики пошли коридоромъ на женскую половину и просидѣли тамъ до полночи. Въ двѣнадцать часовъ поужинали, повторивъ полный обѣдъ, и разошлись спать по своимъ комнатамъ. Во всемъ домѣ разомъ погасли всѣ огни и всѣ заснули мертвымъ сномъ, кромѣ одной Ольги Сергѣевны, которая долго молилась въ своей спальнѣ, потомъ внимательно осмотрѣла въ ней всѣ закоулочки и, отзыбнувъ дверь въ комнату пріѣхавшихъ дѣвицъ, тихонько проговорила:

— Лизочка, нѣтъ ли у тебя моей Матузалевны?

Но Лизочка уже спала, какъ убитая, и, къ крайнему затрудненію матери, ничего ей не отвѣтила.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія.

Какъ только кандидатъ Юстинъ Помада пришелъ въ состояніе, въ которомъ былъ способенъ сознать, что въ

самомъ дѣлѣ въ жизни бываютъ неожиданные и довольно странные случаи, онъ отодвинулся отъ мокрой сваи и хотѣлъ идти къ берегу, но жестокая боль въ плечѣ и въ боку тотчасъ же остановила его. Онъ снова охватилъ ослизшую, мокрую сваю и, прислонясь къ ней лбомъ, остановился въ почти безчувственномъ состояніи. Платье его было все мокро; онъ стоялъ въ холодной водѣ по самый животъ, и ноги его крѣпко увязли въ илистой грязи, покрывающей дно Рыбницы. На небѣ начинало сѣрѣть и по водѣ заклубился легонькій парокъ. Помада дрожалъ всѣмъ тѣломъ и не могъ удержать прыгающихъ челюстей; а въ головѣ у него и стучало, и звенѣло, и все сознавалось какъ-то смутно и неясно. Бѣднякъ то забывался, то снова вспоминалъ, что онъ въ рѣкѣ, изъ которой ему надо выйти и идти домой. Но тутъ, при первой же попыткѣ вывязить затянутыя иломъ ноги, несносная боль снова останавливала его, и онъ снова забывался. Наконецъ, кандидатъ собралъ свои послѣднія силы и, не покидая сваи, началъ потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-по-малу онъ вытянулъ изъ ила одну ногу, потомъ другую, и наконецъ, стиснувъ отъ боли зубы, сдѣлалъ одинъ шагъ, потомъ ступилъ еще десять шаговъ и выбрелъ на берегъ. Ступивъ на землю, Помада остановился, потрогалъ себя за лѣвое плечо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянувъ свой костюмъ и улыбнувшись, Помада проговорилъ:

— Какъ есть чортъ изъ болота, и, вздохнувъ, поплелся по направленію къ дому камергерши Меревой.

На господскомъ дворѣ еще все спало. Только старая легавая собака, стоявшая у коновязи, передъ которою чистили лошадей, увидя входящаго кандидата, зѣвнула, сгорбилась, потомъ вытянулась и опять стала укладываться, выбирая посуше мѣстечко на росной травѣ. Дворъ, принадлежащій къ дому камергерши, былъ не изъ модныхъ, не изъ новыхъ помѣщичьихъ дворовъ. Онъ былъ очень великъ, но со всѣхъ сторонъ обнесенъ различными хозяйственными строеніями. Большой одноэтажный домъ, немножко похожій снаружи на уѣздную городскую больницу, занималъ почти цѣлую сторону этого двора. Окна парадныхъ комнатъ дома выходили на гору, на которой былъ разбитъ новый англійскій садъ, и подъ ней катилась свѣтлая Рыбница, а всѣ жилыя и

вообще непарадныя комнаты смотрѣли на дворъ. Тутъ же со двора были построены въ рядъ четыре подъѣзда: парадный, съ котораго былъ ходъ на мужскую половину, женскій чистый, женскій черный и, наконецъ, такъ-называемый ковровый подъѣздъ, которымъ ходили въ комнаты, занимаемыя постоянно швеями, кружевницами и коверщицами, экстренно—гостями женскаго пола и приживалками. По лѣвой сторонѣ двора, прямо противъ воротъ, тянулся рядъ службъ; тутъ были конюшни, денники, сараи, ледникъ, погребъ и нѣсколько амбаровъ. Какъ разъ противъ дома, по ту сторону двора, тянулась длинная рѣшетка, отгораживавшая дворъ отъ стараго сада, а съ четвертой стороны двора стояла кухня, прачечная, людская, контора, ткацкая и столярная. Всѣ эти заведенія помѣщались въ трехъ флигеляхъ, по два въ каждомъ. Всѣ три флигеля были, что называется, ростъ въ ростъ, колосъ въ колосъ и голосъ въ голосъ. Фундаменты сѣрые, стѣны желтыя, оконницы бѣлыя, крыши красныя. Три окна въ рядъ, посрединѣ крыльцо, и опять три окна.

Въ одномъ изъ этихъ флигелей обиталъ Юстинъ Помада. Онъ занималъ два дощатые чуланчика въ флигелѣ, вмѣщавшемъ контору и столярную.

Стоитъ разсказать, какъ Юстинъ Помада попалъ въ эти чуланчики, а при этомъ разсказать кое-что и о прошедшемъ кандидата, съ которымъ мы еще не разъ встрѣтимся въ нашемъ романѣ.

Юстинъ Помада происходилъ отъ польскаго шляхтича Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанціи-Августовны Помады. Отецъ кандидата, прикосновенный какъ кимъ-то бокомъ къ польскому возстанію 1831 года, былъ сосланъ съ женою и малолѣтнимъ Юстиномъ въ одинъ изъ великороссійскихъ губернскихъ городовъ. Феликсъ Помада былъ человѣкъ очень добрый, но довольно пустой. Долго онъ не находилъ себѣ въ ссылкѣ никакого занятія. Наконецъ-то, наконецъ онъ какъ-то опредѣлился писаремъ въ магистратъ и побиралъ тамъ маленькія, невинныя взяточки, которыя, не столько по любви къ пьянству, сколько по слабости характера, тотчасъ же послѣ присутствія пропивалъ съ своими магистратскими товарищами въ трактирѣ «Адріанополь» купца Лямина. Всю семью содержала мать Юстина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень

нѣжная мать, Константія Помада съ горемъ видѣла, что на мужа ни ей, ни сыну надѣяться нечего, сообразила, что слезами здѣсь ничему не поможешь, а жалобами еще того менѣе и стала изобрѣтать себѣ профессію. Она умѣла довольно скоро и бойко играть на фортепіано легкія вещицы, и особенно знала танцовальную музыку: это она и сдѣлала своимъ ремесломъ. Днями она бѣгала по купеческимъ домамъ, давая полтинные уроки толстоногимъ дщерямъ русскаго купечества, а по вечерамъ часто играла за два цѣлковыхъ на балахъ и танцовальныхъ вечеринкахъ у того же купечества и вообще у губернскаго demi-mond'a. Въ городѣ даже славились ея мазурки и у нея постоянно было столько работы, что она однѣми своими руками могла пропитать пьянаго мужа и маленькаго Юстина. По одиннадцатому году, она записала сына въ гимназію и содержала его всѣ семь лѣтъ до окончанія курса, освобождаясь по протекціи предводителя только отъ вноса пяти рублей въ годъ за сынино ученіе. Феликсъ Помада умеръ отъ перепоя, когда сынъ его былъ еще въ третьемъ классѣ; но его смерть не произвела никакого ущерба въ труженическомъ бюджетѣ вдовы, и она, собирая зернышко къ зернышку, успѣла накопить около ста рублей, назначавшихся на отправку Юстина въ харьковскій университетъ. Въ Харьковѣ у вдовы былъ братъ, служившій чѣмъ-то по винному откупу. Къ нему и былъ отправленъ восемнадцатилѣтній Юстинъ съ гимназическимъ аттестатомъ, письмомъ, облитымъ материнскими слезами, ста рублями и тысячью благословеній. Проводивъ сына, мать Помады взяла квартирку еще потѣснѣе и еще болѣе обрѣзала свои расходы. Все она гоношила, чтобы хоть время отъ времени послать что-нибудь своему милому Юськѣ. Но не велики были и вообще-то ея достатки, а съ отъѣздомъ Юстина они и еще стали убавляться. Молодое купечество и юный demi-monde стали замѣчать, что «портится Помада: выдохлась», что нѣтъ въ ея игрѣ прежней удали, прежняго огня. И точно, словно какіе-то болѣзненные стоны прорывались у нея иной разъ въ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ залихватскихъ любовныхъ мазуркахъ танцоровъ, а къ тому же еще въ городъ пріѣхалъ молодой таперъ-нѣмецъ; началась конкуренція, отодвинувшая вдову далеко на задній планъ, и она черезъ два года послѣ отъѣзда Юстина тихо скончалась, шепча горячую молитву за

сына. Юстину въ Харьковѣ жилось трудно, но занимался онъ съ страшнымъ усердіемъ. Юридическій факультетъ, по которому онъ подвизался, въ то время въ Харьковѣ былъ изъ рукъ вонъ плохъ, и Юстинъ Помада долженъ былъ многое брать самъ, копаясь въ источникахъ. Жилъ онъ у дяди въ каморкѣ, иногда обѣдалъ, а иногда нѣтъ, участія не видалъ ни отъ кого и былъ постояннымъ предметомъ насмѣшекъ за свою неуклюжесть и необычайную влюбчивость, обыкновенно весьма неудачную. Уроковъ Помада никакъ не могъ набрать и имѣлъ только два урока въ домѣ богатаго купца Конопатина, который платилъ ему восемь рублей въ мѣсяцъ за работу съ восемью безтолковыми ослятами.

Это составляло всѣ доходы Помады, и онъ былъ весьма этимъ доволенъ. Онъ былъ, впрочемъ, вѣчно всѣмъ доволенъ, и это составляло, въ одно и то же время, и отличительную черту его характера, и залогъ его счастья въ несчастіи.

Юстинъ Помада только одинъ разъ горевалъ во все время университетскаго курса. Это было, когда онъ получилъ отъ стараго друга своей матери письмо за черной печатью, а тяжелой посылкой образокъ Остробрамской Божіей Матери, которой его поручала, умирая, покойная страдалица. Но потомъ опять все пошло своимъ порядкомъ по-старому. Юстинъ Помада ходилъ на лекціи, бралъ уроки и былъ снова тѣмъ же дѣтски-наивнымъ и безпечнымъ «Корнишономъ», какимъ его всегда знали товарищи, давшіе ему эту кличку. Въ основѣ его безпечности лежала непоколебимая вѣра въ судьбу, поддерживавшая въ немъ самыя неясныя и самыя смѣлыя надежды.

— Все это вздоръ передъ вѣчностью. — говорилъ онъ товарищамъ, указывавшимъ ему на худой сапогъ или лопнувшій подъ мышкою сюртукъ.

Помада оставался спокойнымъ даже тогда, когда инспекторъ, завидѣвъ его лопнувшій сюртукъ, командовалъ ему:

— Извольте отправиться на двое сутокъ въ карцеръ за этотъ безпорядокъ.

Такъ Юстинъ Помада окончилъ курсъ и получилъ кандидатскій дипломъ.

Надо было куда-нибудь пристраиваться. На первый разъ это очень поразило Помаду. Потомъ онъ и здѣсь успокоился,

рѣшилъ, что пока онъ еще поживетъ уроками, «а тѣмъ временемъ что-нибудь да подвернется».

И точно. «тѣмъ временемъ» подвернулась вотъ какая оказія. Встрѣтилъ Помаду на улицу тотъ самый инспекторъ, который такъ часто сажалъ его въ карцеръ за прорванный подъ мышками сюртукъ, да и говоритъ:

— Не хотите ли вы мѣста брать? Очень, очень хорошее мѣсто: у очень богатой дамы одного мальчика приготовить въ пажескій корпусъ.

Юстинъ Помада такъ и подпрыгнулъ. Не столько его обрадовало мѣсто, сколько нечаянность этого предложенія, въ которой онъ видѣлъ давно ожидаемую имъ заботливость судьбы. Мѣсто было точно хорошее: Помадѣ давали триста рублей, помѣщеніе, прислугу и все содержаніе у помѣщицы, вдовы камергера, Меревой. Онъ мигомъ собрался и «пошилъ» себѣ «цивильный» сюртукъ, «брюндели», пальто и отправился, какъ говорятъ въ Харьковѣ, «въ Россію», въ извѣстное намъ село Мерево.

Это было за семь лѣтъ передъ тѣмъ, какъ мы встрѣтились съ Юстиномъ Помадою подъ частоколомъ бахаревскаго сада.

Два года промелькнули для Помады какъ одинъ день счастливый. Другой, въ его положеніи, можетъ-быть, нашелъ бы много непріятнаго, другого задѣвали бы и высокомѣрное, нѣсколько презрительное третированіе камергерши, и совершенное игнорированіе его личности жирнымъ управителемъ изъ дворовыхъ, и холопское нахальство камергерской прислуги, и неумѣстныя шутки барченка, но Помада ничего этого не замѣчалъ. Его плѣняли поля, то цвѣтущія и колеблющіяся переливами зрѣющихъ хлѣбовъ, то блестящія дѣвственною чистотою бѣлаго снѣга, и онъ жилъ да поживалъ, любя эти поля и читая получавшіеся въ камергерскомъ домѣ, по заведенному изстари порядку, журналы, которыхъ, тоже по изстари заведенному порядку, никто въ цѣломъ домѣ никогда не читалъ. А «тѣмъ временемъ» ученикъ Помады пришелъ въ подобающій возрастъ, и толстый управитель сталъ собираться въ Петербургъ для представленія его въ пажескій корпусъ. Старуха камергерша давно никуда не выѣзжала и почти никого не принимала къ себѣ, находя всѣхъ сосѣдей людьми, недостойными ея знакомства. Съ нею жили три компань-

онки. внучекъ, котораго приготовлялъ къ корпусу Помада. и внучка, дѣвочка лѣтъ семи. Мать этихъ дѣтей, разставшись съ мужемъ, вѣтрилась гдѣ-то за границей и о ней здѣсь никто не думалъ.

Съ отъѣздомъ ученика въ Питеръ. Помада было опять призадумался, что̀ съ собой дѣлать. но добрая камергерша позвала его какъ-то къ себѣ и сказала:

— Monsieur Pomada! Если вы не имѣете никакихъ опредѣленныхъ плановъ насчетъ себя, то не хотите ли вы пока заняться съ Леночкой? Она еще мала. серьезно учить ее рано еще, но вы можете ее такъ, шутя... ну, понимаете... поучивать, читать ей чистописаніе... Я, право. дурно говорю по-русски, но вы меня понимаете?

Помада отозвался. что совершенно понимаетъ. и остался читать дѣвочкѣ чистописаніе.

«А тѣмъ временемъ,— думалъ онъ.—что-нибудь и опять трафится».

Такъ опять уплылъ годъ и другой. и Юстинъ Помада все читалъ чистописаніе. Въ это время камергерша только два раза имѣла съ нимъ разговоръ. касавшійся его личности. Въ первый разъ, черезъ годъ послѣ отправленія внучка. она объявила Помадѣ. что она приказала управителю расчесть его за прошлый годъ по сту пятидесяти рублей, прибавивъ при этомъ:

— Вы сами, monsieur Помада. знаете. что за Леночку нельзя платить столько. сколько я платила за Теодора.

А во второй разъ, опять черезъ годъ. она сказала ему. что намѣрена освѣжить стѣны въ домѣ новыми бумажками и потому проситъ его перейти на нѣкоторое время въ конторскій флигель. Юстина Помаду перевели въ два дощатые чулана, устроенные при столярной въ конторскомъ флигелѣ, и такъ онъ тутъ и остался на застольной, несмотря на то, что стѣны его бывшихъ комнатъ въ домѣ уже второй разъ подговаривались, чтобы ихъ послѣ трехъ лѣтъ снова освѣжили бумажками. А «тѣмъ временемъ» въ село перевели новаго священника съ молодой дочкой. Бахаревъ лѣтомъ сталъ жить въ деревнѣ. Помада познакомился съ нимъ на охотѣ и сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ бахаревскаго дома. И семья священника. и семья Бахарева не питали къ Помадѣ особеннаго расположенія, но привыкли къ нему какъ-то и считали его своимъ человѣкомъ. Помада

былъ этимъ очень доволенъ и, по нѣжности своей натуры, на-смерть привязался ко всѣмъ членамъ этихъ семействъ совершенно безразличною привязанностью. Онъ любилъ и самого прямодушнаго Бахарева, и его пискливую половину, и слабонервную Зину, и пустую Софи, и матушку попадью, и веселаго отца Александра, посвящавшаго все свое свободное время изобрѣтенію perpetuum mobili. Особымъ расположеніемъ Помады пользовался только одинъ уѣздный врачъ. Дмитрій Петровичъ Розановъ, лѣкарь cum eximia laude. Онъ былъ лѣтъ на пять старѣе кандидата, составилъ себѣ въ уѣздѣ весьма мудреную репутацію и имѣлъ неотразимый авторитетъ надъ Юстиномъ Помадой. Помада часто съ нимъ спорилалъ и возмущался противъ его «грубыхъ положеній», но очень хорошо зналъ, что послѣ его матери Розановъ единственное лицо въ мірѣ, которое его любитъ, и самъ любилъ его безъ мѣры. Управитель ненавидѣлъ Помаду Богъ вѣсть за что, и дворня его тоже не любила. Даже столярный ученикъ, пятнадцатилѣтній мальчикъ Епифанька, отряженный для услугъ Помадѣ, ненавидѣлъ его отъ всего сердца и повиновался только изъ страха, что неравно наѣдетъ лѣкарь и оттаскаетъ его, Епифаньку, за виски. Кого бы вы ни спросили о Помадѣ, какой онъ человѣкъ,—старъ и малъ отвѣтитъ только: «такъ, изъ поляковъ», и словно въ этомъ «изъ поляковъ» высказывалось категорическое обвиненіе Помады въ такомъ проступкѣ, послѣ котораго о немъ ужъ и говорить не стоило. А въ существѣ-то Помаду никакъ нельзя было и назвать полякомъ. Выросши въ Россіи и воспитавшись въ русскихъ училищахъ, онъ былъ совершенно русскій и даже самъ не считалъ себя полякомъ. Отецъ на него не имѣлъ никакого вліянія, и если что въ немъ отражалось отъ его дѣтской семейной жизни, то это развѣ вліяніе матери, которая жила вѣчными упованіями на справедливость рока.

И, слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,
Въ надежду на Бога
Хранила все дѣтскую вѣру.

Но какъ бы тамъ ни было, а только Помаду въ меревскомъ дворѣ такъ ни за что, ни про что, а никто не любилъ. До такой степени не любили его, что когда онъ, протащившись мокрый по двору, простоналъ у двери: «отворите,

Бога ради, скорѣе», столяръ Алексѣй, слышавшій этотъ стонъ съ перваго раза, заставилъ его простонать еще десять разъ, прежде чѣмъ протянулъ съ примостка руку и отсунулъ клямку.

— Епифаньку, сдѣлай милость, пошли, Алексѣй, — простоналъ снова Помада, перенося за порогъ ногу.

— Спитъ Епифанька. Гдѣ теперь вставать ребенку,— отвѣчалъ столяръ, посылающій этого же Епифаньку ночью за шесть верстъ къ своей разлапушкѣ.

— Побуди, Бога ради,—я расшибся на-смерть.

— Гдѣ такъ?

— О, Господи! Да полно тебѣ разспрашивать, — побуди, говорю.

Столяръ сталъ чесаться, а Помада вошелъ въ свои апартаменты.

Въ первой комнатѣ, имѣвшей три шага въ квадратѣ, у него стоялъ ушатъ съ водой, плетеный стулъ съ продавленной плетенкой и мочальная швабра. Тутъ же выходило устье варистой печи, задернутое полоской диконькаго, пестраго ситца, навѣшеннаго на шнурочкѣ. Во второй комнатѣ стояла желтая, деревянная кроватка, покрытая кашемировымъ одѣяломъ, съ одною подушкою въ довольно грязной наволочкѣ, черный столикъ съ большою круглою чернильницею синяго стекла, полки съ книгами, три стула и старая, довольно хорошая отоманка, на которой обыкновенно, заѣзжая къ Помадѣ, спалъ лѣкарь Розановъ.

Кандидатъ, какъ вошелъ, такъ и упалъ на кровать и громко вскрикнулъ отъ ужасной боли въ плечѣ и колѣнѣ.

Долго лежалъ онъ, весь мокрый, охая и стоная, прежде чѣмъ на порогѣ показался Епифанька и недовольнымъ тономъ пробурчалъ:

— Что вамъ нужно?

— Гдѣ ты бываешь, паршивый? — сквозь зубы проговорилъ Помада.

— Гдѣ? Напрасно не сидѣлъ для васъ всю ночь.

— Стащи съ меня сапоги.

Мальчикъ глянулъ на сапоги и сказалъ:

— Гдѣ это такъ вобрались?

— Я расшибся; потише, Бога ради.

Вволю накричался Помада, пока его раздѣлъ Епифанька, и упалъ безъ памяти на жесткій тюфякъ.

Въ обѣдъ пришла костоправка, старушка - однодворка. Стали будить Помаду, но онъ ничего не слыхалъ. У него былъ глубокій обморокъ, вслѣдъ за которымъ почти непосредственно начался жестокій бредъ и страшный пароксизмъ лихорадки.

Такое состояніе у больного не прекращалось цѣлыя сутки: костоправка растерялась и не знала, что дѣлать. На другое утро доложили камергеринѣ, что учитель ночью гдѣ-то расшибся и лежитъ теперь безъ ума, безъ разума. Та испугалась и послала въ городъ за Розановымъ, а между тѣмъ старуха, не предвидя никакой возможности разобрать, что дѣлается въ плечевомъ сочлененіи подъ высоко-поднявшеюся опухолью, все «вспаривала» больному плечо разными травками да муравками. Не нашли Розанова въ городѣ, — былъ гдѣ-то на слѣдствіи, а Помада все оставался въ прежнемъ состояніи, переходя изъ лихорадки въ обморокъ, а изъ обморока въ лихорадку. И страшно стоналъ онъ, и хотѣлось ему метаться, но при первомъ движеніи нестерпимая боль останавливала его, и онъ снова впадалъ въ безпамятство.

На третьи сутки, въ то самое время, какъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, возсѣдая за прощальнымъ завтракомъ, по случаю отъѣзда Женни Гловацкой и ея отца въ уѣздный городокъ, вспомнилъ о Помадѣ, Помада въ первый разъ пришелъ въ себя, открылъ глаза, повелъ ими по комнатѣ и, посмотрѣвъ на костоправку, заснулъ снова. До вечера онъ спалъ спокойно, и вечеромъ, снова проснувшись, попросилъ чаю.

Ему подали чай, но онъ не могъ поднять руки, и старуха поила его съ блюдца.

— Что, Николавна? — проговорилъ онъ, обращаясь къ давно ему знакомой костоправкѣ.

— Что, батюшка?

— Худо мнѣ, Николавна.

— Ничего, батюшка, пройдетъ,—и не то, да проходитъ.

— А что у меня такое?

— Ничего, родной.

— Сломано что, или свихнуто?

— Опухъ очень большой, кормилецъ, ничего знать подъ нимъ, подъ опухомъ-то, нельзя.

— Гдѣ опухоль?—тихо спросилъ Помада.

— Да вотъ плечико-то, видишь, какъ разнесло.

— А!

— Да, вздумишись все.

Больной снова завелъ глаза, но ему ужъ не спалось.

— Николавна!—позвалъ онъ.

— Что, батюшка?

— Ты за мной хорошо глядѣла?

— Какъ же не глядѣть!

— То-то. Я тебя за это награждать желаю.

— Спасибо, кормилецъ. Я здли всякаго, здли всякаго завсегда готова, что только могу...

— Я тебѣ штаны подарю,—тихо перебилъ ее съ легкой улыбкой Помада.

— Штаны-ы?—спросила старуха.

— Да. Суконныя.—важныя штаны, со штрипками.

— На что мнѣ твои штаны?

— Зимой будешь ходить. Я тебя научу, что тамъ передѣлать придется. Теплынь будетъ!

— Охъ ты!

— Чего?

— Полно. Нѣшъ я изъ корысти какой! А то взаправду хоть и подари: я себѣ безрукавочку такую, курточку сошью: подари. Только я, вѣдь, не изъ-за этого. Я что умѣю, тѣмъ завсегда готова.

— Да жаль, что ничего не умѣешь-то.

— Ну,—что умѣю, родной.

— Да что жъ умѣешь? Вонъ видишь, говоришь: «опухъ великъ», ничего не разберешь, значитъ.

— Точно, опухъ ужъ очень вздулся, великъ.

— Ахъ!

Помада вздохнулъ и хотѣлъ повернуться лицомъ къ стѣнѣ, но боль его удержала и онъ снова остался въ прежнемъ положеніи.

Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свѣчечку и усѣлась у столика. Помада вспомнилъ мать, ея ласки теплыя, веселую жизнь университетскую, и скучно, скучно ему становилось.

«Что же это, однако, будетъ со мной?» — думалъ онъ и спросилъ:

— А что со мною будетъ, Николавна?

— Ничего, милый, — дохтарь завтра, баютъ, пріѣдетъ. Онъ сичасъ узнаетъ.

— Онъ, значитъ, больше твоего знаетъ?

— Ну,—ученые люди, или мы?

— А ты-то что со мной дѣлала?

— Вспаривала,—что жъ еще дѣлать? Опухъ великъ, ничего нельзя дѣлать.

— Сѣномъ парила?

— Нѣтъ, травками.

— То-то, изъ сѣна?

— Все-то ты пересмѣшничаешь надо мной.

— Да развѣ не все равно травы, что у тебя, что на сѣнникѣ?

Старуха сощипнула со свѣчи, потомъ потянула губы, потомъ вздохнула и проговорила:

— Нѣтъ, милый, есть травы тоже рѣдкія.

— Да ты-то ихъ, Николавна, не знаешь?

— Ну, какъ не знать!

— Ну, разскажи, какія ты знаешь травы рѣдкія-то, что въ сѣнѣ ихъ нѣтъ?

— Что въ сѣнѣ-то нѣтъ! Мало ли ихъ!

— Ну!

— Да мало ли ихъ!

— Да ну же, разскажи, Николавна,—спать не хочется.

— Ну, вотъ тебѣ хошь бы первая теперь трава есть, называется коптырь-трава, растетъ она корешкомъ вверхъ.

Помада засмѣялся и охнулъ.

— Чего ты?

— Ну, какая трава корешкомъ вверхъ можетъ расти?

— А вотъ же растетъ и твѣты у нея подъ землей твѣтутъ.

Помада опять охнулъ и махнулъ рукой, удерживая смѣхъ, причинявшій ему боль.

— Что? не вѣришь? А полисада-трава вонъ и совсѣмъ безъ корня.

— Полно, Николавна,—не смѣши.

— Я и не на смѣхъ это говорю. Есть всякія травы. Напримѣръ, теперь, кто хорошо знается, опять находятъ лепестанъ-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее больше сушишь, то она больше мокнетъ.

— Охъ, будетъ, Николавна, — вздоръ какой ты разсказываешь.

— Нѣтъ, другъ ты мой, не вздоръ это, не вздоръ. Есть всякія травы на свѣтѣ. Есть и въ травахъ-то своя разница. Иная трава больше стоитъ у Господа, а другая — меньше. Иная одно опредѣленіе отъ Бога имѣетъ, а иная и два, и три, и нѣсколько. Есть вотъ трава, такъ называется Адамова голова. Растетъ она возлѣ сильныхъ, рамедныхъ болотъ кустиками, по пяти и по девяти листовъ. Растетъ она въ четыре вершка, вотъ эстакенькая вотъ будетъ. — Старуха показала вершка четыре отъ столика. — Твѣтъ у этой у травы алый. алый, въ родѣ даже какъ синій. И когда она расцвѣтетъ, страсть тутъ какъ хороша бываетъ. И эту траву рвутъ со крестомъ, говоря Отчу и помилуй мя, Боже. — или же какихъ другихъ тридцать молитвъ святыхъ. Этой-то вотъ травой что можно сдѣлать на свѣтѣ! Все ею можно сдѣлать. Этой травой пользуютъ испорченнаго человѣка, или у кого нѣтъ плоду дѣтямъ, то дать той женщинѣ пить,—сейчасъ отъ этого будетъ плодъ. Если жъ опять кто хочетъ видѣть дьявола, то пусть возьметъ онъ корень этой травы и положитъ его на сорокъ дней за престолъ, а потомъ возьметъ, ушьетъ въ ладанку, да при себѣ и носитъ,—только чтобъ во всякой чистотѣ,— то и увидитъ онъ дьяволовъ воздушныхъ и водяныхъ... Или опять на случай пріостановленія мельницы, то вода остановится, гдѣ только пожелаешь. Это трава богатая, любимая у Бога травка, и называется эта травка во всѣхъ травахъ царь... Спишь, родной?

Старуха нагнулась къ больному, который сладко уснулъ подъ ея говоръ, перекрестила его три раза древнимъ большимъ крестомъ и, свернувшись ежичкомъ на отоманкѣ, уснула тѣмъ спокойнымъ сномъ, какимъ врядъ ли намъ съ вами, читатель, придется засыпать въ ея лѣта.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Лѣтнее утро.

Стояло сѣрое лѣтнее утро. Тучъ на небѣ не было, но и солнце не выглядывало, воздухъ едва колебался тихими, несмѣлыми порывами чрезмѣрно теплаго вѣтерка. Такія лѣтнія утра въ серединной Россіи необыкновенно благопріятно дѣйствуютъ на всякое живое существо, до изнеможенія согрѣтое знойными днями. Такимъ утрамъ обыкновенно предшествуютъ теплыя, безлунныя ночи, хорошо зна-

комыя охотникамъ на перепеловъ. Чудныя дѣла дѣлаются съ этой птицей въ такія чудныя ночи! Всегда падкій на сладострастную приманку, перепелъ тутъ какъ будто совсѣмъ одурѣваетъ отъ неукротимыхъ влеченій своего крошечнаго организма. Заслышавъ манящій кликъ залегшаго въ хлѣбахъ вабильщика, онъ мигомъ срывается съ мѣста и мчится на роковое свиданіе, толкаясь сѣрою головкою о розовые корешки растущихъ хлѣбовъ. Только разставишь сѣтку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а ужъ гдѣ-то, загончика за два, за три откликается пернатый Донъ-Жуанъ. Въ другое время, въ свѣтлую лунную ночь его все-таки нужно поманывать умненечко, осторожно, соображая предательскій звукъ съ разстояніемъ жертвы; а въ теплыя безлунныя ночи, предшествующія сѣрымъ днямъ, птица совершенно ошалѣваетъ отъ сладострастья. Тутъ не нужно съ нею никакой осторожности. Не успѣешь сообразить, какъ далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже отзывается близехонько. Кликнешь потихоньку въ другой разъ—больше уже и вабить не надо. Сладострастно-нетерпѣливое оханье слышится въ двухъ шагахъ, и между розовыхъ корней хлѣба лѣзетъ перепелъ. Тутъ онъ уже не мчится сумасшедшимъ бедуиномъ, а какъ-то плетется, тяжело дыша и безпрестанно оглядываясь во всѣ стороны. Еще разъ поманить его уже никакъ невозможно, потому что самый тихій звукъ вабилки заведетъ птицу дальше чѣмъ нужно. Тутъ только лежишь и, удерживая смѣхъ, смотришь подъ сѣтку, а перепелъ все лѣзетъ, лѣзетъ, шумя стебельками хлѣба, и вдругъ предстаетъ глазамъ охотника въ самомъ смѣшномъ видѣ. Кто имѣлъ счастье живать лѣтомъ на Крестовскомъ или преимущественно въ деревнѣ Коломягѣ и кто бродилъ раннимъ утромъ по тощимъ полямъ, начинающимся за этою деревнею, тотъ легко можетъ представить себѣ нашихъ перепеловъ. Для этого стоитъ припомнить чиннаго петербургскаго нѣмца, преслѣдующаго рано, на зорькѣ, крестьянскихъ дѣвушекъ. Нѣмецъ то бѣжитъ полемъ, то присядетъ въ рожь, такъ, что его совсѣмъ тамъ не видно, то надъ колосьями снова мелькнетъ его черная шляпа; и вдругъ, заслышавъ веселый хохотъ совсѣмъ въ другой сторонѣ, онъ встанетъ, вздохнетъ и, никого не видя глазами, водитъ во

всѣ стороны своимъ тевтонскимъ клювомъ. Панталонишки у него всѣ подтрепаны отъ утренней росы, оживившей тощія, холодныя поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колѣна трясутся отъ безпрестанныхъ пригинаній и прискакиваній, а свернутый трубкой ротъ совершенно сухъ отъ тревогъ и томленья. Таковъ бываетъ и перепелъ, когда, прекращая стремительный бедуинскій бѣгъ между розовыми корешками высокихъ тоненькихъ стеблей, онъ таетъ отъ нетерпѣливаго желанія угасить пламень пожирающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбецъ во всѣ стороны и глаза его не докладываютъ ему ни о какой опасности. Онъ весь мокръ. сѣренькія перышки на его маленькихъ голеняхъ слиплись и свернулись; мокрый хвостикъ вытянулся въ двѣ фрачныя фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадаютъ и тащатся, окончательно затрепываясь мокрою полевою пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, и сильно спирается въ маленькомъ зобикѣ скорое дыханіе. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда и вдругъ на вашей щекѣ чувствуется прикосновеніе ея холодныхъ лапокъ и мокраго, затрепаннаго фрачка, а надъ ухомъ раздается сладострастный вздохъ. Надо имѣть много равнодушія, чтобы не разсмѣяться въ такую минуту. Самый серьезный русскій мужичокъ, вабящій перепеловъ въ то время, когда ему нужно бы дать покой своимъ усталымъ членамъ, всегда добродушно относится къ обтрепанному франту. «Ахъ ты, поганецъ, этакой!» скажетъ онъ съ ласковой улыбкой и тихонько опуститъ пернатаго фертика въ рѣшето, наполненное холщевымъ мѣшечкомъ.

Такая чудотворящая ночь предшествовала тому покойному утру, въ которое Петръ Лукичъ Гловацкій выѣхалъ съ дочерью изъ Мерева въ свой уѣздный городъ. Отъ всякой другой поры подобныя утра отличаются, между прочимъ, совершенно особеннымъ вліяніемъ на человѣческую натуру. Человѣкъ въ такую пору бываетъ какъ-то спокоенъ, тихъ и безкорыстенъ. Даже ярмарочные купцы, проѣзжая на возахъ своего гнилого товара, не складаютъ тогда въ головахъ барышей и прибытковъ и не клюютъ носомъ, предаваясь соблазнительнымъ мечтамъ о ловкомъ банкротствѣ, а ѣдутъ молча, смотря то на поле, волнующееся подъ легкимъ набѣгомъ теплаго вѣтерка, то на задумчиво стоящія

деревья, то на тонкій парокъ, поднимающійся съ соннаго озерца или рѣчки.

Рѣдко самая заскорузлая торговая душа захочетъ нарушить этотъ покой отдыхающей природы и перемолвиться словомъ съ товарищемъ или приказчикомъ. Да и то заговоритъ эта душа не о себѣ, не о своихъ хлопотахъ, а о той же спокойной природѣ.

— Ишь, птица-то полетѣла,—скажетъ ярмарочникъ, слѣдя за поднявшейся изъ хлѣбовъ птахою.

— Да,—отвѣтитъ товарищъ или приказчикъ.

И опять ѣдутъ тихо.

— Должно, у нея тутъ гдѣ-нибудь дѣти есть,—опять замѣтилъ приказчикъ.

— А можетъ и перелетная.

— Да, можетъ что и перелетная, — предположитъ приказчикъ.

И опять разговоръ оборвется, и опять ѣдутъ тихо.

Женни съ отцомъ ѣхала совсѣмъ молча. Старикъ только иногда взглядывалъ на дочь, улыбался совершенно счастливой улыбкой и снова впадалъ въ чисто созерцательное настроеніе. Женни была очень серьезна, и спокойная задумчивость придавала новую прелесть ея свѣжему личику.

На половинѣ короткой дороги отъ Мерева къ городу ихъ встрѣтилъ меревскій Нарцисъ.

Конторщикъ скоро шелъ по опушкѣ мелкаго кустарника и, завидѣвъ Петра Лукича, быстро направился къ дорогѣ.

— Здравствуйте, батюшка Петръ Лукичъ!—кричалъ онъ, снимая широкодонный картузъ съ четыреугольнымъ козырькомъ.

— Здравствуйте, Наркисъ Григорьевичъ,—отвѣчалъ Гловацкій.

Лошадь остановилась.

— Охотился?

— Да, половилъ перепелочковъ немножко, Петръ Лукичъ.

— Ты самъ-то, братъ, точно перепелъ,— улыбаясь замѣтилъ смотритель.

— Да вѣдь, батюшка, отрепишься съ ними, съ безпутниками. Это ужъ такая дичь низкая.

Нарцисъ, точно, былъ похожъ на перепела. Пыль и полевой соръ насѣли на его росные сапоги и заправленныя

въ голенища панталоны; синій сюртучокъ его тоже былъ мокръ и мѣстами сильно запачканъ.

За плечами у конторщика моталась перепелиная сѣтка и рѣшето съ перепелами.

— Что-жъ, какъ полевалъ?

— Много-таки, батюшка, наловилъ. Нынче они глупы въ такую-то ночь бываютъ,—сами лѣзутъ.

— На что ихъ ловятъ?—спросила Женни.

— А вотъ, матушка, на жаркое, пашкеты тоже готовятъ и въ торговлю идутъ они.

— Вы ими торгуете?

— Я?—Нѣтъ, я такъ только, для охоты ловлю ихъ. Иной съ пѣвомъ удается, ну того содержу, а то такъ.

— Выпускаете?

— Нѣтъ, на что выпускать? — Да вотъ позвольте вамъ, сударыня, презентовать на новоселье.

— На что же они мнѣ?

— На что угодно, матушка.

— Ну, бери, Женни, на новоселье.

Нарцисъ поставилъ на колѣни дѣвушки рѣшето съ перепелами и, простившись, пошелъ своей дорогой, а дрожки покатились къ городу, который точно выросъ передъ Гловацкими, какъ только они обогнули маленькій лѣсной островочекъ.

— Узнаешь, Женичка? Вонъ соборная глава, а это Иванъ Крестителя куполъ: узнаешь?

— Какое все маленькое это стало, — задумчиво проговорила Женни.

— Маленькое! Это тебѣ такъ кажется послѣ Москвы. Все такое же, какъ и было. Ты смотри, смотри, вонъ судьи домъ, вонъ бойницы за городомъ, гдѣ скотъ бьютъ, вонъ каланча. Каланча-то, видишь желтую каланчу? Это надъ городническимъ домомъ.

Женни все смотрѣла впередъ и ручкою безотчетно выпускала одного перепела за другимъ.

— Э, да ты ихъ почти всѣхъ повыпустила, — замѣтилъ Гловацкій.

— Да. Смотрите-ка, смотрите.

Женни вынула еще одну птичку, и еще одну, и еще одну. На лицѣ ея выражалось совершенное, дѣтское счастье, когда она слѣдила за отлетавшими съ ея руки перепелами.

— Ты ихъ всѣхъ выпустишь?

— Всѣхъ выпущу.—весело отвѣтила она, раскрывая разомъ пришитый къ рѣшету бездонный мѣшокъ.

Перепела засуетились, увидя надъ собою вольное небо, вмѣсто грязной холщевой покрышки, жались другъ къ другу, присѣдали на ножкахъ, и одинъ за другимъ быстро поднимались на воздухъ.

— Вотъ теперь славно.—проговорила она, ставя въ ноги пустое рѣшето.—Хорошо, что я взяла ихъ

— Дитя ты, Женичка.

— Отчего же, папа, дитя; пусть ихъ летаютъ на волѣ.

— Ихъ завтра опять поймаютъ.

— Нѣтъ, ужъ они теперь не попадутся.

Гловацкій засмѣялся. Въ его сѣдой головѣ мелькнула мысль о страстяхъ, о ловушкахъ, и веселая улыбка замѣнилась выраженіемъ трепетной отцовской заботы.

— Боже, Господи милосердый, спаси и сохрани ее! — прошепталъ онъ, когда дрожки остановились у воротъ уѣзднаго училища.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Колыбельный уголокъ.

Петръ Лукичъ Гловацкій съ самаго дня своей женитьбы отдавалъ Женинъ приданый домъ внаймы, а самъ постоянно обиталъ въ небольшомъ каменномъ флигелькѣ подвѣдомственнаго ему уѣзднаго училища. Въ этотъ самый каменный флигель, двадцать три года тому назадъ, онъ привезъ изъ церкви молодую жену, здѣсь родилась Женни, отсюда же Женни увезли въ институтъ и отсюда же унесли на кладбище ея мать, о которой такъ тепло вспоминала игуменья. Училищный флигель состоялъ всего изъ пяти очень хорошихъ комнатъ, выходившихъ частью на чистенькій, всегда усыпанный желтымъ пескомъ дворъ уѣзднаго училища, а частью въ старый густой садъ, тоже принадлежащій училищу, и наконецъ, изъ трехъ оконъ залы была видна огибавшая городъ рѣчка Саванка. На дворѣ училища было постоянно очень тихо, но все-таки дворъ два раза въ день оглашался веселыми, рѣзкими голосами школьниковъ, а ужъ зато въ саду, начинавшемся за смотрительскимъ флигелемъ, постоянно царила ненарушимая, глубокая тишина. Въ этотъ садъ выходили два окна залы (два другія

окна этой комнаты выходили на берегъ рѣчки, за которою кончался городъ и начинался безконечный заливной лугъ, да въ этотъ же садъ смотрѣли окна маленькой гостиной съ стеклянною дверью и угловой комнаты, бывшей нѣкогда спальнею смотрительши, а нынче будуаромъ, кабинетомъ и спальнею ея дочери. Рядомъ съ этой комнатой былъ кабинетъ смотрителя, изъ котораго можно было обозрѣвать весь дворъ и окна классныхъ комнатъ, а далѣе, между кабинетомъ и передней, находился очень просторный покой со множествомъ книгъ, уставленныхъ въ высокихъ шкафахъ, четыреугольнымъ столомъ, застланнымъ зеленымъ сукномъ, и двумя сафьянными отоманками. Только и всего помѣщенія было въ смотрительской квартирѣ! Но зато все въ ней было такъ чисто, такъ уютно, что никому даже въ голову не пришло бы желать себѣ лучшаго жилища. А ужъ о комнатѣ Женни и говорить нечего. Такая была хорошенькая, такая дѣвственная комнатка, что стоило въ ней побыть десять минутъ, чтобы начать чувствовать себя какъ-то и спокойнѣе, и выше, и чище, и нравственнѣе. Старинныя кресла и диванъ свѣтлаго березоваго выплавка, съ подушками изъ шерстяной матеріи бирюзоваго цвѣта, такого же цвѣта занавѣси на окнахъ и дверяхъ; той же березы письменный столикъ съ туалетомъ и кроватка, закрытая бѣлымъ покрываломъ, да нѣсколько растеній на окнахъ и больше ровно ничего не было въ этой комнаткѣ, а между тѣмъ всѣмъ она казалась необыкновенно полнымъ и комфортабельнымъ покоемъ.

— Вотъ твой колыбельный уголочекъ, Женичка,— сказалъ Гловацкій, введя дочь въ эту комнату.—Здѣсь стояла твоя колыбелька, а материна кровать вотъ тутъ, гдѣ и теперь стоитъ. Я ничего не трогалъ послѣ покойницы, все думалъ: пріѣдетъ Женя, тогда какъ сама хочетъ,— захочетъ, пусть измѣняетъ по своему вкусу, а не захочетъ, пусть оставитъ все по-материному.

И Евгенія Петровна зажила въ своемъ колыбельномъ уголкѣ, оставивъ здѣсь все по-старому. Только надъ березовымъ комодомъ повѣсили шитую картину, подаренную матерью Агніею, и на комодѣ появилось нѣсколько книгъ.

— Возьмешься, Женни, хозяйничать? — спросилъ Петръ Лукичъ дочь на другой день пріѣзда въ городъ.

— Какъ же, папа, непремѣнно.

— То-то, какъ хочешь. У меня хозяйство маленькое и люди честные, но, по-моему, дѣвушкѣ хорошо заняться этимъ дѣломъ.

— Разумѣется, папа, разумѣется.

— Нынче этимъ пренебрегаютъ, а напрасно, право напрасно.

— И нынче, папа, я думаю, не всѣ пренебрегаютъ: это не одинаково.

— Конечно, конечно, не всѣ, только я такъ говорю... Знаешь, — старческая слабость: все какъ ты ни гонись, а все старыя-то симпатіи, какъ старыя ноги, сзади волокутся. Впрочемъ, я не спорщикъ. Вотъ моя молодая команда, такъ тѣ горячо заварены, а, впрочемъ, ладимъ, и отлично ладимъ.

— Агнія Николаевна очень строго судитъ молодыхъ.

— Она и старымъ, другъ мой, не даетъ спуску: брюзжитъ немножко, а женщина весьма добрая, весьма добрая.

— На брата жаловалась.

Старикъ добродушно улыбнулся.

— Да, вотъ чудакъ-то! Нашелъ, гдѣ свой обличительный методъ прикладывать.

— И вы, папа, молодыхъ людей тоже, кажется, не долюбливаете?

— Отчего же, мой другъ! Только вотъ они нынче рѣзковаты становятся, точно ужъ рѣзковаты. Можетъ-быть, это намъ такъ кажется. Да вѣдь, право, нельзя все такъ круто. Старики не правы, что не умѣютъ стерпѣть, да и молодежь не права. У старости тоже есть свои права и свои привычки.—Снисходить бы не грѣшно было немножко. Я естественныхъ наукъ не знаю вовсе, а все мнѣ думается, что мозгъ, привыкшій понимать что-нибудь такъ, не можетъ скоро понимать что-нибудь иначе. Такъ что-жъ и сердиться. Надо снисходить. Народъ говоритъ, что и у воробья, и у того есть амбиція, а человѣкъ, какой бы онъ ни былъ, если только мало-мальски самостоятеленъ, все-таки не хочетъ быть поставленъ ниже всѣхъ. Вотъ хоть бы у насъ, — городокъ, вѣдь, небольшой, а таки-торговый, есть люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почитываютъ изъ купечества, и умныхъ людей не обѣгаютъ. — Старикъ улыбнулся и сквозь смѣхъ проговорилъ: — А ты знаешь, кто здѣсь зенитъ-то просвѣщенія? Это мы, я, да

учители... Ну, вѣдь, и у насъ есть учители очень молодые, вотъ, напримѣръ, Зарницынъ Алексѣй Павловичъ, всего пятый годъ курсъ кончилъ, Вязмитиновъ, тоже пять лѣтъ какъ изъ университета; люди свѣжіе и неустанно слѣдящіе и за наукой, и за литературой, и притомъ люди добросовѣстно преданные своему дѣлу, а посмотри-ка на нихъ! Ты вотъ ихъ увидишь. Вотъ какъ мало-мальски оправишься, позовемъ ихъ вечеркомъ на чаекъ. Все, вѣдь, говорю, люди, которые смотрятъ на жизнь совсѣмъ не такъ, какъ наше купечество, да даже и дворянство, а посмотри, какого о нихъ мнѣнія всѣ?—Кого ни спроси, въ одно слово скажутъ: «прекрасные люди». Какъ-то у нихъ отношенія-то къ людямъ все человѣческія. Вотъ тоже докторъ у насъ есть, Розановъ, человѣкъ со странностями и даже не безъ рѣзкостей, но и у этого самыя рѣзкости-то какъ-то, затрудняюсь, право, какъ бы тебѣ выразить это... ну, только именно рѣзки, только выказываютъ прямоту и горячность его натуры, а вовсе не стремятся смять, уничтожить, стереть человѣка. Къ его рѣзкости здѣсь всѣ привыкли и нимало ею не тяготятся, даже очень его любятъ. А тѣ, вѣдь, всѣ какъ-то... право, ужъ и совсѣмъ не умѣю назвать. Вотъ и Ипполитъ нашъ, и Звягина сынъ, и Ступинъ молодой—второй годъ пріѣзжаютъ такіе мудреные, что гляжу, гляжу на нихъ, да и руки врозь. Какъ-то будто и дико съ ними. Право, я вотъ теперь смотритель, и, слава Богу, двадцать пятый годъ, и пенсійка ужъ недалеко: всякихъ людей видалъ, и всякихъ терпѣлъ, и со всѣми сживался, ни одного учителя во всю службу не представилъ ни къ перемѣщенію, ни къ отставкѣ, а воображаю себѣ, будь у меня въ числѣ наставниковъ твой братъ, непремѣнно долженъ бы искать случая отъ него освободиться. Нельзя иначе. Дѣтей всѣхъ разберутъ, что жъ изъ этого толку будетъ? Ты вотъ познакомишься съ ними, сама ихъ разберешь. Особенно рекомендую тебѣ Николая Степановича Вязмитинова. Дивный человѣкъ! Честный, серьезный и умница. Принимай хозяйство, а я ихъ и зазову.

Не велико было хозяйство смотрителя, а весь придворный штатъ его состоялъ изъ кухарки Пелагеи, да училищнаго сторожа, отставного унтера Яковлева, исправлявшаго должность лакея и ходившаго за толстою, обезножившею отъ настоя, смотрительскою лошадью. Женни въ два дня

вошла во всю домашнюю администрацію и на ея поясѣ появился крючокъ съ ключами.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Прогрессивные люди уѣзднаго города.

— Господа! вотъ моя дочь, Женичка! рекомендую тебѣ моихъ сотоварищей: Николай Степановичъ Вязмитиновъ и Алексѣй Павловичъ Зарницынъ. — проговорилъ смотритель, представляя, разъ вечеромъ, своей дочери двухъ очень благопристойныхъ молодыхъ людей.

Оба они на видъ имѣли не болѣе какъ лѣтъ по тридцати, оба были одѣты просто. Зарницынъ былъ невысокъ ростомъ, съ розовыми щеками и живыми черными глазами. Онъ смотрѣлъ немножко денди. Вязмитиновъ, напротивъ, былъ очень стройный молодой человѣкъ, съ блѣднымъ, нѣсколько задумчивымъ лицомъ и очень скромнымъ симпатичнымъ взглядомъ. Въ немъ не было ни тѣни дендизма. Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдержанностью.

Женни, сидѣвшая за столомъ, на которомъ весело шумѣлъ и посвистывалъ блестящій тульскій самоваръ, встала, привѣтливо поклонилась и покраснѣла. Ее видимо конфузила непривычная роль хозяйки.

— Безъ церемоніи, господа, — прошу васъ поближе къ самовару и къ хозяйкѣ, а то я боюсь, что она со мною, старикомъ, заскучаетъ.

— Какъ вамъ не грѣхъ, папа, такъ говорить, — тихо промолвила Женни и совсѣмъ зардѣлась какъ маковый цвѣточекъ.

— Петръ Лукичъ подговаривается, чтобы ему любезность сказали, что съ нимъ до сихъ поръ люди не скучали,—проговорилъ, любезно улыбаясь, Зарницынъ.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Нѣтъ, господа, ужъ какъ тамъ ни храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю отъ вашихъ-то понятій. Бывало, что ни читаешь, все это находишь такъ въ порядкѣ вещей и самъ понимаешь, и съ другимъ станешь говорить, и другой одинаково понимаетъ, а теперь иной разъ читаешь этакую тамъ статейку, или практическую замѣтку какую и чувствуешь, и сознаешь, что давно бы должна быть такая замѣтка, а какъ-то, Богъ его знаетъ... Просто, иной разъ глазамъ не вѣришь. Чув-

ствуешь, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы не написала этого. Даже на подпись-то цензурную не разъ глянешь, думаешь: Господи! ужъ не такъ ли махнули, чего добраго?—А вамъ это все ничего, даже мало кажется. Я вонъ прочелъ въ приказахъ, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года произведенъ изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе совѣтники. Дѣло самое пустое: есть такой Чичиковъ, служитъ, его за выслугу лѣтъ и повышаютъ чиномъ, а мнѣ ужъ чортъ знаетъ что показалось. Подсунули, думаю, такую исторію въ насмѣшку, а за эту насмѣшку и покатятъ на тройкахъ. Послѣ-то раздумалъ, а сначала... Нѣтъ, мы вѣдь другой школы, намъ теперь ужъ на васъ смотрѣть только, да внучатъ качать.

— А знаете, Евгенія Петровна, когда именно и по какому случаю послѣдовало отреченіе Петра Лукича отъ единомыслія съ людьми нашихъ лѣтъ?—опять, любезно оскабляясь, спросилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, не знаю. Папа мнѣ ничего не говорилъ объ этомъ.

— Во-первыхъ, не отъ единомыслія, а, такъ-сказать, отъ единоспособности съ вами,—замѣтилъ смотритель.

— Ну, это все равно,—перебилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, батюшка, Алексѣй Петровичъ, это не все равно.

— Ну, положимъ, что такъ, только произошло это въ Петрѣ Лукичѣ разомъ, въ одинъ пріемъ.

— Да, разомъ,—потому что разомъ я понялъ, что я человѣкъ неспособный дѣлать то, что самымъ спокойнымъ образомъ дѣлаютъ другіе. Представь себѣ, Женя: встаю утромъ, беру принесенныя съ почты газеты, и читаю, что какой-то господинъ Якушкинъ имѣлъ въ Псковѣ исторію съ полицейскими,—тамъ заподозрили его, посадили за клинъ, ну, и потомъ выпустили,—ну, велика важность! —Конечно, оно непріятно, да мало ли чиновниковъ за клинъ сажали. Ну, выпустятъ и уходи скорѣй, благо отвязались; а онъ, какъ вырвался, и ну все это выписывать. Валяетъ и полиціймейстера, и вице-губернатора, да вѣдь какъ! Точно,—я самъ знаю, что въ Европѣ существуетъ гласность, и понимаю, что она должна существовать, даже... между нами говоря... (смотритель оглянулся на обѣ стороны и добавилъ, понизивъ голосъ), я самъ нѣсколько разъ «*Колоколъ*» чи-

талъ и не безъ удовольствія, скажу вамъ, читалъ; но у насъ-то, на родной-то землѣ, какъ же это, думаю?—Что жъ это обо всемъ, стало-быть, люди смѣютъ говорить?—А мы смѣли объ этомъ *подумать?* — Подумать, а не то, что говорить? — Не смѣли, да и что̀ толковать о насъ! А вотъ эти господа хохочутъ, а докторъ Розановъ говоритъ: я, говоритъ, сейчасъ самого себя обличу, что, получая сто сорокъ девять рублей годового жалованья, изъ коихъ половину удерживаетъ инспекторъ управы, восполняю свой домашній бюджетъ четырьмя стами шестьюдесятью рублями взяткообразно. Ну, а я, говорю, не обличу себя, что, по недостатку средствъ, употребляю училищнаго сторожа Яковлевича, для собственныхъ услугъ. Не могу, говорю, смѣлости нѣтъ, цѣли не вижу, да и вообще, просто, не могу. Я другой школы человѣкъ. Я могу переводить Ювенала, да, быть-можетъ, вонъ соберу систематически матеріалы для исторіи Абассидовъ, но этого не могу; я другой школы, насъ учили классически; мы литературу не принимали гражданскимъ орудіемъ; мы не пріучены дѣйствовать, и не по силамъ намъ дѣйствовать.

— Ну, однако, изъ вашей-то школы выходили и иные люди, не все о маврскихъ династіяхъ размышляли, а тоже и дѣйствовали,—замѣтилъ Зарницынъ.

— А, а! Нѣтъ, батюшка, — извините. То совсѣмъ была не наша школа,—извините.

— Конечно, — въ первый разъ проронилъ слово Вязмитиновъ.

— Точно, виноватъ, я ошибся,—оговорился Зарницынъ.

— А теперь вонъ еще новая школа заходитъ, и попомните мое слово, что скоро она скажетъ и вамъ, Алексѣй Павловичъ, и вамъ, Николай Степановичъ, да даже, чего добраго, и доктору, что всѣ вы люди отсталые, для дѣла не годитесь.

— Это несомнѣнно,—замѣтилъ опять Вязмитиновъ.

— Да, вотъ вамъ, что̀ значитъ школа-то, и не годитесь, и пронесутъ имя ваше яко зло, несмотря на то, что директоръ нынче все настаиваетъ, чтобъ я почаще навертывался на ваши уроки. И будетъ это скоро, гораздо прежде, чѣмъ вы до моихъ лѣтъ доживете. Въ наше-то время отца моего учили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, и мнѣ то же твердили, да и мой сынъ

видѣлъ, какъ я не могъ отказываться отъ головки купеческаго сахарцу; а нынче все это двинулось, пошло, и школа будетъ смѣнять школу. Такъ, Николай Степановичъ?

— По-моему такъ.

— А такъ, такъ наливай. Женни, по другому стаканчику. Тебѣ, я думаю, мой дружочекъ, наскучилъ нашъ разговоръ. Плохо мы тебя занимаемъ. У насъ все такъ, что поспоримъ, то будто какъ и дѣло сдѣлаемъ.

— Напротивъ, папа, зачѣмъ вы такъ думаете? Меня это очень занимаетъ.

— Да! Вонъ видите, школа-то: мѣсяца нѣтъ какъ съ институтской скамьи, а ее занимаетъ. Попробуйте-ка Оленьку Розанову такимъ разговоромъ занять.

— Ну, еще кого вспомнили!

— Чего, батюшка мой? Она, вѣдь, вонъ о самостоятельности тоже изволитъ разсуждать, а мужъ-то? Съ такимъ мужемъ, какъ ея, можно до многаго додуматься.

— Да что жъ это онъ хотѣлъ быть, а не идетъ? — замѣтилъ Зарницынъ.

— Идетъ, идетъ,—отвѣчалъ изъ передней довольно симпатичный мужской голосъ, и на порогѣ залы показался человѣкъ лѣтъ тридцати двухъ, невысокаго роста, немного сутуловатый, но весьма пропорціонально сложенный, съ очень хорошимъ лицомъ, въ которомъ крупность чертъ выгодно выкупалась силою выраженія. Въ этомъ лицѣ выражалась какая-то весьма пріятная смѣсь энергіи, ума, прямоты, силы и русскаго безволья и распущенности. Докторъ былъ одѣтъ очень небрежно. Платье его было все пропылено, такъ что пыль въѣлась въ него и не отчищалась, рубашка измятая, шея повязана чернымъ платкомъ, концы котораго висѣли до половины груди.

— А мы здѣсь только-что злословили васъ, докторъ,— проговорилъ Зарницынъ, протягивая врачу свою руку.

— Да чѣмъ же вамъ болѣе заниматься на гулянкахъ, какъ не злословіемъ, — отвѣчалъ докторъ, пожимая мимоходомъ поданныя ему руки.—Прошу васъ, Петръ Лукичъ, представить меня вашей дочери.

— Женичка! — нашъ докторъ. Совѣтую тебѣ заискать его расположеніе, человѣкъ весьма нужный, случайный.

— Преимущественно для мертвыхъ, съ которыми имѣю постоянныя дѣла въ теченіе пяти лѣтъ сряду, — проговo-

рилъ докторъ, развязно кланяясь дѣвушкѣ, отвѣтившей ему ласковымъ поклономъ.

— А мы ужъ думали, что вы, по обыкновенію, не сдержите слова,—замѣтилъ Гловацкій.

— Ужъ и *по обыкновенію!* Эхъ, Петръ Лукичъ! Ужъ вотъ на кого Богъ-то, на того и добрые люди. Я, Евгенія Петровна, позвольте, ужъ буду искать сегодня исключительно вашего вниманія, уповая, что свойственная человѣчеству злоба еще не успѣла достичь вашего сердца, и вы, конечно, не найдете самоуслажденія допиливать меня, чѣмъ занимается весь этотъ прекрасный городъ съ своимъ уѣздомъ и даже съ своимъ уѣзднымъ смотрителемъ, сосредоточивающимъ въ своемъ лицѣ половину всѣхъ добрыхъ свойствъ, отпущенныхъ намъ на всю нашу мѣстность.

Женни покраснѣла, слегка поклонилась и тихо проговорила:—Прикажете вамъ чаю?

— Гдѣ это васъ сегодня разобидѣли? — спросилъ смотритель.

— Вездѣ, Петръ Лукичъ, вездѣ, батюшка.

— А напримѣръ?

— А напримѣръ, исправникъ двѣсти раковъ съѣлъ и говоритъ: не могу завтра на вскрытіе ѣхать; фельдшеръ въ больницѣ бабу уморилъ ни за што, ни про што; двухъ рекрутъ на нашъ счетъ вернули; съ эскадроннымъ командиромъ разбранился; въ Хилковѣ бѣшеный волкъ человѣкъ пятнадцать на лугу искусалъ, а тутъ нѣмецъ Абрамзонъ съ женою мимо моихъ оконъ проѣхалъ,—бѣда да и только.

Всѣ, кромѣ Женни, разсмѣялись.

— Да, вамъ смѣхъ, а мнѣ хоть въ воду, такъ въ пору.

— Что-жъ вы сдѣлали?

— Что? Исправнику лошадиную кладь закатилъ и сказалъ, что если онъ завтра не поѣдетъ, то я ѣду къ другому тѣлу; бабу записалъ умершею отъ апоплексическаго удара, а фельдшеру далъ записочку къ городничему, чтобы тотъ съ нимъ позанялся; эскадронному командиру сказалъ: убирайтесь, ваше благородіе, къ чорту, я вашихъ мошенничествъ прикрывать не намѣренъ и написалъ, что слѣдовало; волка посовѣтовалъ исправнику казнить по полевому военному положенію, а отъ Ольги Александровны, взволнованной каретою нѣмца Ицки Готлибовича Абрамзона, ушелъ къ вамъ чай пить. Вотъ вамъ и все!

— Распоряженія все резонныя,—замѣтилъ Зарницынъ.

— Ну, какія есть: не хороши, другія присовѣтуйте.

— Фельдшера поучать, а онъ черезъ полгода другую бабу отравитъ.

— Черезъ полгода! Экую штуку сказалъ! Двѣ бабы въ годъ,—велика важность. А по-вашему не новаго ли было бы требовать?

— Конечно.

— Ну, нѣтъ, слуга покорный. Этотъ пару въ годъ отравитъ, а новый съ непривычки по парѣ въ мѣсяцъ спуститъ.—Что, батюшка, тутъ радикальничать-то? Лѣчить нечѣмъ, содержать не на что, да что и говорить! Радикальничать, такъ по-моему надо изъ земли Илью Муромца вызвать, чтобы сѣлъ онъ на коня ратнаго, взялъ въ могучія руки булаву сто-пудовую, да и пошелъ бы насъ, православныхъ, крестить по маковкамъ, не разбирая ни роду, ни сану, ни племени.—А то, что тамъ копаться! Idem per idem все будемъ Кузьма съ Демидомъ. — Нечего и людей смѣшить. Эхъ, не слушайте нашихъ мерзостей, Евгенія Петровна. Поберегите свое вниманіе для чего-нибудь лучшаго. Вы, пожалуйста, никогда не сидите съ нами. Не сидите съ моимъ другомъ, Зарницынымъ, онъ затмитъ вашъ дѣвственный умъ своей туманной экономіей счастья; не слушайте моего друга Вязмитинова, который погубитъ ваше свѣтлое мышленіе гегеліанскою ересью; не слушайте меня, преподлѣйшаго въ сношеніяхъ съ звѣрями, которые станутъ называть себя передъ вами разными кличками греко-россійскаго календаря; даже отца вашего, которому отпущена половина всѣхъ добрыхъ качествъ нашей проклятой Геморы, и его не слушайте. Все васъ это спутаетъ, потому что все, что ни выйдетъ изъ нашихъ устъ,—или злосмрадное дыханіе антихристово, или же хитроплетенныя лукавства, уловляющія свободный разумъ. Уйдите отъ насъ, гадкихъ и вредныхъ людей, и пожалѣйте, что мы еще, къ несчастію, не самые гадкіе люди своего просвѣщеннаго времени.

— Уйди, уйди, Женичка, —смѣясь, проговорилъ Гловацкій:—и вели давать, что ты тамъ намъ поѣсть приготовила Нашъ медицинскій Гамлетъ всегда мраченъ...

— Безъ водки,—чего же было не договаривать! Я точно, Евгенія Петровна, люблю закусывать и счелъ бы позоромъ.

скрыть отъ васъ этотъ маленькій порокъ изъ обширной коллекціи моихъ пороковъ.

Женни встала и вышла въ кухню, а Яковлевичъ сталъ собирать со стола чай, за которымъ, по мѣстному обычаю, всегда почти непосредственно слѣдовала закуска.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Нежданный гость.

Въ то же время, какъ Яковлевичъ, вывернувъ кренделемъ локти, несъ подносъ, уставленный различными солеными яствами, а Пелагея, склонивъ на бокъ голову и закусивъ, въ знакъ осторожности, верхнюю губу, тащила другой подносъ съ двумя графинами разной водки, бутылкою хереса и двумя бутылками столоваго вина, по усыпанному пескомъ двору уѣзднаго училища простучалъ легкій экипажецъ. Вслѣдъ затѣмъ въ двери кухни, гдѣ Женни, засучивъ рукава, разбирала жареную индѣйку, вошелъ маленькій казачокъ и спросилъ: дома ли Евгенія Петровна?

— Дома, — отвѣтила Женни, удивленная, кто бы могъ о ней освѣдомляться въ городѣ, въ которомъ она никого не знаетъ.

— Это вы-съ?—спросилъ, осклабившись, казачокъ.

— Я, я,—кто тебя прислалъ?

— Барышня-съ къ вамъ пріѣхали.

— Какая барышня?

— Барышня, Елизавета Егоровна-съ.

— Лиза Бахарева! — въ восторгѣ воскликнула Женни, бросивъ кухонный ножъ и спѣша обтирать руки.

— Точно такъ-съ, онѣ пріѣхали,—отвѣчалъ казачокъ.

— Боже мой! гдѣ же она?

— На кабріолеткѣ-съ сидятъ.

Женни отодвинула отъ дверей казачка, выбѣжала изъ кухни и вспорхнула въ кабріолетъ, на которомъ сидѣла Лиза.

— Лиза! голубчикъ! дуся! ты ли это?

— А! видишь, я тебѣ, гадкая Женька, дѣлаю визитъ первая. Не говори, что я аристократка, — ну, поцѣлуй меня еще, еще. Ангелъ ты мой! Какъ я о тебѣ соскучилась — силъ моихъ не было ждать, пока ты пріѣдешь. У насъ гостей полонъ домъ, скука смертельная, просилась, просилась къ тебѣ.—не пускаютъ. Папа пріѣхалъ съ поля, я сѣла въ его кабріолетъ покататься, да вотъ и прикатила къ тебѣ.

— Будто такъ?

— Право.

Дѣвушки разсмѣялись, еще разъ поцѣловались, и обѣ соскочили съ кабріолета.

— Я, вѣдь, только на минуточку, Женни.

— Боже мой!

— Ну да. Какая ты чудиха! Тамъ, вѣдь, съ ума посходятъ.

— Ну пойдемъ, пойдемъ.

— А вы еще не спите?

— Нѣтъ, гдѣ же спать. Всего девять часовъ и у насъ гости.

— Кто?

— Учителя и докторъ.

— Какой?

— Розановъ, кажется, его фамилія.

— Говорятъ, очень странный.

— Кажется. А ты отъ кого слышала?

— Мы съ папой ходили навѣщать этого меревскаго учителя больного, — онъ очень любитъ этого доктора и много о немъ разсказывалъ.

— А что этотъ учитель, лучше ему?

— Да, лучше, но онъ все ждетъ доктора. Впрочемъ, папа говорилъ, что у него сильный ушибъ и простуда, а больше ничего.

Дѣвушки перешли черезъ кухню въ Женину комнату.

— Ахъ, какъ у тебя здѣсь хорошо, Женни!—воскликнула, осматриваясь по сторонамъ, Лиза.

— Да,—я очень довольна.

— А я пока очень недовольна.

— У тебя хорошая комната?

— Да, хорошая, но неудобная, проходная.

— Папа! у насъ новый гость, — крикнула неожиданно Гловацкая.

— Кто, мой другъ?

— Отгадайте!

— Ну, какъ отгадаешь.

— Мой гость, собственно ко мнѣ, а не къ вамъ.

— Ну, теперь и поготово не отгадаю.

Женни открыла двери, и изумленнымъ глазамъ старика предстала Лиза Бахарева.

— Лизанька! съ кѣмъ вы, дитя мое?

— Одна.

— Нѣтъ, безъ шутокъ. Гдѣ Егоръ Николаевичъ?

— Дома съ гостями,—отвѣчала, смѣясь, Лиза.

— Въ самомъ дѣлѣ вы однѣ?

— Ахъ, какой вы странный, Петръ Лукичъ! Разумѣется, одна, съ казачкомъ Гришей.

Лиза разсказала, какъ она пріѣхала въ городъ, и добавила, что она на минуточку, что ей нужно торопиться домой.

Смотритель взялъ Лизу за руки, ввелъ ее въ залу и познакомилъ съ своими гостями, причемъ гости ограничивались однимъ молчаливымъ, вѣжливымъ поклономъ.

— Не хочешь ли чаю покушать, Лиза? Съѣшь что-нибудь; вѣдь, это я хозяйничаю.

— Ты! Ну, для тебя давай, буду ѣсть.

Дѣвушки взяли стулья и сѣли къ столу.

— Какъ у васъ весело, Петръ Лукичъ!—замѣтила Лиза.

— Какое-жъ веселье, Лизанька? такъ себѣ сошлись,—не утерпѣлъ на старости лѣтъ похвастаться товарищамъ дочкою. У васъ въ Меревѣ, я думаю, гораздо веселѣе; своя семья большая, всегда есть гости.

— Да, это правда, а все у васъ какъ-то, кажется, веселѣе выглядитъ.

— Это сегодня, а то мы все вдвоемъ съ Женней сидѣли, и еще чаще она одна. Я, напротивъ, боюсь, что она у меня заскучаетъ, журналъ для нея выписалъ. Мои-то книги, думаю, ей не по вкусу прійдутся.

— У васъ какія больше книги?

— Разный спеціальный хламъ, а изъ русскихъ только историческія.

— А у насъ цѣлый шкапъ все какой-то допотопной французской беллетристики, читать невозможно.

— А я часто видалъ, что ваши сестрицы читаютъ.

— Да, онѣ читаютъ, а мнѣ это не нравится. Мы въ институтѣ доставали разные русскіе журналы и все читали, а здѣсь ничего нѣтъ. Вы какой журналъ выписали для Женни?

— «Отечественныя Записки», — старый журналъ и все одинъ и тотъ же редакторъ, при которомъ покойникъ Бѣлинскій писалъ.

— Да, знаю. Мы все доставали въ институтѣ и «Оте-

чественныя Записки», и «Современникъ», и «Русскій Вѣстникъ», и «Библіотеку», всѣ, всѣ журналы. Я просила папу выписать мнѣ хоть одинъ теперь,—мамаша не хочетъ.

— Отчего?

— Богъ ее знаетъ! говоритъ, читай то, что читаютъ сестры, а я этого читать не могу, не нравится мнѣ.

— Женни будетъ съ вами дѣлиться своимъ журналомъ. А я вотъ буду просить Николая Степановича еще снабжать Женничку книгами изъ его библіотеки. У него много книгъ и онъ можетъ руководить Женничку, если она захочетъ заняться однимъ предметомъ. Самъ я устарѣлъ ужъ, за хлопотами да дрязгами поотсталъ отъ современной науки, а Николаю Степановичу за дочку покланяюсь.

— Если только Евгенія Петровна пожелаетъ и позволитъ, я буду очень радъ служить ей, чѣмъ могу,—вѣжливо отвѣтилъ Вязмитиновъ.

Женни поблагодарила.

— Какъ жаль, что и я не могу пользоваться вашими совѣтами!—живо замѣтила Лиза.

— Отчего же?

— Я живу въ деревнѣ, а зимой, вѣроятно, уѣдемъ въ губернскій городъ.

— Пріѣзжайте къ намъ почаще лѣтомъ, Лизанька. Тутъ вѣдь рукой подать, и будете читать съ Николаемъ Степановичемъ,—сказалъ Гловацкій.

— Въ самомъ дѣлѣ, Лиза, пріѣзжай почаще.

— Да,—хорошо, какъ можно будетъ, а не пустятъ, такъ буду сидѣть.—Ахъ, Боже мой!—сказала она, быстро вставая со стула;—я и забыла, что мнѣ пора ѣхать.

— Побудь еще, Лиза,—просила Женни.

— Нѣтъ, милая, не могу, и не говори лучше.—А вы что читаете въ училищѣ?—спросила она Вязмитинова.

— Я преподаю исторію и географію.

— Оба интересные предметы, а вы? — обратилась Лиза къ Зарницыну.

— Я учитель математики.

— Фуй, какая ужасная наука. Я выше двойки никогда не получала.

— У васъ вѣрно былъ дурной учитель, — немножко рисуясь сказалъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, а впрочемъ, не знаю. Онъ кандидатъ, молодой

и нѣкоторыя у него хорошо учились. Вотъ Женни, напримѣръ, она всегда высшій баллъ брала. Она по всѣмъ предметамъ высшіе баллы брала. Вы знаете,—она, вѣдь, у насъ первая изъ цѣлаго выпуска,—а я первая съ другого конца. Я терпѣть не могу нѣкоторыхъ наукъ и особенно вашей математики. А вы естественныхъ наукъ не знаете? Это, говорятъ, очень интересно.

— Да, но занятіе естественными науками тоже требуетъ знанія математики.

— Будто! Вѣдь это для химиковъ или для другихъ, а такъ для любителей, я думаю, можно и безъ этой скучной математики.

— Право, я не умѣю вамъ отвѣчать на это, но думаю, что въ извѣстной мѣрѣ возможно. Впрочемъ, вотъ у насъ докторъ знатокъ естественныхъ наукъ.

— Ну, какъ не знатокъ,—проговорилъ докторъ.

— Мнѣ то же самое говорилъ о васъ меревскій учитель,—отнеслась къ нему Лиза.

— Помада! Онъ того мнѣнія, что я все на свѣтѣ знаю и все могу сдѣлать. Вы ему не вѣрьте, когда дѣло касается меня, — я его сердечная слабость. Позвольте мнѣ лучше освѣдомиться, въ какомъ онъ положеніи?

— Ему лучше, и онъ, кажется, ждетъ васъ съ нетерпѣніемъ.

— Что жъ дѣлать. Я только узналъ о его несчастьѣ и не могу тронуться къ нему, ожидая съ минуты на минуту непремѣннаго засѣдателя, съ которымъ тотчасъ долженъ выѣхать.

— Будто вы сегодня ѣдете?—спросилъ Гловацкій.

— А какъ же! Онъ сюда за мною долженъ заѣхать: вѣдь искусанные волкомъ не ждутъ, а завтра къ обѣду назадъ и сейчасъ ѣхать съ исправникомъ. Вотъ вамъ и жизнь, и естественныя, и всякія другія науки,—добавилъ онъ, глядя на Лизу. — Что и зналъ-то когда-нибудь, и то все успѣлъ семь разъ позабыть.

— Какая странная должность!

— У насъ всѣ должности удивятъ васъ, если найдете интересъ въ нихъ всмотрѣться. Это еще не самая странная, самую странную занимаетъ Юстинъ Помада. Онъ *читаетъ чистописаніе.*

Всѣ засмѣялись.

— Право! Вы его самого разспросите о его обязанностяхъ: онъ и самъ то же самое вамъ скажетъ.

— Вотъ, Женни, фатальный нашъ пріѣздъ! Не успѣли показаться и чуть-чуть не стоили человѣку жизни,—замѣтила Лиза.

— И еще какому человѣку-то! Единственному, можетъ-быть, цѣлому человѣку на пять тысячъ верстъ кругомъ.

— А вы, докторъ, говорили, что лучшій человѣкъ здѣсь мой папа,—проговорила, немножко краснѣя, Женни.

— Это между нами: я говорилъ, Петръ Лукичъ солнце, а Помада вездѣ Антикъ. Петръ Лукичъ все-таки чего-нибудь для себя желаетъ, а тотъ, не сводя глазъ, взираетъ на птицы небесныя, какъ не жнутъ, не сѣютъ, не собираютъ въ житницы, а и сыты и одѣты. Я ужъ его пять лѣтъ сряду стараюсь испортить, да ни на одинъ шагъ въ этомъ не подвинулся. Вы обратите на него вниманіе, Лизавета Егоровна, — это дорогой экземпляръ, скоро такихъ ужъ ни за какія деньги нельзя будетъ видѣть. Онъ стоитъ вниманія и изученія не менѣе самаго допотопнаго монстра. Право. Если любите натуру, въ изученіи которой не можемъ вамъ ничѣмъ помочь ни я, ни мои просвѣщенные друзья, сообществомъ которыхъ мы здѣсь имѣемъ удовольствіе наслаждаться, то вотъ разсмотрите-ка, что такое подъ черепомъ у Юстина Помады. Говорю вамъ, это будетъ преинтересное занятіе для вашей любознательности, далеко интереснѣйшее, чѣмъ то, о которомъ возвѣщаетъ мнѣ приближеніе вотъ этого проклятаго колокольчика, котораго, кажется, никто даже, кромѣ меня, и не слышитъ.

Изъ-за угла улицы, дѣйствительно, послышался колокольчикъ, и прежде чѣмъ онъ замолкъ у воротъ училища, докторъ всталъ, пожалъ всѣмъ руки и, взявъ фуражку, молча вышелъ за двери. Зарницынъ и Вязмитиновъ тоже стали прощаться.

— Боже, а я-то! Что жъ это я надѣлала, засидѣвшись до сихъ поръ? — тревожно проговорила Лиза, хватаясь за свою шляпку.

— Вы! Нѣтъ, ужъ вы не безпокойтесь: я вашу лошадь давно отослалъ домой и написалъ, что вы у насъ, — сказалъ, останавливая Лизу, Гловацкій.

— Что вы надѣлали, Петръ Лукичъ! Теперь забранятъ меня.

— Не бойтесь. Нынче больше бы забранили, а завтра поѣдете на моей лошади съ Женичкой, и все благополучно обойдется.

Прощаясь съ Женни, Вязмитиновъ спросилъ ее:

— Вы знакомы, Евгенія Петровна, съ сочиненіями Гизо?

— Нѣтъ, вовсе ничего не знаю.

— Хотите читать этого писателя?

— Пожалуйста. Да вы ужъ не спрашивайте. Я все прочитаю и постараюсь понять. Это вѣдь историческій писатель?

— Да.

— Пожалуйста,—я съ удовольствіемъ прочту.

Гости ушли, хозяева тоже стали прощаться.

— Ну, что, Женни, какъ тебѣ новые знакомые показались?—спросилъ Гловацкій, цѣлуя дочернину руку.

— Право, еще не думала объ этомъ, папа. Кажется, хорошіе люди.

— Она вѣдь пять лѣтъ думать будетъ, прежде чѣмъ скажетъ,—шутливо перебила Лиза:—а я вотъ вамъ сразу отвѣчу, что каждый изъ нихъ лучше, чѣмъ всѣ тѣ, которые въ эти дни пріѣзжали къ намъ и съ которыми меня знакомили.

Смотритель добродушно улыбнулся и пошелъ въ свою комнату, а дѣвушки стали раздѣваться въ комнатѣ Женни.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Семейная картина въ Меревѣ.

— Однако, что-то плохо мнѣ, Женька, — сказала Лиза, улегшись въ постель съ хозяйкою.—Ждала я этого дома, какъ Богъ знаетъ какой радости, а...

— Что жъ тамъ у васъ? — съ безпокойнымъ участіемъ спросила Женни.

— Такъ, — и разсказать тебѣ не умѣю, а какъ-то сразу тяжело мнѣ стало. Мѣсяцъ всего дома живу, а все, какъ няня говоритъ, никакъ въ стихъ не войду.

— Ты еще не осмотрѣлась.

— Боюсь, чтобъ еще хуже не было. Вотъ у тебя я съ первой минуты осмотрѣлась. У васъ хорошо, лёгко; а тамъ, у насъ, Богъ знаетъ... мудрено все... очень тяжело какъ-то, скучно,—невыносимо скучно.

— Что, Петръ Лукичъ? — спросила Лиза, помѣщаясь на другое утро за чайнымъ столикомъ противъ смотрителя.

— Что, Лизанька?

— Боюсь домой ѣхать.

Смотритель улыбнулся.

— Право!—продолжала Лиза.—Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ становится чего-то страшно и неловко.

— Полноте, Лизочка.—я отпущу съ вами Женни, и ничего не будетъ, ни слова никто не скажетъ.

— Да я не этого и боюсь. Петръ Лукичъ, а какъ-то это все не то, что я себѣ воображала, что я думала встрѣтить дома.

— Это вы, дитя мое, не осмотрѣлись съ нами и больше ничего.

— Нѣтъ, въ томъ-то и дѣло, что я съ *вами*-то совсѣмъ осмотрѣлась, у васъ мнѣ такъ нравится, а дома все какъ-то такъ странно—и суетливо будто, и мертво. Вообще странно.

— Потому и странно, что не привыкли.

— А какъ совсѣмъ не привыкну, Петръ Лукичъ?

Смотритель опять улыбнулся и, махнувъ рукою, проговорилъ:

— Полноте сочинять, другъ мой! —Какъ къ родной семьѣ не привыкнуть.

Тотчасъ послѣ чаю Женни и Лиза въ легкихъ соломенныхъ шляпкахъ впорхнули въ комнату Гловацкаго, расцѣловали старика и поѣхали въ Мерево, на смотрительскихъ дрожкахъ.

Былъ десятый часъ утра, день стоялъ прекрасный, теплый и безоблачный; дорога до Мерева шла почти сплошнымъ дубнячкомъ.

Дѣвушки встали съ дрожекъ и безъ малаго почти всѣ семь верстъ прошли пѣшкомъ. Свѣжее, теплое утро и ходьба прекрасно отразились на расположеніи ихъ духа и на ихъ молодыхъ, свѣжихъ лицахъ, горѣвшихъ румянцемъ усталости.

Передъ околицей Мерева онѣ оправили другъ на другѣ платья, сѣли опять на дрожки и въ самомъ веселомъ настроеніи подъѣхали къ высокому крыльцу бахаревскаго дома.

— Встали наши?—торопливо спросила, вбѣгая на крыльцо, Лиза у встрѣтившаго ее лакея.

— Баринъ вставши давно-съ, чай въ залѣ кушаетъ, а барышни еще не выходили,—отвѣчалъ лакей.

Егоръ Николаевичъ одинъ сидѣлъ въ залѣ за самоваромъ

и пилъ чай изъ большого краснаго стакана, надъ которымъ поспились густые клубы табачнаго дыма.

Заслышавъ по залѣ легкій шорохъ женскаго платья, Бахаревъ быстро повернулся на стулѣ и, не выпуская изъ рукъ стакана, другою рукою погрозилъ подходившей къ нему Лизѣ.

— Шалуха, шалуха, что ты надѣлала!—говорилъ онъ съ добродушнымъ упрекомъ.

— Что, папочка?

— Я хотѣлъ-было за тобою ночью посылать, да такъ ужъ... Какъ таки можно?

— Что жъ такое, папа! Было такъ хорошо, мнѣ хотѣлось повидаться съ Женею, я и поѣхала. Я думала, что успѣю скоро возвратиться, такъ что никто и не замѣтитъ. Ну виновата, ну простите, что жъ теперь дѣлать?

— То-то, что дѣлать? — Шалунья! Я на тебя и не сержусь, а вонъ, смотри-ка, что съ матерью.

— Что съ мамашей?—тревожно спросила дѣвушка.

— Она совсѣмъ въ постель слегла.

— Боже мой! я побѣгу къ ней. Побудь здѣсь пока, Женни, съ папой.

— Ни, ни, ни!—остановилъ ее Бахаревъ.—У нея цѣлую ночь были истерики и она только передъ утромъ глаза сомкнула, не ходи къ ней, не буди ее, пусть успокоится.

— Ну, я пройду къ сестрамъ.

— Онѣ тоже объ не спали. Садитесь-ка, ватъ пейте пока чай, Богъ дастъ все обойдется. Только другой разъ не пугай такъ мать.

За дверями гостиной послышались легкіе шаги и въ залу вошла Зинаида Егоровна. Она была въ бѣломъ утреннемъ пеньюарѣ и ея роскошная, густая коса красиво покоилась въ синелевой сѣткѣ, а всегда блѣдное, болѣзненно прозрачное лицо казалось еще блѣднѣе и прозрачнѣе отъ лежавшаго на немъ слѣда безсонной ночи. Зинаида Егоровна была очень эффектна: точно средневѣковая, рыцарственная дама, мечтающая о своемъ далекомъ рыцарѣ.

Тихой, ровной поступью подошла она къ отцу, спокойно поцѣловала его руку и спокойно подставила ему для поцѣлуя свой мраморный лобъ.

— Что, Зинушка, съ матерью?—спросилъ старикъ.

— Мамѣ лучше, она успокоилась и съ семи часовъ за-

снула. Здравствуйте, Женни!—добавила Зина обращаясь къ Гловацкой и протягивая ей руку.—Здравствуй, Лиза.

— Здравствуй, Зина.

— Позвольте, папа,—проговорила Зинаида Егоровна, взявшись за спинку отцовскаго стула, и сѣла за самоваръ.

— Чего ты такая блѣдная сегодня, Зиночка,—съ участіемъ освѣдомилась Лиза.

— Не спала ночь.—мнѣ это всегда очень вредно.

— Отчего ты не спала?

— Нельзя же всѣмъ оставить мать.

Лиза покраснѣла и закусила губку. Всѣ замолчали.

Женни чувствовала, что здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, какъ-то тяжело дышится.

Коридоромъ вошла въ залу Софи. Она не была блѣдна, какъ Зина, но тоже казалась нѣсколько утомленною.

Лиза замѣтила это, но уже ни о чемъ не спросила сестру.

Софи поцѣловала отца, потомъ сестеръ, потомъ съ нѣкоторымъ видомъ старшинства поцѣловала въ лобъ Женни и попросила себѣ чаю.

— Весело тебѣ было вчера?—спросила она Лизу, выпивъ первую чашку.

— Да, очень весело,—нѣсколько нерѣшительно отвѣчала Лиза.

И опять всѣ замолчали.

— Что вашъ папа дѣлаетъ, Женни?—протянула Зинаида Егоровна.

— Онъ все въ своемъ кабинетѣ: вѣдомости какія-то составляетъ въ дирекцію.

— А вы же чѣмъ занимались все это время?

— Я? Пока еще ничѣмъ.

— Она хозяйничаетъ: у нея все такъ хорошо, такъ тихо, что не вышелъ бы изъ дома,—сочла нужнымъ сказать Лиза.

— А! это прекрасно,—опять протянула Зинаида Егоровна, и опять всѣ замолчали.

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ здѣсь скучно!»—подумала Женни, поправивъ бретели своего платья, и стала смотрѣть въ открытое окно, изъ котораго было видно колосистое поле бурѣвшей ржи.

— Здравствуй, красавица!—проговорила за плечами у Женни старуха Абрамовна, вошедшая съ подносомъ, на

которомъ стояла высокая чайная чашка, раскрашенная синимъ съ золотомъ.

— Здравствуй, няничка! — воскликнула съ восторгомъ Женни и, обнявъ старуху, нѣсколько разъ ее поцѣловала.

— А ты, проказница, заѣхала, да и горя тебѣ мало,— съ ласковымъ упрекомъ замѣтила Лизѣ Абрамовна, пока Зина наливала чай въ матушкину чашку.

— Ахъ, полно, няня!

— Что полно? не нравится? Вотъ пожалуй-ка къ маменькѣ. Она какъ проснулась, такъ сейчасъ о тебѣ спросить изволила: видѣть тебя желаетъ.

Лиза встала и пошла къ коридору.

— Ты послушай-ка! Постой, молъ, подожди, не скачи стрекозою-то,—проговорила Абрамовна, идя вслѣдъ за Лизой по длинному и довольно темному коридору.

Лиза остановилась.

— Ишь у тебя волосы-то какъ разбрылялись,—бормотала старуха, поправляя пальцемъ свободной руки набѣжавшіе у Лизы на лобъ волосы.—Ты поди въ свою комнату, да поправься прежде, причешись, а потомъ и приходи къ родительницѣ, да не фонъ-барономъ, а покорно приди, чувствуя, что ты мать обидѣла.

— Что вы, въ самомъ дѣлѣ, всѣ на меня?—вспыльчиво сказала долго сдерживавшаяся Лиза.

— Ахъ, мать моя! не хвалить ли прикажешь?

— Ничего я дурного не сдѣлала.

— Гостей полонъ домъ, а она, фить! улетѣла.

— Ну и улетѣла.

— Какъ это грустно,—говорила Женни, обращаясь къ Бахареву:— что мы съ папой удержали Лизу и надѣлали вамъ столько хлопотъ и непріятностей.

Бахаревъ выпустилъ изъ-подъ усовъ облако дыма и ничего не отвѣтилъ. Вмѣсто его, на этотъ вызовъ отвѣчала Зина.

— Вы здѣсь ничѣмъ не виноваты, Женичка, и вашъ папа тоже. Лиза сама должна была знать, что она дѣлаетъ. Она еще ребенокъ, прямо съ институтской скамьи и позволяетъ себѣ такія странныя выходки.

— Она хотѣла тотчасъ же ѣхать назадъ,—это мы ее удержали ночевать. Папа безъ ея вѣдома отослалъ лошадь. Мы думали, что у васъ никто не будетъ безпокоиться, зная, что Лиза съ нами.

— Да это вовсе не въ томъ дѣло. Здѣсь никто не сердился и не сердится. но скажите. пожалуйста, развѣ вы, Женни. оправдываете то. что сдѣлала сестра Лиза по своему легкомыслію?

Для Женни былъ очень непріятенъ такой оборотъ разговора.

— Я, право. не знаю.—отвѣчала она:—кто какое значеніе придастъ тому. что Лиза проѣхалась ко мнѣ.

— Нѣтъ вы, Женичка. будьте прямодушнѣе, отвѣчайте прямо: сдѣлали бы вы такой поступокъ?

— Я не знаю. вздумалось ли бы мнѣ пошалить такимъ образомъ, а если бы вздумалось. то я поѣхала бы. Мнѣ кажется,—добавила Женни,—что мой отецъ не придалъ бы этому никакого серьезнаго значенія, и поэтому я нимало не охуждала бы себя за шалость. которую позволила себѣ Лиза.

— Правда, правда,—подхватилъ Бахаревъ.—Пойдутъ дуть, да раздувать и надуютъ и себѣ всякія лихія болѣсти. и другимъ безпокойство. Охъ ты. Господи! Господи!—произнесъ онъ. вставая и направляясь къ дверямъ своего кабинета:—ты ищешь только покоя, а онѣ знай исторіи разводятъ. И изъ-за чего, за что дѣвочку разогорчили!—добавилъ онъ, входя въ кабинетъ, и такъ хлопнулъ дверью. что въ залѣ задрожали стѣны.

Осторожно, на цыпочкахъ входили въ комнату Ольги Сергѣевны Зина, Софи и Женни. Женни шла сзади всѣхъ.

Оба окна въ комнатѣ у Ольги Сергѣевны были занавѣшены зелеными шерстяными занавѣсками, и только въ одномъ уголокъ занавѣски былъ приподнятъ и приколотъ булавкой. Въ комнатѣ былъ полусвѣтъ. Ольга Сергѣевна съ нѣсколько разстроеннымъ лицомъ лежала въ кровати. Возлѣ ея подушекъ стоялъ кругленькій столикъ съ баночками. пузыречками и чашкою недопитаго чаю. Въ ногахъ, держась обѣими руками за кровать. стояла Лиза. Глаза у нея были заплаканы и ноздри раздувались.

— Здравствуй. Женичка!—безучастно произнесла Ольга Сергѣевна, подставляя щеку наклонившейся къ ней дѣвушкѣ, и сейчасъ же непосредственно продолжала:—Положимъ, что ты еще ребенокъ, многаго не понимаешь. и потому тебѣ, разумѣется. во многомъ снисходятъ; но, помилуй скажи. что же ты за репутацію себѣ составишь? Да и не себѣ

одной: у тебя еще есть сестра дѣвушка. Положимъ опять и то, что Сонечку давно знаютъ здѣсь всѣ, но все-таки ты ея сестра.

— Господи, maman! ужъ и сестрѣ я даже могу вредить. ну что же это? Будьте же, maman, хоть каплю справедливы,—не вытерпѣла Лиза.

— Ну да, я такъ и ожидала. Это цвѣточки, а будутъ еще ягодки.

— Да Боже мой, что же я такое дѣлаю? За какія вины мною всѣ недовольны? Все это за то, что къ Женни на часокъ проѣхала безъ спроса?—произнесла она сквозь душившія ее слезы.

— Лиза! Лиза!—произнесла вполголоса и качая головою Софи.

— Что?

— Оставьте ее, она не понимаетъ.—съ многозначительной гримасой простонала Ольга Сергѣевна:—она не понимаетъ, что убиваетъ родителей. Штуку отлила: исчезла ночью при сторонникъ людяхъ. Это все ничего для нея не значитъ,—оставьте ее.

Всѣ замолчали. Лиза откинула набѣжавшіе на лобъ волосы и продолжала спокойно стоять въ прежнемъ положеніи.

— Пусть свѣтъ, люди, тяжелыми уроками научатъ тому, чего она не хочетъ понимать,—продолжала чрезъ нѣкоторое время Ольга Сергѣевна.

— Да что же понимать, maman?—совсѣмъ нетерпѣливо спросила послѣ короткой паузы Лиза.—У тети Агніи я сказала свое мнѣніе, можетъ-быть, очень невѣрное, и, можетъ-быть, очень некстати. но неужто это ужъ такой проступокъ, которымъ нужно постоянно пилить меня?

— Да,—вздохнувъ, застонала Ольга Сергѣевна.—Одну глупость сдѣлаемъ, за другую возьмемся, а тамъ за третью, за четвертую и такъ далѣе.

— Если ужъ я такъ глупа, maman, то что-жъ со мной дѣлать? Буду дѣлать глупости, мнѣ же и будетъ хуже.

— Ахъ, уйди, матушка, уйди Бога ради!—нервно вскрикнула Ольга Сергѣевна.—Не распускай при мнѣ этой своей философіи. Ты очень умна, просвѣщенна, образованна, и я не могу съ тобой говорить. Я глупа, а не ты, но у меня есть еще другія дѣти, для которыхъ нужна моя жизнь. Уйди, прошу тебя.

Лиза тихо повернулась, и твердою, спокойною поступью вышла за двери.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Перепилили.

Гловацкой очень хотѣлось выйти вслѣдъ за Лизой, но она осталась.

Ольга Сергѣевна вздохнула, сдѣлала гримасу и, обратясь къ Зинѣ, сказала:

— Накапь мнѣ на сахаръ гофманскихъ капель, да пошлите ко мнѣ Абрамовну.

Женни воспользовалась этимъ случаемъ и пошла позвать няню.

Лиза сидѣла на балконѣ, положивъ свою головку на руку. Глаза ея были полны слезъ, но она безпрестанно смаргивала эти слезы и глядѣла на разстилавшееся за рѣкою колосистое поле.

Женни подошла, поцѣловала ее въ лобъ и сѣла съ ней рядомъ на плетеный диванчикъ.

— Что тамъ теперь?—спросила Лиза.

— Ничего; Ольга Сергѣевна, кажется, хочетъ уснуть.

— Что если это такъ будетъ всегда, цѣлую жизнь?

— Ну, Богъ знаетъ что, Лиза! Ты не выдумывай себѣ, пожалуйста, горя больше, чѣмъ оно есть.

— Что-жъ это по-твоему — ничего? Можно, по-твоему, жить при такихъ сценахъ? А это первое время; первый мѣсяцъ, первый мѣсяцъ дома послѣ шестилѣтней разлуки! Боже мой! Боже мой! — воскликнула Лиза и, не удержавъ слезъ, горько заплакала.

— Полно плакать, Лиза.—уговаривала ее Гловацкая.

Лиза не могла удержаться и, зажавъ платкомъ ротъ, вся дергалась отъ сдерживаемыхъ рыданій.

— Перестань, что это! Застанутъ въ слезахъ, и еще хуже будетъ. Пойдемъ, пройдемся.

Лиза молча встала, отерла слезы и подала Женни свою руку.

Дѣвушки прошли молча длинную тополевую аллею сада и вышли черезъ калитку на берегъ, съ котораго открывался домъ и англійскій садъ камергерши Меревой.

— Какой красивый видъ отсюда!—сказала Гловацкая.

— Да, красивый, — равнодушно отвѣчала Лиза, снова обтирая платкомъ слезы, наполнившія ея глаза.

— А оттуда, изъ ея оконъ, я думаю, еще лучше.

— Богъ знаетъ,—поле и нашъ домъ, должно-быть, видны. Впрочемъ, я, право, не знаю, и меня теперь это вовсе не занимаетъ.

Дѣвушки продолжали идти молча по берегу.

— Ваши съ нею знакомы?—спросила Женни, чтобы не давать задумываться Лизѣ, у которой безпрестанно навертывались слезы.

— Съ кѣмъ?—нетерпѣливо спросила Лиза.

— Съ Меревой.

— Знакомы.

Лиза опять обтерла слезы.

— А ты познакомилась?

— Съ Меревой?

— Да.

— Нѣтъ: мы ходили къ ней съ папой, да она нездорова что-ль-то была: не приняла. Мы только были у Помады, навѣщали его. Хочешь, зайдемъ къ Помадѣ?

— Я очень рада была бы, Лиза, но какъ же это? Идти однимъ, къ чужому мужчинѣ, на чужой дворъ.

— Да что жъ такое? Ну что жъ съ нами сдѣлается?

— Ничего не сдѣлается, а пойдутъ толковать.

— Что жъ толковать? Больного развѣ нельзя навѣстить? Больныхъ всѣ навѣщаютъ. Я же была у него съ папой, отчего же мнѣ теперь не пойти съ тобою?

— Нѣтъ, я не пойду, Лиза, именно съ тобою и не пойду, потому что здоровья мы ему съ собою не принесемъ, а тебѣ ужъ такъ достанется, что и мѣста не найдешь.

— Да, вотъ это-то! — протянула, насупивъ бровки, Лиза, и опять задумалась.

— О чемъ ты все задумываешься? Брось это все, — говорила Женни.

— Да, брось! Хорошо тебѣ говорить: «брось», а сама бы попробовала слушать эти вѣчные реприманды. И отъ всѣхъ, отъ всѣхъ, рѣшительно отъ всѣхъ. Ахъ, ты, Боже мой! да что жъ это такое! И мать, и Зина, и Сонечка, и даже няня. Только одинъ отецъ не брюзжитъ, а то всѣ, таки рѣшительно всѣ. Шагъ ступлю — не такъ ступила; слово скажу—не такъ сказала; все не такъ, все имъ не нравится, и пойдетъ на цѣлый день разговоръ. Я хотѣла бы посмотрѣть на тебя на моемъ мѣстѣ; хотѣла бы видѣть, отска-

кивало ли бы отъ тебя это обращеніе, какъ отъ тебя все отскакиваетъ.

— Чего жъ ты сердишься, Лиза? Я вѣдь не виновата, что у меня такая натура. Я ледышка, какъ вы называли меня въ институтѣ, ну и что жъ мнѣ дѣлать, что я такая ледышка. Можетъ-быть, это и лучше.

— Я буду очень рада, если тебя мужъ будетъ бить,— совершенно забывшись, проговорила Лиза.

Женни побѣднѣла, какъ бѣлый воротничокъ ея манишки, и дернула свою руку съ локтя Лизы, но тотчасъ же остановилась и съ легкимъ дрожаніемъ въ голосѣ сказала:

— Даже будешь рада!

— Да, буду рада, очень буду рада.

Женни опять подернуло, и ея блѣдное лицо вдругъ покрылось яркимъ румянцемъ.

— Ты взволнована и сама не знаешь, что говоришь, на тебя нельзя даже теперь сердиться.

— Конечно, я глупа; чего жъ на мои слова обращать вниманіе,— отвѣчала ей съ ѣдкой гримаской Лиза.

— Не придирайся, пожалуйста. Недостаетъ еще, чтобы мы вернулись надувшись другъ на друга: славная будетъ картина и тоже кстати.

— Нѣтъ, ты меня бѣсишь.

— Чѣмъ это?

Твоимъ напускнымъ равнодушіемъ, этой спокойностью какою-то. Тебѣ вѣдь отлично жить, и ты отлично живешь: у тебя все ладится и всегда все будетъ ладиться.

— Ну, такъ ты и желаешь, чтобы, для разнообразія въ моей жизни, меня билъ мой мужъ?

— Не билъ, а такъ вотъ пилилъ бы. Да вѣдь тебѣ что жъ это. Тебѣ это ничего. Ты будешь пѣшкою у мужа, и тебѣ это все равно будетъ,—будешь очень счастлива.

Женни спокойно молчала. Лиза вся дрожала отъ негодованія и, насупивъ брови, добавила:

— Да, это такъ и будетъ.

— Что это такое?

— Что будешь тряпкой, которой мужъ будетъ пыль стирать.

Женни опять немножко побѣднѣла и произнесла:

— Ну, это мы посмотримъ.

— Нечего и смотрѣть: все такъ видно.

— Не станемъ больше спорить объ этомъ. Ты оскорблена

и срываешь на мнѣ свое сердце. Мнѣ тебя такъ жаль, что я и сказать не умѣю, но все-таки я съ тобой, для твоего удовольствія, не поссорюсь. Тебѣ нынче не удастся вытянуть у меня дерзость: но вспомни, Лиза, пянину пословицу, что вѣдь «и сырыя дрова загораются».

— И пусть.—еще болѣе насупясь, отвѣчала Лиза.

Гловацкая не отвѣтила ни слова и, дойдя до перекрестной дорожки, тихо повернула къ дому.

Лиза шла рядомъ съ подругою, все сильнѣе и сильнѣе опираясь на ея руку.

Такъ онѣ дошли молча до самаго сада. Пройдя также молча нѣсколько шаговъ по саду, у поворота къ тополевой аллеѣ Лиза остановилась, высвободила свою руку изъ руки Гловацкой и, кусая ноготокъ, съ тѣми же, однако, насупленными бровками, сказала:

— Ты на меня сердишься, Женни? Я передъ тобою очень виновата: я тебя обидѣла, прости меня.

Большіе глаза Гловацкой и ея доброе лицо приняли выраженіе какого-то неописаннаго счастья.

— Боже мой!—воскликнула она:—какое чудо! Лиза Бахарева первая попросила прощенья.

— Да, прости меня, я тебя очень обидѣла.—повторила Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, какъ маленькій ребенокъ:—я скверная, злая и не стою твоей любви.—лепетала она, прижимаясь къ плечу подруги.

У Гловацкой тоже набѣжали слезы.

— Полно лгать.—говорила она:—ты добрая, хорошая дѣвушка; я тебя теперь еще больше люблю.

Лиза мало-по-малу стихала и, наконецъ, поднявъ голову, совсѣмъ весело взглянула въ глаза Гловацкой, отерла слезы и нѣсколько разъ ее поцѣловала.

— Пойдемъ, умоемся,—сказала Женни.

Дѣвушки снова вышли изъ сада и, взойдя на плотикъ, умылись и утерлись носовыми платками.

— Вотъ если бы насъ видѣли!—сказала Лиза съ улыбкой, которая плохо шла къ ея заплаканнымъ глазамъ.

— Ну и что жъ, ничего бы не было, если бы и видѣли.

— Какъ же! Ахъ, Женька, возьми меня, душка, съ собою. Возьми меня, возьми отсюда. Какъ мнѣ хорошо было бы съ вами. Какъ я счастлива была бы съ тобою и съ твоимъ отцомъ. Вѣдь это онъ научилъ тебя быть такой доброю.

— Нѣтъ, я вѣдь такъ родилась, такая ледышка,—смѣясь, отвѣчала Женни.

— Да, какъ же! Нѣтъ, это тебя выучили быть такой хорошей. Люди не родятся такими, какими они послѣ выходятъ. Развѣ я была когда-нибудь такая злая, гадкая, какъ сегодня?.. — У Лизы опять навернулись слезы. Она была ужъ очень разстроена: кажется, всѣ нервы ея дрожали, и она ежеминутно снова готова была расплакаться.

Женни замѣтила это и сказала:

— Ну, перестанемъ толковать, а то опять придется умываться.

— Что жъ, я говорю правду, мнѣ это больно; я никогда не забуду, что сказала тебѣ. Я вѣдь и въ ту минуту этого не чувствовала, а такъ сказала.

— Ну, развѣ я этого не знаю.

— То-то, ты не подумай, что я хоть на минуту тебя не любила.

Лиза опять расплакалась.

— Ты забудь, забудь,—говорила она сквозь слезы:—потому что я... сама ничего не помню, что я дѣлаю. Меня... такъ сильно... такъ сильно... такъ сильно... оби... обидѣли. Возьми... возьми къ себѣ, другъ мой! ангелъ мой хранитель... сох... сохрани меня.

— Что ты болтаешь, смѣшная! Какъ я тебя возьму? Здѣсь у тебя семья: отецъ, мать, сестры.

— Я ихъ буду любить, я ихъ еще... больше буду лю... бить. Тутъ я ихъ скорѣе перестану любить. Они, можетъ-быть, и доб...рые всѣ, но они такъ странно со мною об... обра...шаются. Они не хотятъ понять, что мнѣ такъ нельзя жить. Они ничего не хотятъ понимать.

— Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнаютъ, какая ты добрая, и поймутъ, какъ съ тобою нужно обращаться.

— Н...нѣтъ, они не поймутъ; они никог...да, ни...ког...да не поймутъ. Тетка Агнія правду говорила. Есть, вѣрно, въ самомъ дѣлѣ семьи, гдѣ еще меньше понимаютъ, чѣмъ въ институтѣ.

Лиза, разстроенная до послѣдней степени, неожиданно бросилась на колѣни предъ Гловацкою и въ какомъ-то изступленіи проговорила:

— Ангелъ мой, возьми! Я здѣсь ихъ возненавижу, я

стану злая, стану демономъ, чудовищемъ, звѣремъ... или я... чортъ знаетъ чего надѣлаю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Перчатка поднята.

Узнавъ, что мужъ очень сердится и начинаетъ похлопывать дверями, Ольга Сергѣевна рѣшилась выздоровѣть и выйти къ столу. Она умѣла доѣзжать Егора Николаевича истерическими фокусами, но все-таки сильно побаивалась заходить далеко. Храбрый эксъ-гусаръ, опутанный слезливыми бабами, обыкновенно терпѣливо сносилъ подобныя сцены и, по безпредѣльной своей добротѣ, никогда не умѣлъ остановить ихъ прежде, чѣмъ эти сцены совершенно выводили его изъ терпѣнія. Но зато, когда визгъ, стоны, суетливая бѣготня прислуги выводили его изъ терпѣнія, онъ, громко хлопнувъ дверью, уходилъ въ свою комнату и порывисто бѣгалъ по ней изъ угла въ уголъ. Если же еще съ полчаса исторія въ домѣ не прекращалась, то двери кабинета обыкновенно съ шумомъ распахивались, Егоръ Николаевичъ выбѣгалъ оттуда дрожащій и съ растрепанными волосами. Онъ стремительно достигалъ комнаты, гдѣ истеричничала Ольга Сергѣевна, громовымъ словомъ и многознаменательнымъ движеніемъ чубука выгонялъ вонъ изъ этой комнаты всякую живую душу и затѣмъ держалъ къ корчившей ноги больной такую рѣчь:

— Вамъ мѣшаютъ успокоиться, и я васъ запру на ключъ, пока вы не перестанете.

Затѣмъ эксъ-гусаръ выходилъ за дверь, оставляя больную на постели одну-одинешеньку. Manu intrepida поворачивалъ онъ ключъ въ дверномъ замкѣ и, усѣвшись на первое ближайшее кресло, дымилъ какъ паровозъ, выкуривая трубку за трубкой, до тѣхъ поръ, пока за дверью не начинали стихать истерическіе стоны. Сначала, когда Ольга Сергѣевна была гораздо моложе и еще питала нѣкоторыя надежды хоть разъ выйти съ достоинствомъ изъ своего замкнутаго положенія, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца жениныхъ припадковъ; но разъ отъ раза, по мѣрѣ того, какъ взбѣшенный гусаръ прибѣгалъ къ своему оригинальному лѣченію, оно у него все шло удачнѣе. Не успѣетъ, бывало, Бахаревъ, усѣвшись у двери, докурить первой трубки, какъ уже вмѣсто безпорядочныхъ облаковъ дыма выпуститъ изо рта

стройное, правильное колечко, что обыкновенно служило несомнѣннымъ признакомъ, что Егоръ Николаевичъ ровно черезъ двѣ минуты встанетъ, повернетъ обратно ключъ въ двери, а потомъ уйдетъ въ свою комнату, велитъ запрягать себѣ лошадей и уѣдетъ дня на два, на три въ городъ заниматься дѣлами по предводительской канцеляріи и дворянской опекѣ. У Егора Николаевича никакъ нельзя было добиться: подозрѣваетъ ли онъ свою жену въ истерическомъ притворствѣ, или считаетъ свой способъ лѣченія надежнымъ средствомъ противъ дѣйствительной истерики, но онъ неуклонно слѣдовалъ своему правилу до счастливаго дня своей серебряной свадьбы. А теперь, когда Абрамовна доложила Ольгѣ Сергѣевнѣ, что «баринъ хлопнули дверью и ушли къ себѣ». Ольга Сергѣевна опасалась, что Егоръ Николаевичъ не измѣнитъ себѣ и до золотой свадьбы. Хорошо зная, что должно наступить послѣ маневра, о которомъ ей доложила Абрамовна, Ольга Сергѣевна простонала:

— Только не бѣгайте Бога ради, не суетитесь; голову всю мнѣ разломали своимъ безтолковымъ снованьемъ. Мечутся безъ толку изъ угла въ уголъ, словно угорѣлыя кошки, право.

Произнеся такую рѣчь, Ольга Сергѣевна будто успокоилась, полежала и потомъ спросила:

— А кормили ли сегодня кошечекъ-то?

— Какъ же, matuа, кормили,—отвѣчала Софи.

— То-то. Матузалевнѣ надо было сырого мяса дать: она все еще нездорова; ее не надо кормить варенымъ. Дайте-ка мнѣ туфли и шлафоръ, я попробую встать. Бока отлежала.

Проба оказалась удачной. Ольга Сергѣевна встала, перешла съ постели на кресло и надѣла бѣлаго шлафора, а потребовала темненькій капотикъ.

— Скучно здѣсь,—говорила она, посматривая на дверь:— дайте я попробую выйти къ столу.

Вторая проба была опять удачна не менѣе первой. Ольга Сергѣевна безопасно достигла столовой, поклонилась мужу, потомъ помолилась передъ образомъ и сѣла за столъ на свое обыкновенное мѣсто.

Взглянувъ на наплаканные глаза Лизы, она сдѣлала страдальческую мину матери, оскорбленной непочтительною дочерью, и стала разливать супъ съ кнелью.

Егоръ Николаевичъ былъ мраченъ и хранилъ гробовое молчаніе. Глядя на него, всѣ тоже молчали.

— Что вы такъ мало кушаете, Женичка? — обратился, наконецъ, въ срединѣ обѣда Бахаревъ къ Гловацкой.

— Благодарю васъ, я сыта.

— То-то, вы кушайте по-нашему, по-русски, вплотную. У насъ, вѣдь, не то, что въ институтѣ: «дѣти! дѣти! чего вамъ? Картооофеллю, картоооффеллю!»—пропищалъ, какъ-то весь сократившись, Бахаревъ, какъ бы подражая въ этомъ разсказѣ какой-то директрисѣ, которая каждое утро спрашивала своихъ воспитанницъ: «дѣти, чего вамъ?» А дѣти ей всякое утро отвѣчали хоромъ: «картофелю».

Всѣ были очень рады, что буря проходитъ, и всѣ разсмѣялись. И заплаканная Лиза, и солидная Женни, и рыцарственная Зина, безцвѣтная Софи, и даже сама Ольга Сергѣевна не могла равнодушно смотрѣть на Егора Николаевича, который, продекламировавъ послѣдній разъ «картооофеллю», остался въ принятомъ имъ на себя сокращенномъ видѣ и смотрѣлъ робкими институтскими глазами въ глаза Женни.

— Это вовсе не похоже: никогда этого у насъ не было,— смѣясь, отвѣчала Бахареву Женни.

— Какъ? какъ не было? Не было этого у васъ, Лизокъ? Не просили вы себѣ всякій день кааартоооффеллю!

— Нѣтъ, папа: насъ хорошо кормили. Теперь въ институтахъ хорошо кормятъ.

— Ну, разсказывайте, *хорошо*. Знаемъ мы это хорошо! На десять штукъ фунтъ мяса сварятъ, а то все кааартоооффеллю.

— Да нѣтъ же, папа, не знаете вы, — шутливо возразила Лиза.

— Реформы, значитъ, реформы, и до васъ дошли благодѣтельныя реформы?

— Да, теперь по всему замѣтно, что въ институтахъ иные порядки настали. Прежнихъ порядковъ ужъ нѣтъ, — какъ-то двусмысленно замѣтила Ольга Сергѣевна.

— Да, вотъ я смотрю на Евгенію Петровну: кровь съ молокомъ. Если бы старые годы — съ сердечкомъ распростись.

— Стыдно подемѣиваться, Егоръ Николаевичъ, — замѣтила Женни и покраснѣла.

— А краснѣютъ-то нынѣшнія институтки еще такъ же точно, какъ и прежнія.—продолжалъ шутить старикъ.

— Не всѣ, папа,—весело замѣтила Лиза.

— Да, не всѣ, — вздохнувъ и принявъ угнетенный видъ, подхватила Ольга Сергѣевна. — Изъ нынѣшнихъ институтокъ есть такія, что, кажется, ни передъ чѣмъ и ни передъ кѣмъ не покраснѣютъ. О чемъ прежнія и думать-то, и разсуждать не умѣли, да и не смѣли, въ томъ нѣкоторыя изъ нынѣшнихъ съ старшими зубъ за зубъ. Ни совѣты имъ, ни наставленія, ничто не нужно. Сами все больше другихъ знаютъ и никѣмъ, и ничѣмъ не дорожатъ.

Лиза взглянула на Гловацкую и сохранила совершенное спокойствіе во все время, пока мать загинала ей эту шпильку.

За чаемъ шпигованье повторилось снова.

— Поѣдемте на озеро, Женичка. Вы вѣдь еще не были на нашемъ озерѣ. Будемъ тамъ ловить рыбу, сваримъ уху и пріѣдемъ,—предложилъ Бахаревъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, Егоръ Николаевичъ, я не могу, я сегодня должна быть дома.

— Полноте, что̀ вамъ тамъ дома, съ своимъ старикомъ дѣлать? У насъ вотъ будетъ какой гусарчикъ Канивцовъ—чудо!

— Богъ съ нимъ!

— Сонька его совсѣмъ заполонила, разбойница, но вы.. одно слово: veni, vidi, vici.

— Что̀ это значитъ?

— Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

— Оооо! Мнѣ этого пока вовсе не нужно.

— Те, те, те, не нужно! Всѣ такъ говорятъ—не нужно, а женишка̀ порядочнаго сейчасъ и заплетутъ въ свои розовыя сѣти.

— Я вамъ не сказала, что мнѣ вовсе не нужно, а я говорю, мнѣ это *пока* не нужно.

— А, — разсмотрѣть хотите, это другое дѣло. Ну, а съ нами-то нынче оставайтесь.

— Не могу, Егоръ Николаевичъ.

— Лиза, что жъ ты не просишь?

Лиза очень боялась этого разговора и чуть внятно проговорила:

— Оставайся, Женни.

— Не могу, Лиза, не проси. Ты знаешь, ужъ если бы было можно, я не отказала бы себѣ въ удовольствіи и осталась бы съ вами.

— Вы не по-дружески ведете себя съ Лизой, Женичка,— начала Ольга Сергѣевна.—Прежнія институтки тоже такъ не поступали. Прежнія всегда старались превосходить одна другую въ великодушіи.

— Если одна пила рюмку уксуса, то другая двѣ за нее,— подхватилъ развеселившійся Бахаревъ и захохоталъ.

— Да, — продолжала Ольга Сергѣевна: — а вы вотъ не такъ. Лиза у васъ ночевала, по вашему приглашенію, а вы не удовлетворяете ея просьбы.

Лиза во время этого разговора старалась смотрѣть какъ можно спокойнѣе.

— Лизанька, вѣроятно, и совсѣмъ готова была бы у васъ остаться, а вы не хотите подарить ей одну ночку.

— Я не могу, Ольга Сергѣевна.

— Отчего же она могла?

— У меня хозяйство, я ничѣмъ не распорядилась.

— А, вы хозяйничаете!

— Не могу выдерживать. Я и за обѣдомъ едва могла промолчать на всѣ эти задиранья. Господи! укроти Ты мое сердце!—сказала Лиза, выйдя изъ-за чая.

Ольга Сергѣевна прямо изъ-за самовара ушла къ себѣ; для Гловацкой велѣли запрягать ея лошадь, а на балконъ подали душистый, розовый варенецъ.

Вся семья, кромѣ старухи, сидѣла на балконѣ. На дворѣ были густыя лѣтнія сумерки и изъ-за меревскаго сада выплывала красная луна.

— Ахъ, луна!—воскликнула Лиза.

— Что это, Лиза! точно вы не видали луны,—замѣтила Зинаида Егоровна.

— И этого нельзя?—сухо спросила Лиза.

— Не нельзя, а смѣшно. Тебя прозовутъ мечтательницею. Зачѣмъ же быть смѣшною?

Къ крыльцу подали дрожки Гловацкаго, и Женни стала надѣвать шляпку.

— Надолго теперь, Женни.

— Не знаю, Лизочка. Я постараюсь увидѣть тебя поскорѣе.

— Вы ужъ и замужъ безъ Лизы не выходите,— смѣясь проговорилъ Бахаревъ.

— Я ужъ вамъ сказала, Егоръ Николаевичъ, что мы съ Лизой еще и не собираемся замужъ.

Бахаревъ продекламировалъ:

«Золотая волюшка
Мнѣ милѣй всего,
Не надо мнѣ съ волею
Въ свѣтѣ ничего».

— Такъ ли?

— Именно такъ. Егоръ Николаевичъ?

— И ты тоже, Лизокъ?

— О, да, тысячу разъ да, папа.

— Ну вотъ, говорятъ, институтки перемѣнились! Все тѣ же, и все тѣ же у нихъ пѣсенки.

Егоръ Николаевичъ снова расхохотался. Женни простилась и вышла. Зина, Софи и Лиза проводили ее до самыхъ дрожекъ.

— Какая ты счастливица, Женни: ѣхать ночью одной по лѣсу. Ахъ, какъ хорошо!

— Боже мой! что это, въ самомъ дѣлѣ, у тебя, Лиза, то ночь, то луна, дружба... тебя, просто, никуда взять нельзя, съ тобою засмѣютъ, — произнесла по-французски Зинаида Егоровна.

Женни замѣтила при свѣтѣ луны, какъ на глазахъ Лизы блеснули слезы, но не слезы горя и отчаянія, а сердитыя, непокорныя слезы, и прежде чѣмъ она успѣла что-нибудь сообразить, та откинула волосы и рѣзко сказала:

— Ну, однако, это ужъ надоѣло. Знайте же, что мнѣ все равно не только то, что скажутъ обо мнѣ ваши знакомые, но даже и все то, что съ этой минуты станете обо мнѣ думать сами вы, и моя мать, и мой отецъ. Прощай, Женни, — добавила она и шибко взбѣжала по ступенямъ крыльца.

— Однако, какія тамъ странныя вещи, въ самомъ дѣлѣ, творятся, папа, — говорила Женни, снимая у себя въ комнатѣ шляпку.

— Что такое, Женюша?

Гловацкая разсказала отцу все происходившее на ея глазахъ въ Меревѣ.

— Это скверно, — замѣтилъ старикъ. — Чудаки, право! люди не злые, особенно Егоръ Николаевичъ, а живутъ Богъ

знаетъ какъ. Надо бы Агнесѣ Николаевнѣ это умненечко шепнуть: она направитъ все иначе, — а пока Христосъ съ тобой,—иди съ Богомъ спать, Женюшка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Слово съ вѣсомъ.

Мать Агнія у окна своей спальни вязала нитяный чулокъ. Передъ нею на стулѣ сидѣла сестра Ѳеоктиста и разматывала съ моталки бумагу. Былъ двѣнадцатый часъ дня.

— Это, конечно, дѣлаетъ тебѣ честь, — говорила игуменья, обращаясь къ сестрѣ Ѳеоктистѣ: — а все же такъ нельзя. Я просила губернатора, чтобы тебѣ твое, что слѣдуетъ, отъ свекрови истребовали и отдали.

Ѳеоктиста не отрывала глазъ отъ работы и молчала.

Голосъ игуменьи на этотъ разъ былъ какъ-то слабѣе обыкновеннаго: ей сильно нездоровилось.

— Пока ты здорова, конечно, можешь и безъ поддержки прожить, — продолжала мать Агнія: — а помилуй Богъ, болѣзни,—тогда что?

— Я, матушка, здорова,—тихо отвѣчала Ѳеоктиста.

— Ну, да. Я объ этомъ не говорю теперь, а вѣдь живъ человѣкъ живое и думаетъ. Мало ли чѣмъ Господь можетъ посѣтить: тогда копеечка-то и понадобится.

Ѳеоктиста вздохнула.

— И опять, что не въ коня кормъ-то класть, — разсуждала мать Агнія.—Другое дѣло, если бы оставила ты свое доброе роднымъ, или нероднымъ, да людямъ, которые понимали бы, что ты это дѣлаешь отъ благородства, и сами бы поучались быть поближе къ добру-то и къ Богу. Тутъ бы и говорить нечего: дѣло хорошее. А то, что изъ всего этого выходитъ? Свекровь твоя ужъ навѣрное тебя же дурой считаетъ, да и весь городъ-то, мужланы-то ваши, о тебѣ того же мнѣнія. «Вонъ, молъ, дуру-то какъ обдѣлали», да и сами того же на другихъ, тебѣ подобныхъ, овцахъ искать станутъ. Подумай сама, не правду ли я говорю?

— Не знаю, матушка,—краснѣя проронила Ѳеоктиста.

Въ кельѣ наступило молчаніе.

Игуменья быстро шевелила чулочными прутками и смотрѣла на свою работу, нѣсколько надвинувъ брови и о чемъ-то напряженно размышляя. Ѳеоктиста также усердно работала и съ полчаса въ кельѣ только и было слышно,

что щелканье чулочныхъ спицъ, да ровный, усыпляющій шумъ деревянной моталки.

— Дома мать игуменья?—произнесъ среди этой тишины мужской голосъ въ передней.

Игуменья подняла на лобъ очки и, относясь къ Ѳеоктистѣ, проговорила:

— Кто бы это такой?

Ѳеоктиста немедленно встала и въ комнатѣ дѣвочекъ встрѣтилась съ Бахаревымъ, который шутливо погрозилъ ей пальцемъ и вошелъ къ игуменьѣ.

— Здравствуй, сестра!—произнесъ онъ, цѣлуя руки матери Агніи.

— Здравствуй, Егоръ!—отвѣчала игуменья, снова надѣвъ очки и снова запевеливъ стальными спицами.

— Какъ живешь-можешь?

— Что мнѣ дѣлается? Живу, Богу молюсь, да хлѣбъ жую. Какъ вы тамъ живете?

— И мы живемъ.

— Ну, и хорошо. Къ губернатору, что ли, пріѣхалъ?

— Да, и дѣлишки кое-какія собрались, и съ тобой захотѣлось повидаться.

— Спасибо.—Чаю хочешь?

— Пожалуй.

— Ѳеоктиста! скажи тамъ.—распорядилась игуменья.

Ѳеоктиста вышла и черезъ минуту вошла снова.

— Эхъ, сестра Ѳеоктиста.—шутилъ Бахаревъ:—какъ на васъ и смотрѣть ужъ не знаю!

— Какъ изволите?—спросила спокойно ничего не разслышавшая Ѳеоктиста, но покраснѣла, зная, что Бахаревъ любитъ пройтись насчетъ ея земной красоты.

— Полно врать-то! Тоже любезничать: сѣдина въ голову, а бѣсъ въ ребро,—съ подѣльнымъ неудовольствіемъ остановила его игуменья и, посмотрѣвъ съ артистическимъ наслажденіемъ на Ѳеоктисту, сказала: — Иди пока домой. Я тебя позову, когда будетъ нужно.

Монахиня поставила въ уголокъ моталку, положила на нее клубокъ, низко поклонилась, проговорила: «спаси васъ, Господи!» и вышла.

Братъ съ сестрою остались вдвоемъ. Весноватая келейница подала самоваръ.

— Ну, что жъ твои тамъ дѣлаютъ?—спросила игуменья, заварившъ чай и снова взявшись за чулочныя спицы.

— Да что? Не знаю, какъ тебѣ разсказать.

— Что жъ это за мудрость такая?

— Съ котораго конца начать-то, говорю, не знаю.

Игуменья подняла голову и, не переставая стучать спицами, пристально посмотрѣла черезъ свои очки на брата.

— Жена ничего,—хворала немножко,—проговорилъ Бахаревъ:—а теперь лучше: дѣти здоровы, слава Богу.

— А Зининъ мужъ?—спросила мать Агнія, смотря на брата тѣмъ же проницательнымъ взглядомъ и попрежнему стуча спицами.

— Да вотъ думалъ, не встрѣчу ли его здѣсь.

— А она у васъ все?

— У насъ пока.

Игуменья покачала неодобрительно головой и стала поднимать спущенную петлю.

— Странная ты, сестра! Гдѣ же ей, въ самомъ дѣлѣ, быть?

— Гдѣ? У мужа, я думаю.

— Да вѣдь вотъ поди же.

Бахаревъ въ недоумѣніи развелъ руками.

— Что жъ такое?

— Не ладятъ все, Богъ ихъ знаетъ.

— А вы приголубливайте дочку-то. Поди, молъ, сюда: ты у насъ паинька,—кошка дура.

— Да вѣдь что жъ дѣлать?

— Къ мужу отправить. Отрѣзанный ломоть къ хлѣбу не пристаетъ. Разъ бы, да другой увидала, что нельзя глупить, такъ и обдумалась бы: она вѣдь не дура. А то маменька съ папенькой сами потворствуютъ, бабенка и дуритъ, а потомъ и въ привычку войдетъ.

— Да я, сестра, ничего, я даже...

— Ты даже,—хорошо. Постой-ка, батюшка! Ты, вонъ тебѣ шестой десятокъ, да на хорошенькихъ-то зѣваешь, а ея мужу тридцать лѣтъ! тутъ безъ грѣха грѣхъ. —Да грѣхъ-то еще грѣхомъ, а то и сердечишко заговоритъ. Отъ капризныхъ-то женъ мужей вѣдь умѣютъ подбирать: тебѣ, молъ, милая, онъ не годится, ну, дескать, мнѣ подай. Вы объ этомъ подумали съ нѣжной маменькой-то или нѣтъ,—а?

— Да я, сестра...

— Что, братецъ?

— Я съ тобой совершенно согласенъ, даже хотѣлъ...

— Да вѣрно хотѣй не велѣлъ.—ѣдко подсказала игуменья.

— Да полно тебѣ, сестра! Я говорилъ, что это не хорошо.

— Это гадко, а не просто нехорошо. Парень слоняется изъ дома въ домъ по барынькамъ, да сударынькамъ, вездѣ ему рады. Да и отчего жъ нѣтъ? Человѣкъ молодой, не дуренъ, говорить не дуракъ, — а дома пустыя комнаты, да женины капризы помнятся: эй, глядите, друзья, попомните мое слово: будетъ у васъ эта милая Зиночка ни дѣвушка, ни вдова, ни замужняя жена.

— Да она возвратится, возвратится.

— Когда жъ это она возвратится?

— Да вотъ...

— Когда мужъ пріѣдетъ, да станетъ ублажать, ручки лизать, да упрашивать? А какъ, наконецъ, и не станетъ?—значительно моргнувъ однимъ глазомъ, закончила мать Агнія.

Бахаревъ молчалъ.

— Переломить надо эту фанаберію-то. Пусть разъ спесь-то свою спрячетъ, да вернется къ мужу съ покорной головой. А то,—эй, смотри, Егоръ! — на цѣлый вѣкъ вы бабенку сгубите. И что ты-то, въ самомъ дѣлѣ, за колпакъ такой!

— Я, право, сестра, самъ бы давно ее спровадилъ, да вѣдь знаешь мой характеръ дурацкій: сценъ этихъ смерть боюсь. Вѣдь изъ себя выйду, чортъ знаетъ, что надѣлаю.

— Да что тутъ за сцены! Велѣлъ тихо-спокойно запрячь карету, объявилъ рабѣ Божіей: «поѣзжай, молъ, матушка, честью, а не поѣдешь, повезутъ поневолѣ». — вотъ и вся не долга. И поѣдетъ, какъ увидитъ, что съ ней не шутки шутятъ, и съ мужемъ изъ-за вздоровъ разъѣзжаться по пяти разъ на годъ не станетъ. Тебя же еще будетъ благодарить и носа съ прежними штуками въ отцовскій домъ, срамница этакая, не покажетъ.—А Лиза какъ?

Бахаревъ опять развелъ руками и, вытянувъ впередъ губы, отвѣчалъ:

— Да, тоже какъ-то все...

— А-а, ужъ началось! Я такъ скоро не ожидала.—Ну, что же такое?

— Съ матерью, съ сестрами все какъ-то не поладитъ. Она на нихъ, онѣ на нее... ничего не разберу. Поступки такіе какіе-то странные...

— Напримѣръ?

— Да вотъ, напримѣръ, недѣли три тому назадъ, ночью улетѣла.

— Куда это она могла улетѣть? Разскажи, батюшка мой, толкомъ.

Игуменья положила на колѣни работу и приготовилась слушать.

Бахаревъ разсказалъ извѣстную намъ исторію Лизиной поѣздки къ Гловацкимъ и остановился на отъѣздѣ Женни.

— Ну, а послѣ жъ что было?—спокойно спросила игуменья.

— За сущіе пустяки, за луну тамъ, что ли, избранила Соню и Зину, ушла, не прощаясь, наверхъ, двое сутокъ высидѣла въ своей комнатѣ; ни съ кѣмъ ни одного слова не сказала.

Игуменья улыбнулась и опять сказала:

— Ну?

— Ну, и такъ до сихъ поръ: кромѣ «да» да «нѣтъ» никто отъ нея ни одного слова не слышалъ. Я ужъ, было, и покричалъ намедни,—ничего, и глазомъ не моргнула. Ну, а потомъ мнѣ жалко ее стало, приласкалъ, и она ласково меня поцѣловала. — Теперь вотъ передъ отъѣздомъ моимъ пришла въ кабинетъ сама (чтобы не забыть еще, право), просила ей хоть какой-нибудь журналъ выписать.

— Какой же?

— Журналъ для дѣвицъ, что-ль то: тамъ у меня записано. Жена ей выбрала.

— А, Ольга Сергѣевна! Ну, она во всемъ знатокъ!

— Что жъ, все-таки мать.

— Да кто жъ говоритъ!

Игуменья медленно приподнялась, отворила старинную шифоньерку и, доставъ оттуда тридцать рублей, положила ихъ передъ братомъ, говоря:

— Вотъ, сдѣлай-ка мнѣ одолженіе, потрудись выписать Лизѣ два хорошіе журнала. Она не дитя, чтобы ей побасенки читать.

— Да зачѣмъ же это, сестра? На что жъ твои деньги? Развѣ я самъ не могу выписать для дочери?

— Ну, ты самъ можешь дѣлать, что тебѣ угодно, а это прошу сдѣлать отъ меня. А не хочешь, я и сама пошлю на почту, — добавила она, протягивая руку къ лежащимъ деньгамъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же ты сердишься? Я пошлю завтра же.

— Да, пожалуйста, и Лизѣ скажи, что это я ей посылаю. Пусть на здоровье читаетъ. Лучше чѣмъ стонать-то, да съ гусарами брындахлыстничать.

— Ну, ужъ ты пошла!

— Да, поѣхала.

— Какая ты, право, Агнеса! Къ тебѣ ѣдешь за совѣтомъ, за добрымъ словомъ, а ты все ищешь, какъ бы уколоть, уязвить да обидѣть.

Игуменья только перемѣнила спицу и начала новый рядъ.

— Мнѣ самому кажется, что съ Лизой нужно какъ-то не такъ.

Игуменья спокойно вязала.

— Какъ она тебѣ, сестра, показалась?

— Да что жъ — какъ мнѣ? Надо знать, какъ она вамъ показалась? Вы для нея больше, чѣмъ я.

— Да, мнѣ кажется, она добрая дѣвочка, только съ душкомъ.

— То-есть, съ характеромъ, скажи.

— Тебѣ она, видно, понравилась?

— Хорошая дѣвушка: прямая и смѣлая.

— Это еще институтское.

— Нѣтъ, это кровное, — съ нѣкоторою, едва, впрочемъ, замѣтною гордостью возразила игуменья.

— Вотъ ты все толкуешь, сестра, о справедливости, а и сама тоже несправедлива. Соничкѣ тамъ, или Зиночкѣ все въ строку, даже гусаровъ. Вѣдь не выгонять же молодыхъ людей.

— Молодыхъ повѣсъ, скажи,—перебила игуменья.

— Ну, будь по-твоему, ну, повѣсъ; а все же не выгонять ихъ изъ дому, когда дѣвушки въ домѣ.

Игуменья промолчала.

— И опять; отчего же такъ они всѣ повѣсы? Есть и очень солидные молодые люди.

— Солидные молодые люди дѣло дѣлаютъ: прежде хорошенько учатся, а потомъ хорошенько служатъ; а эти-то кое-какъ учились и кое-какъ служить норовятъ, лишь бы выслужиться. Повѣсы да и только.

— Однакоже и Гловацкій молодой тебѣ не понравился, а вѣдь онъ по ученой части идетъ.

— И по ученой части дураковъ развѣ мало? Я думаю, пожалуй, не меньше чѣмъ гдѣ-нибудь.

— Ну, о немъ, я думаю, этого нельзя сказать, — критиканъ большой, это точно.

— Дуракъ онъ большой: надѣлъ на себя какую-то либеральную хламиду и несетъ вздоръ, благо попалъ въ болото, гдѣ и трясогузъ птица. Какъ это ты, въ самомъ дѣлѣ, опустился, Егоръ, что не умѣешь ты различить паву по перьямъ. Этотъ балбеска Ипполитъ, Зина съ Соней, или Лиза, это у тебя все на одномъ кругу вертится. Ну, ты только подумай! То вральманъ, которому покажи пукъ розогъ, такъ онъ и отъ всего отречется; Зина съ Соней какія-то нылыноющія, — кто ужъ ихъ тамъ опредѣлитъ: и въ коробъ не лѣзутъ, и изъ короба не идутъ. На этотъ фруктъ нонче у насъ пора урожайная: прудъ пруди людямъ на-смѣхъ, еще ихъ вволю останется. А Лизанька—кровь! Пойми ты: *бахаревская* кровь, а не Ольги Сергѣевнина. Ты долженъ стать за Лизу. Лиза женщина, я въ ней вижу нашу гордость. Мало ли, что имъ въ ней примерещится. Ты долженъ ее защитить отъ этого пиленья-то. Вѣдь самъ знаешь, что противъ жару и камень треснетъ, а въ ней — опять тебѣ повторяю—наша кровь, бахаревская.

— Да, я это чувствую, — пріосаниваясь говорилъ Егоръ Николаевичъ:—я чувствую и понимаю.

— А понимаешь, такъ и разумѣй, какъ долженъ поступать. Горяча она очень, откровенна, пряма до смѣшного— это пройдетъ. Съ Женей пусть почаще вмѣстѣ бываютъ: дѣвушка предостойная, хотя и совсѣмъ въ другомъ родѣ. А умничать надъ нею много не позволяй. Школить-то ее нечего, какъ собаченку. Свѣтской пустотѣ сама еще подчинится, придетъ время. За женихами падать очень ужъ такъ нечего. Такія дѣвушки, какъ Лиза, на каждомъ шагу не встрѣчаются. Была бы охота, найдетъ доброхота. Придетъ пора, передѣлается, насколько сама сочтетъ нужнымъ. Изъ ничего ничего не сдѣлаешь, а она матерьялъ. Я вонъ вѣкъ свой до самаго монастыря француженкой росла, а нынче, батюшка мой, съ мужикомъ мужичка, съ купцомъ купчиха, а съ бариномъ и барыней еще быть не разучилась. Это все пустяки, а ты смотри, чтобы ее не грызли, чтобъ она не металась, бѣдняжка, нигдѣ не находя сочувствія: вотъ это твое дѣло.

— Это правда, я непремѣнно, непремѣнно.

Бахаревъ сталъ прощаться.

— Ты сегодня развѣ ѣдешь?

— Сейчасъ даже: человѣка оставлю забрать покупки да вотъ твои деньги на почту отправить, а самъ сейчасъ домой. Ну, прощай, сестра, будь здорова.

— Прощай, да смотри помни о Лизѣ-то.

— Хорошо, хорошо.

— То-то хорошо. Скажи на ушко Ольгѣ Сергѣевнѣ.—прибавила, смѣясь, игуменья:—что если Лизу будутъ обижать дома, то я ее къ себѣ въ монастырь возьму. Не смѣйся, не смѣйся, а скажи. А безъ шутокъ говорю: если увижу, что вы не хотите дать ей жить сообразно ея натурѣ, честное слово даю, что къ себѣ увезу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Слово воплощается.

Черезъ день послѣ описаннаго разговора Бахарева съ сестрою, въ Меревѣ обѣдали ранѣе обыкновеннаго, и въ то время, какъ господамъ подавали кушанье, у подъѣзда стояла легонькая бахаревская каретка, запряженная четверней небольшихъ саврасыхъ вятокъ.

За столомъ сидѣла вся семья и Юстинъ Помада, нѣсколько блѣдный и нѣсколько растерянный.

У Ольги Сергѣевны и Зины глаза были наплаканы до опухоли вѣкъ: Софи тоже была не въ своей тарелкѣ.

Одна Лиза сидѣла ровно и спокойно, какъ будто чужое лицо, до котораго прямымъ образомъ нимало не касаются никакія домашнія дрязги.

Егоръ Николаевичъ былъ твердъ тою своеобычною рѣшимостью, до которой онъ доходилъ послѣ долгихъ уклоненій, и съ которой ужъ зато его свернуть было невозможно, если его разъ перепилили. Теперь онъ ѣлъ за четверыхъ и не обращалъ ни на кого ни малѣйшаго вниманія.

Зина была одѣта въ очень кокетливо сшитое дорожное холстинковое платье; всѣ прочія были въ своихъ обыкновенныхъ нарядахъ.

Пружина безмятежнаго пріюта дѣйствовала: Зина уѣзжала къ мужу. Она энергически протестовала противъ своей высылки, еще энергичнѣе протестовала противъ этого мать ея, но всѣхъ энергичнѣе былъ Егоръ Николаевичъ. Объявивъ свою непреклонную волю, онъ ушелъ въ кабинетъ, многозначительно хлопнулъ дверью, велѣлъ кучерамъ запрягать

карету, а горничной дѣвушкѣ Зины укладывать ея вещи. Бахаревъ отдалъ эти распоряженія такимъ тономъ, что Ольга Сергѣевна только проговорила:

— Собирайся, Зиночка.

А люди стали перешептываться:

— Т-съ! баринъ гнѣвенъ!

Правду говоря, однако, всѣхъ тяжеле въ этотъ день была роль самого добросердаго барина и всѣхъ пріятнѣе роль Зины. Ей давно смерть хотѣлось возвратиться къ мужу, и теперь она получила разомъ два удовольствія: надѣвала на себя вѣнокъ страдалицы и возвращалась къ мужу, яко бы не по собственной волѣ, имѣя, однако, въ виду всѣ пріятныя стороны совмѣстнаго житья съ мужемъ, которыми весьма дорожила ея натура, неуважавшая капризовъ распущеннаго разума.

Рада была Зина, когда лошади тронули ее отъ отцовскаго крыльца, радъ былъ и Егоръ Николаевичъ, что онъ выдержалъ и поставилъ на своемъ.

«Бахаревская кровь,—думалъ онъ,—бахаревская кровь, сила, терпѣніе, настойчивость: я Бахаревъ, я настоящій Бахаревъ».

— Мнишекъ! — крикнулъ онъ, подумавши это: — позвать мнѣ Марину.

Явилась Абрамовна.

— Лизочкины вещи перенесть въ Зинину комнату и устроить ей тамъ все, какъ слѣдуетъ, — скомандовалъ Бахаревъ.

Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Николаевича, то на его жену.

— Слышишь?—спросилъ Егоръ Николаевичъ.

— Слушаю-съ,—отвѣчала старуха.

— Ну, и дѣлай.

— Егоръ!—простонала Ольга Сергѣевна.

— Что-съ?—отрывисто спросилъ Бахаревъ.

— Это можно послѣ.

— Это можно и сейчасъ.

— Гдѣ же будетъ помѣщаться Зина?

— У мужа.

— Но у нея не будетъ комнаты.

— Мужнинъ домъ великъ. Пока ребятъ не нарожала еще, двѣ семьи размѣстить можно.

— Но для пріѣзда.

— А! ну да. Мнишекъ, устрой такъ, чтобы Зиночкѣ было хорошо въ пріѣздъ остановиться въ теперешней Лизиной комнаткѣ.

— Слушаю-съ. — снова, посматривая на всѣхъ, проговорила Абрамовна.

— Ну, иди.

Абрамовна вышла.

— Какъ же это можно, Егоръ Николаевичъ, помѣстить Зину въ проходной комнатѣ? — запротестовала Ольга Сергѣевна.

— Га! А Лизу можно тамъ помѣстить?

— Лиза ребенокъ.

— Ну, такъ что-жъ?

— Она еще недавно въ общихъ дортуарахъ спала.

— А Зина?

— Что-жъ, Зинѣ, по вашему распоряженію, теперь негдѣ и спать будетъ.

— Негдѣ? негдѣ?—съ азартомъ спросилъ Бахаревъ.

— Конечно, негдѣ,—простонала Ольга Сергѣевна.

— У мужа въ спальнѣ, — полушопотомъ и съ грознымъ придыханіемъ произнесъ Егоръ Николаевичъ.

— Ахъ, Боже мой!..

— Что-съ?

— Ну, а на случай пріѣзда?

— О! на случай пріѣзда довольно и Лизиной комнаты. Если Лизѣ для постояннаго житья ея довольно, то ужъ для пріѣзда-то довольно ея и черезчуръ.

— Что-жъ, устроено все? — спросилъ Бахаревъ Абрамовну, сидя за вечернимъ чаемъ.

Абрамовна молчала.

— Не устроено еще?—переспросилъ Бахаревъ.

— Завтра можно, Егоръ Николаевичъ, — отвѣтила за Абрамовну Ольга Сергѣевна.

Бахаревъ допилъ стаканъ, всталъ и спокойно сказалъ:

— Лиза! иди-ка къ себѣ. Мы перенесемъ тебя съ Юстиномъ Феликсовичемъ.

И пошли, и перенесли все Лизино въ спокойную, удаленную отъ всякаго шума комнату Зины, а Зинины вещи довольно уютно уставили въ бывшей комнатѣ Лизы.

И все это своими руками.

— Вотъ живи, Лизочекъ, — возгласилъ Егоръ Николаевичъ, усѣвшись отдохнуть на табуретѣ въ новомъ помѣщеніи Лизы, когда тутъ все уже было уставлено и приведено въ порядокъ.

Лиза, хранившая мертвое молчаніе во время всѣхъ сегодняшнихъ распоряженій, при этихъ словахъ встала и поцѣловала отцовскую руку.

— Живи, голубка. Книги будутъ и покой тебѣ будетъ.

— Я завтра полочки тутъ для книгъ привѣшу, — проговорилъ Помада, сидѣвшій тутъ же на ящикѣ въ углу, и на слѣдующее утро онъ явился съ тремя книжными полочками на ремнѣ и большою, закрытою зеленою бумагою, клѣткою, въ которой сидѣлъ курскій соловей.

Полки Помада повѣсилъ по стѣнкѣ, а клѣтку съ курскимъ соловьемъ подъ окномъ.

— Отлично теперь, Лизавета Егоровна!—произнесъ онъ, забивъ послѣдній гвоздь и отойдя къ двери.

— Отлично, Юстинъ Феликсовичъ, — отвѣчала Лиза и стала уставлять на полки свои книжечки.

Такъ и зажила Лиза Бахарева.

Ставъ одинъ разъ въ разрѣзъ съ матерью и сестрами, она не умѣла съ ними сойтись снова, а онѣ этого не искали. Отецъ стоялъ за нее, но не умѣлъ найти ея прямой симпатіи. Съ Женей она видалась не часто и то на самое короткое время. Она видѣла, что у матери и сестеръ есть предубѣжденіе противъ всѣхъ ея прежнихъ привязанностей и писала Гловацкой: «Ты, Женька, не подумай, что я тебя разлюбила! Я тебя всегда буду любить. Но ты знаешь, какъ мнѣ скверно, и я не хочу, чтобы это скверное стало еще скверпѣе. А я тебя крѣпко люблю. Ты не сердись, что я къ тебѣ не ѣзжу! Меня теперь и пустили бы, да я теперь не хочу этой милости. Ты пріѣзжай ко мнѣ. У меня теперь хорошо, а пока пришли мнѣ книгъ. У меня есть три журнала, да что жъ это!»

Женни брала у Вязмитинова для Лизы—Гизо, Маколея, Милля, Шлоссера. Все это она посылала къ Лизѣ и только дивилась, какъ такъ скоро все это возвращалось съ лаконическою надписью карандашомъ: «читала», «читала» и «читала».

— Давайте еще,—просила Женни Вязмитинова.

— Право, ужъ ничего болѣе нѣтъ,—отвѣчалъ учитель.

— Хотите политическую экономію послать?—спрашивалъ Зарницынъ.

— Или логику Гегеля,—шутя добавлялъ Вязмитиновъ.

— Давайте, давайте.—отвѣчала Женни.

И ѣхали эти книжки, шутки ради, въ Мерево, а оттуда возвращались съ лаконическими надписями: «читала», «читала».

— Лиза, что это ты дѣлаешь!—спрашивала Гловацкая.

— Что, дружокъ мой?

— Ты будешь синимъ чулкомъ.

— Отчего?

— Что ты все глотаешь?

— А! ты это о книгахъ?

— Да, о книгахъ.

— Я люблю читать.

— Но нужно читать что-нибудь одно. Вязмитиновъ говоритъ, что непремѣнно нужно читать съ системой, и я это чувствую.

— Ты что же читаешь?

— Я читаю одни историческія сочиненія.

— Это хорошо.

— А ты?

— Я читаю все. Я терпѣть не могу системъ. Я очень люблю заниматься такъ, какъ занимаюсь. Я хочу жить безъ указки всегда и во всемъ.

И такъ жила Лиза до осени, до Покрова, а на Покровъ у нихъ былъ прощальный деревенскій вечеръ, за которымъ слѣдовалъ отъѣздъ въ губернскій городъ на цѣлую зиму.

На этомъ прощальномъ вечерѣ гостей было со всѣхъ волостей. Были и гусары, и помѣщики либеральные, и помѣщики изъ непосредственныхъ натуръ, и дамы уродливыя, и дамы хорошенькія, сочныя, аппетитныя и довольно рѣшительныя. Егоръ Николаевичъ ходилъ лично приглашать къ себѣ камергершу Мереву, но она, вмѣсто отвѣта на его приглашеніе, спросила:

— А Кожухова у тебя будетъ?

— Будетъ,—отвѣчалъ Бахаревъ.

— И князь будетъ?

— Какъ же, будетъ.

— Ну, батюшка, такъ что жъ ты хочешь развѣ, чтобъ на твоемъ вечерѣ скандалъ былъ?

— Боже спаси!

— То-то, я вѣдь не утерплю, спрошу эту мадамъ, гдѣ она своего мужа дѣла? Я его мальчикомъ знала и любила. Я не могу, видя ее, лишить себя случая дать ей давно слѣдующую пощечину. Такъ лучше, батюшка, и не зови меня.

Смотритель и Вязмитиновъ съ Зарницынымъ были на вечерѣ, но держались какъ-то въ сторонкѣ, а докторъ обѣщалъ быть, но не пріѣхалъ. Лиза и здѣсь, по обыкновенію, избѣгала всякихъ разговоровъ и, нехотя протанцовавъ двѣ кадрили, ушла въ свою комнату съ Женей.

— Кто этотъ молоденькій господинъ пріѣзжій?—спросила она Женни объ одномъ изъ гостей.

— Который?

— Черный, молоденькій.

— Какой-то Пархоменко.

— Нѣтъ, о Пархоменкѣ я слышала, а этотъ иностранецъ?

— Какой-то Райнеръ.

— Что онъ такое?

— Богъ его знаетъ.

— Откуда они? Изъ Петербурга?

— Да.

— У кого они гостятъ?

— Богъ ихъ знаетъ.

— Этотъ Пархоменко дурачокъ.

— Кажется.

— А Райнеръ?

— Не знаю.

— Чего бы ему сюда съ дураками? — убирая косу, проговорила Лиза и легла съ Женею спать подъ звуки безпощадно разбиваемаго внизу фортепіано.

Лиза ужъ совсѣмъ эмансипировалась изъ-подъ домашняго вліянія, и на такихъ положеніяхъ уѣхала, на третій день послѣ прощальнаго вечера, со всею своею семьею въ губернскій городъ.

— А хорошо, папа, устроилась теперь Лиза. — говорила отцу Женни, ѣдучи съ нимъ на другой день домой.

— Ну...—промычалъ Гловацкій и ничего не высказалъ.

Вечеромъ въ этотъ же день у нихъ былъ Пархоменко и Райнеръ.

Пархоменко все дергалъ носомъ, колупалъ пальцемъ глазъ и говорилъ о необходимости совершенно иныхъ во всемъ

порядковъ и разныхъ противодѣйствій консерваторамъ. Райнеръ много разсказывалъ Женни о чужихъ краяхъ, а въ особенности объ Англіи, въ которой онъ долго жилъ и которую очень хорошо зналъ.

— Боже! я тамъ всегда видѣла верхъ благоустройства,— говорила ему Женни.

— И неправомѣрности,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Тамъ свобода.

— Номинальная. Свобода протестовать противъ голода и умирать безъ хлѣба,—спокойно отвѣчалъ Райнеръ.

— А все же свобода.

— Да. Свобода голоднаго рабства.

— А у насъ?

— У васъ есть будущее: у васъ меньше вредныхъ преданій.

— У насъ невѣжество.

— На дѣло скорѣе готовы люди односторонніе, чѣмъ переворачивающіе все на всѣ стороны.

— Гдѣ вы учились по-русски?

— Я давно знаю. Мнѣ нравился вашъ народъ и вашъ языкъ.

— Вы поговорите съ Вязмитиновымъ. Онъ здѣсь, кажется, больше всѣхъ знаетъ.

«Какой странный этотъ Райнеръ!» думала Женни, засыпая въ своей постелькѣ послѣ этого разговора.

На другой день она кормила на дворѣ куръ и слышала, какъ Вязмитиновъ, взявшись съ уличной стороны за кольцо ихъ калитки, сказалъ:

— Ну, прощайте,—добрый вамъ путь.

— Прощайте,—отвѣчалъ другой голосъ, который на первый разъ показался Женѣ незнакомымъ.

— Разсчитывайте на меня смѣло, — говорилъ Вязмитиновъ: — я готовъ на все за движеніе, конечно, за такое,— добавилъ онъ,—которое шло бы легальнымъ путемъ.

— Я увѣренъ,—отвѣчалъ голосъ.

— Только *легальнымъ* путемъ. Я не вѣрю въ успѣхъ иного движенія.

— Конечно, конечно.—отвѣчалъ снова голосъ.

— Кто съ вами былъ здѣсь за воротами? — спросила Вязмитинова Женни, не выпуская изъ рукъ чашки съ моченымъ горохомъ.

— Райнеръ,—мы съ нимъ прощались,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.—Очень хорошій человѣкъ.

— Кто? Райнеръ?

— Да.

— Кажется. Что ему здѣсь нужно? Какія у него занятія?

— Онъ путешествуетъ.

— А! Это у насъ новость? Куда жъ онъ ѣдетъ?

— Такъ ѣдетъ, съ своимъ пріятелемъ и съ Помадой. А что?

— Ничего. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, очень образованный и очень милый человѣкъ.

— И милый?—съ полушутливой, полуѣдкой улыбкой переспросилъ Вязмитиновъ.

— И милый,—еще разъ подтвердила Женни, закраснѣвшись и нѣсколько поспѣшливо сложивъ свои губки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Крещенскій вечеръ.

На дворѣ рано осмеркъ самый сердитый зимній день и немилосердно била сухая пурга. Въ двухъ шагахъ человѣка уже не было видно. Даже красный свѣтъ лучинъ, запылавшихъ въ крестьянскихъ хатахъ, можно было замѣтить, когда совсѣмъ ужъ ткнешься носомъ въ занесенную снѣгомъ суволоку, изъ которой бѣльмисто смотритъ обледенѣлое оконце. На господскомъ дворѣ камергерши Меревой, съ самаго начала сумерекъ, люди сбивались съ дороги: вмѣсто параднаго крыльца дома, попадали въ садовую калитку; идучи въ мастерскую, заходили въ конюшню; отправляясь къ управительницѣ, попадали въ избу скотницы. Такая пурга была, что свѣту Божьяго не видно. А между тѣмъ не держала эта пурга по своимъ угламъ меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою изъ флигеля во флигель, пили водочку, гдѣ таковая обрѣталась, плясали, шумѣли, веселились. Особенно потѣшалъ всѣхъ поваренокъ Ефимка, привязавшій себѣ льняную бороду и устроившій изъ подушекъ аршинный горбъ, по которому его во всю ночь принимались колотить горничныя дѣвушки, какъ только онъ, по праву святочныхъ обычаевъ, запускалъ свои руки за пазуху то турчанкѣ, то цыганкѣ, то богинѣ въ вѣнцѣ, вырѣзанномъ изъ стараго штофнаго кокошника барышниной кормилицы. Словомъ,

на меревскомъ дворѣ были настоящія святки. Даже бахаревскій садовникъ и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили за ряжеными изъ кухни въ людскую, изъ людской въ контору и такъ далѣе.

— А у насъ-то теперь, говорила бахаревская птичница:—у насъ скука пристрашенная... Прямо сказать, настоящая Сибирь, какъ есть Сибирь. Мы словно какъ въ гробу живемъ. Окна въ домѣ заперты, сугробовъ нанесло, что и не выѣзжь: живемъ старые, да кволые. Всѣ-то наши въ городѣ, и таково-то намъ часомъ бываетъ скучно, скучно, а тутъ какъ еще псы-то ночью завоютъ, такъ инда даже будто какъ и жутко станетъ.

Между тѣмъ, какъ переряженные дворовые слонялись по меревскому двору, а сѣрые облачные столбы сухого снѣга, вздымаясь, гуляли по полямъ и дорогамъ, сквозь промерзлое окно въ комнатѣ Юстина Помады постоянно мелькала взадъ и впередъ одна и та же темная фигура. Эта фигура былъ самъ Помада. Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ по своему чулану и то ворошилъ свою шевелюру, то нюхалъ зеленую вѣточку ели, или моталъ ею у себя подъ носомъ. На столѣ у него горѣла сальная свѣчка, распространяя вокругъ себя не столько свѣта, сколько зловонія: на лежанкѣ чуть-чуть пищалъ угасавшій самоваръ, и тутъ же стоялъ графинъ съ водкой и большая деревянная чашка соленыхъ и нѣсколько промерзлыхъ огурцовъ.

— Во-первыхъ, истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторыхъ, любовь не можетъ быть безъ уваженія.—произнесъ Помада, не прекращая своей прогулки.

— Разсказывай.—возразилъ голосъ съ кровати.

Теперь только, когда этотъ голосъ изобличалъ присутствіе въ комнатѣ Помады еще одного живого существа, можно было разсмотрѣть, что на постелѣ Помады, преспокойно растянувшись, лежалъ человѣкъ въ дубленомъ коротком полушубкѣ и, закинувъ ногу на ногу, преспокойно курилъ довольно гадкую сигару.

Всматриваясь въ эту фигуру, вы узнавали въ немъ доктора Розанова. Онъ сегодня ѣхалъ со слѣдствія, завернулъ къ Помадѣ, а тутъ поднялась кура, онъ и остался у него до утра.

— Это вѣрно.—говорилъ Помада, какъ бы еще разъ обдумавъ высказанное положеніе и убѣдившись въ его совершенной непогрѣшимости.

— Какъ не вѣрно!—иронически замѣтилъ докторъ.

— Бѣлинскій пишетъ, что любовь тогда чувство почтенное, когда предметъ любви достоинъ уваженія.

— Изъ чего и слѣдуетъ, что и Бѣлинскій могъ провираться.

— Ну, у тебя всѣ провираются.

— А всѣ!

— Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не вѣришь?

— Не о чемъ и спрашивать. Стало-быть можно, когда люди любятъ.

— Люди черти, люди и водку любятъ.

— Дура ты, Помада, право дура, и дуракомъ-то тебя назвать грѣхъ.

Докторъ замолкъ.

— Терпѣть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого ты чорта все идеальничаешь?

— Оставь ужъ лучше, чѣмъ ругаться, — замѣтилъ, обидясь, Помада.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

— А въ самомъ дѣлѣ, оставимъ этотъ разговоръ, да и только.

— И это можно, но ты мнѣ только скажи вотъ: ты съ уваженіемъ любишь или нѣтъ?

— Я никого не люблю исключительной любовью.

— Что врать! Самъ сто разъ сознавался, то въ Катеньку, то въ Машеньку, то въ Сашеньку, а ужъ вѣчно врѣзавшись... То-есть, вѣдь такой козелъ сладострастный, что и вообразить невозможно. Вспыхнетъ, какъ порохъ, отъ каждаго женскаго платья и пошелъ идеализировать. А корень всѣхъ этихъ привязанностей совсѣмъ сидитъ не въ уваженіи.

— А въ чемъ же по-твоему?

— Ну ужъ, братъ, не въ уваженіи.

— По-твоему, небось, чортъ знаетъ въ чемъ... въ твоихъ грязныхъ наклонностяхъ.

— Те, те, те! ты, братъ, о грязныхъ-то наклонностяхъ не фордыбачь. Противъ природы не пойдешь, а пойдешь, такъ дуракомъ и выйдешь. Да твое-то дѣло для меня объясняется вовсе не одними этими, какъ ты говоришь, грязными побужденіями. Я даже думаю, что ты, пожалуй,— чортъ тебя знаетъ, — ты, можетъ-быть, и, дѣйствительно,

способенъ любить такъ, что уважаешь. Ты прежде вотъ, я говорю, врѣжешься, а потомъ и пошелъ додумывать своей богинѣ всякія неземныя и земныя добродѣтели. Ну, не такъ, что ли?

— Конечно, не такъ.

— Какъ же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?

— Эко напуталъ!

— Чего? да развѣ ты не во всѣхъ въ нихъ влюбленъ? Какъ есть во всѣхъ. Такой ужъ, ты, братъ, сердечникъ, и я тебя не осуждаю. Тебѣ хочется любить, ты вотъ распяться бы хотѣлъ за женщину, а никакъ это у тебя не выходитъ. Никто ни твоей любви, ни твоихъ жертвъ не принимаетъ, вотъ ты и ищешь все своихъ идеаловъ. Какое тутъ чортъ уваженіе. Развѣ, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или, уважая поповну, рядомъ съ ней можно уважать Гловацкую?

— Да къ чему жъ ты ихъ всѣхъ путаешь?

— Власть, братецъ мой, такую имѣю и ничѣмъ ты мнѣ этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя въ пуху.

Докторъ всталъ съ постели, набилъ себѣ дорожную трубку, потомъ выпилъ рюмку водки и, перекусивъ огурецъ, снова повалился на постель.

— Все это, братецъ мой, Юстинъ Феликсовичъ, я предпринимаю въ видахъ ближайшаго достиженія твоего благополучія,—произнесъ онъ, раскуривая трубку.

— Благодарю покорно,—процѣдилъ сквозь зубы Помада, не прекращая своей безконечной протулки.

— И долженъ благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведетъ. Такъ вотъ и просидишь всю жизнь на меревскомъ дворѣ, мечтая о любви и самоотверженіи, которыхъ на твое горе здѣсь принять-то некому.

— Ну, и просижу.—спокойно отвѣчалъ Помада.

— Просидишь?—Ну и сиди, прѣй.

Помада молчалъ.

— Отличная жизнь,—продолжалъ иронически докторъ:— и преполезная тоже! Лѣтомъ около барышень цвѣточки нюхаетъ, а зиму, въ ожиданіи этого лѣтняго блаженства, бѣгаетъ по своему чулану, какъ полевой волкъ въ клѣткѣ звѣринца. Ты мнѣ вѣрь; я тебѣ вѣдь безъ всякихъ шутокъ говорю, что ты дурѣть сталъ: ты-таки и одурѣешь.

— Какой былъ, таковъ и есть. — опять процѣдилъ Помада, видимо тяготясь этимъ разговоромъ и всячески желая его окончить.

— Нѣтъ, не таковъ. Ты еще осенью былъ человѣкомъ, подававшимъ надежды проснуться, а теперь, какъ Бахаревы уѣхали, ты совсѣмъ — шутъ тебя знаетъ, на что ты похожъ.—безтолковъ совсѣмъ, милый мой, становишься. Я думалъ, что Лизавета Егоровна тебя повернетъ своей живостью, а ты, вѣрно, только и способенъ миндальничать.

Помада продолжалъ помахивать у своего носа еловою вѣточкой и молчалъ, выдерживая свое достоинство.

Докторъ всталъ, выпилъ еще рюмку водки и сталъ раздѣваться.

— У человѣка факты живые передъ глазами, а онъ ужъ и ихъ не видитъ, — говорилъ Розановъ, снимая съ себя сапоги. — Стану я факты отрицать, не выживши изъ ума! Просто одурѣваешь ты, Помада, просто одурѣваешь.

— Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.

— Напримѣръ, любовь, происходящую изъ уваженія?— смѣясь спросилъ докторъ.

— Да, что тебѣ далось нынче это уваженіе! — воскликнулъ Помада нѣсколько горячѣе обыкновеннаго.

— Сердишься! ну, значитъ, ты неправъ. А ты не сердись-ка, ты дай вотъ я съ тебя показаніе сниму и сейчасъ докажу тебѣ, что ты неправъ. Хочешь ли и можешь ли отвѣчать?

— Да я не знаю, о чемъ ты хочешь спрашивать.

— Поваръ Павелъ любитъ свою жену или нѣтъ?

— Кто жъ его знаетъ.

— Ну, а я тебѣ скажу, что и онъ ее любитъ, и она его любитъ. А теперь ты мнѣ скажи, дерутся они или нѣтъ?

— Ну, дерутся.

— Такъ и запишемъ.—Теперь Васенка любитъ мельника Родіона или не любитъ?

— Да чортъ знаетъ, о чемъ ты спрашиваешь! Почемъ я знаю, любитъ Васенка или не любитъ?

— Почемъ! А вотъ почемъ, другъ любезный, потомъ, что она при тебѣ сапоги мои цѣловала, чтобы я забраковалъ этого Родіонова въ рекрутскомъ присутствіи, когда его привезли сдавать именно за то, что онъ ей совкомъ голову

проломилъ. И не только тутъ я видѣлъ, какъ она любитъ этого разбойника, а даже видѣлъ я это и въ тѣ минуты, когда она попрекала его, кляла всѣми клятвами за то, что онъ ее сокрушилъ и состарилъ безъ поры, безъ времени, а тутъ же сейчасъ послѣдній платокъ цырюльнику съ шеи сбросила, чтобы тотъ не шельмовалъ ея соколу затылокъ. Кажется, вѣдь любитъ? А только тотъ всталъ съ подстриженнымъ затылкомъ, она ему въ лицо харкнула. «Звѣрь, говоритъ, ты, лиходѣй мой проклятый». Гдѣ жъ здѣсь твое уваженіе-то?

— Что жъ, тутъ вовсе не любовь, а сожалѣніе.

— Сожалѣніе! А зачѣмъ же она сбѣжала-то съ нимъ вмѣстѣ.

— Воли захотѣлось.

— Подъ его кулачьями-то! Ну, нѣтъ, братъ, — не воли ей захотѣлось, а любва, любва эти штуки-то отливаетъ. Воли бы ей хотѣлось, давно бы ее эскадронный пять разъ откупилъ. Это ты вѣдь тоже, чай, знаешь не меньше моего. Васенка-то, братъ... знаешь, чего стоитъ! Глазомъ поведетъ — рублемъ одаритъ. Это, вѣдь, хрящекъ бѣлый, а не косточка. А я тебѣ повторяю, что все это орудуетъ любовь, да не та любовь, что вы тамъ сочиняете, да основываете на высокихъ-то нравственныхъ качествахъ любимаго предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, та любва, про которую эти адски-мучительныя пѣсни поются, за которую и душатся, и рѣжутся, и не разсуждаютъ повашему. Бѣлинскій-то — хоть я и позабывалъ у него многое—разсуждаетъ, вѣдь, тутъ о человѣкѣ *нравственно развитомъ*, а вы, шуты, сейчасъ при своемъ развитіи на человѣчество тотъ мундиръ и хотите напялить, въ которомъ оно ходить не умѣетъ. Я тебѣ не два, а двѣсти два примѣра покажу, гдѣ нѣтъ никакого уваженія, а любовь-то живетъ, да любовь не вашинская, не мозглявая.

— Да ты все изъ какого класса примѣры-то берешь?

— А тебѣ изъ какого? Изъ самаго высокаго?

— Что высокій! Объ немъ никто не говоритъ, о высокомъ-то. А ты мнѣ покажи такой примѣръ на человѣкѣ развитомъ, изъ средняго класса, изъ того, что вотъ считаютъ бьющеюся, живою-то жилою русскаго общества. Покажи человѣка размышляющаго. Одного человѣка такого покажи мнѣ въ такомъ положеніи.

— Ну, братъ, если одного только требуешь, такъ ужъ по этому холоду далеко не пойду отыскивать.

Докторъ снова всталъ въ одномъ бѣльѣ съ постели, остановилъ Помаду въ его стремительномъ бѣгствѣ по чулану и спросилъ:

— Ты Ольгу Александровну знаешь?

— Твою жену?

— Да, мою жену.

— Знаю.

— И хорошо знаешь?

— Да какъ же не знать!

— Уважаешь ты ее?

— Н... ну...

— Нѣтъ,—хорошо. За что ты ее не уважаешь?

— Да какъ это сказать...

— Говори!

— Да за все.

— Она разбила во мнѣ все, все.

— Вѣрю, вѣрю, братъ, — отвѣчалъ разстроенный этимъ разсказомъ Помада.

— А я ее люблю,—пожавъ плечами, произнесъ докторъ и проглотилъ еще рюмку водки.

И съ этимъ легъ въ постель, укрылся своимъ дубленымъ тулупомъ и молча повернулся къ стѣнѣ, а Юстинъ Помада, постоявъ молча надъ его кроватью, снова зашагалъ взадъ и впередъ.

За стѣною въ столярной давно прекратились звуки гармоніи и топотъ пляшущихъ святочниковъ, и на меревскомъ дворѣ все уснуло. Даже уснула носившаяся сѣрыми облачными столбами воющая русская кура, даже уснулъ и погасъ огонекъ, доѣвъ сальный огарокъ, въ комнатѣ Помады. Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрѣла оттуда, хорошо ли похоронила кура тѣхъ, кто съ нею встрѣтился, идучи своимъ путемъ-дорогою. Да не спалъ еще Юстинъ Помада, который не замѣтилъ, какъ догорѣла и загасла свѣчка, и какъ причудливо разрисованное морозомъ окно озарилось блѣднымъ луннымъ свѣтомъ. Онъ все бѣгалъ и бѣгалъ по своей комнатѣ, оправдывая сдѣланное на его счетъ сравненіе съ полевымъ волкомъ, содержащимся въ тѣсной клѣткѣ.

— Дичь какая! — думалъ между прочимъ, бѣгая, По-

мада.—Всѣ идеалы мои онъ какъ-то разбиваетъ. Матеріалистъ онъ... а я? Я...

Безъ отвѣта остался этотъ вопросъ у Помады.

— Я вотъ что, я покажу... что жъ я покажу? что это въ самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной: все какъ-то, въ самомъ дѣлѣ, легко... воздушно... такъ сказать... расплывчиво. Эка натура проклятая!

— А впрочемъ, опять размышлялъ Помада:—чего-жъ у меня нѣтъ? Силы? Есть. Пойду на смерть... Эка штука! Только за кого? За что?

— Не за кого, не за кого,—рѣшилъ онъ.

— А любовь-то, въ самомъ дѣлѣ, не на уваженіи держится... Такъ на чемъ же? Онъ свою жену любитъ. Вздоръ! Онъ ее... жалѣетъ. Гдѣ любить такую эгоистичную, безсердечную женщину. Онъ матеріалистъ, даже... чортъ его знаетъ, слова не придумаешь, что онъ такое... все отрицаетъ... Впрочемъ, чортъ бы меня взялъ совсѣмъ, если я что-нибудь понимаю... А скука-то, скука-то! Хоть бы и удавиться такъ въ ту же пору.

И съ этимъ словомъ Юстинъ Помада остановился, свернулъ комкомъ свой полушубочекъ, положилъ его на лежанку и, посмотрѣвъ искоса на луну, которая смотрѣла уже какимъ-то спнимъ, подбитымъ глазомъ, свернулся калачикомъ и спать задумалъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

За полночь.

За полночь послышалось Помадѣ, будто кто-то стучитъ въ сѣнничную дверь.

«Сонъ, это я во снѣ вижу», подумалъ дремлющій Помада.

Стучали послѣ долго еще въ дверь, да никто не всталъ отворить ее.

«Сонъ», думалъ Помада.

Въ мерзлое стекло кто-то ударилъ пальцемъ.

Еще и еще.

«Ну, пусть же еще ударитъ, если это не сонъ», думалъ Помада, пригрѣвая бокъ на теплой лежанкѣ.

И еще ударили.

— Кто тамъ?—вскинувъ голову, спросилъ Помада.

Гулъ какой-то послышался изъ-за окна, а разобрать ничего невозможно.

— Чего?—спросилъ Помада, приложивъ теплое лицо къ намерзлому стеклу.

Опять гулъ. Человѣческій голосъ, а ничего не разберешь.

«Перепились, свиньи», подумалъ Помада, надѣвъ докторовы медвѣжьи сапоги, вздѣлъ на рукава полушубокъ и пошелъ отпирать двери холодныхъ сѣней.

— Кто?

— Свои, батюшка.

— Кто?—снова спросилъ Помада, держась за задвижку.

— Герасимъ.

— Чего ты, Герасимъ?

— Бахаревскій Герасимъ.

— Да чего?

— Къ вамъ, Юстинъ Феликсовичъ.

Помада отодвинулъ задвижку и, дрожа отъ охватившаго его холода, побѣжалъ въ свою комнату.

Не успѣлъ онъ переступить порогъ и вспрыгнуть на печку, а за нимъ Гараська бахаревскій.

— Что? Чего тебѣ ночью?—спросилъ Помада.

— Къ вашей милости, баринъ.

— Ну?

— Къ намъ пожалуйте.

— Къ кому къ вамъ?

— На барскій дворъ.

— Что тамъ такое у васъ на барскомъ дворѣ?

— Ничего, все благополучно. Барышни васъ требуютъ.

— Какая барышня?

— Лизавета Егоровна пріѣхала.

— Лизавета Егоровна?

— Точно такъ-съ.

— Лизавета Егоровна?—переспросилъ Помада.

— Точно такъ-съ, сами Лизавета Егоровна.

— Съ кѣмъ?

— Однѣ-съ.

— Одна?

— Однѣ-съ, съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Съ кѣмъ?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ-съ.—наняли, да обмерзли-съ, нездоровы совсѣмъ.

— Одна?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Ну?

— Пожалуйте. Сейчасъ васъ просятъ.

— Пошелъ, пошелъ домой. Я сейчасъ... Розановъ! Розановъ! Дмитрій Петровичъ!

— Н-мъ!—протянулъ докторъ, не подавая никакой надежды на скорое пробужденіе.

— О, чортъ!—пробурчалъ Помада, надѣвая на себя попадавшуюся подъ руки сбрую, и побѣжалъ.

Бѣжитъ Помада подъ гору, по тому самому спуску, на который онъ когда-то несся орловскимъ рысакомъ навстрѣчу Женни и Лизѣ. Бѣжитъ онъ сколько есть силы, и то попадетъ въ снѣжистый перебой, что пурга здѣсь позабыла, то раскатится по наглаженному полозному слѣду, на которомъ не удержались пушистыя снѣжинки. Духъ занимается у Помады. Злобствуетъ онъ, и увязая въ переносахъ, и падая на голыхъ раскатахъ, а впереди, за Рыбницей, въ ряду давно темныхъ оконъ, два окна смотрятъ словно волчьи глаза въ оврагѣ.

— Это у Егора Николаевича въ комнатѣ свѣтъ.—подумалъ Помада, увидя неподвижные волчьи глаза.

«И чудно, какъ смотрятъ эти окна,—думаетъ онъ, продолжая свою дорогу:—точно съѣсть хотятъ».

— И зачѣмъ бы это она?.. И на наемныхъ... Должно-быть... у—ахъ!—Эко чортъ! Тогда свалился, теперь завязъ, тьфу!..

И поперъ Помада прямо на волчьи очи, которыя все расходились, расходились, и наконецъ, выровнялись въ форму двухъ восьми-стекольныхъ оконъ.

«Однако, ходьба нынче!» подумалъ Юстинъ Помада и дернулъ за клямну.

Двери заперты.

— Кто?—спрашиваетъ изъ-за двери голосъ.

— Я.

— А! Барчукъ меревскій. Пустить?

Отвѣта Помада не слыхалъ, а дверь отворилась.

Кандидатъ бросилъ на оконокъ передней тулупъ и вошелъ въ залу.

— Подождите, батюшка, здѣсь немножечко.—попросила встрѣтившая его птичница и, оставивъ ему свѣчку, юркнула къ Лизѣ въ бахаревскій кабинетъ.

Слабо освѣщала большую залу одна сальная свѣчка. Хо-

рошо виденъ былъ только большой обѣденный столъ и два нижніе ряда нагроможденныхъ на немъ подъ самый потолокъ стульевъ, которые самымъ причудливымъ образомъ выставляли во всѣ стороны свои тоненькія, загнутыя ножки. А далѣе былъ мракъ, съ которымъ не хотѣлъ и бороться тщедушный огонекъ свѣчечки. Только взглянувши въ отворенную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это не настоящій мракъ, и что есть мѣсто, гдѣ еще темнѣе. Какъ ни слаба была полоска свѣта, падавшая на полъ залы сквозь рядъ высунутыхъ стульями ножекъ, но все-таки по этому полу, прямо къ гостиной двери, ползла громадная, фантастическая тѣнь, напоминавшая какое-то многорукое чудовище изъ волшебнаго міра. Тонкія, кривыя ножки вырастали на тѣни, по мѣрѣ удаленія отъ свѣчки причудливо растягивались и не обрѣзывались, а какъ-то смѣшивались съ темнотою, словно пощупывая тамъ что-то, или кого-то подкарауливая.

Несмотря на тревожное состояніе Помады, таинственно-мрачный видъ темнаго, холоднаго покоя странно подѣйствовалъ на впечатлительную душу кандидата и даже заставилъ его на нѣкоторое время забыть о Лизѣ.

«Фу, какъ тутъ скверно!—подумалъ Помада, пожимаясь отъ холода,—ни слѣда жизни нѣтъ. Это хуже могилы».

Въ головѣ у Помады почему-то вдругъ пробѣжали дѣтскія сказки о заколдованныхъ замкахъ, о Громвалѣ, о Кикиморѣ.

«Тамъ-то, тамъ-то тьма такая!» подумалъ Помада, направляясь со свѣчою къ гостиной двери.

Здѣсь свѣчечка оказывалась еще безсильнѣе при темныхъ обояхъ комнаты. Только одинъ неуклюжій, запыленный чехолъ, окутывавшій огромную люстру съ хрустальными подвѣсками, невозможно выдѣлялся изъ густого мрака и изъ одной щелки этого чехла на Помаду смотрѣлъ крошечный огненный глазокъ. Точно Кикимора подслушала Помадины думы и затѣяла пошутить съ нимъ. «Вотъ, молъ, гдѣ я сижу-то: у меня здѣсь отлично, въ этомъ пыльномъ шалашикѣ».

Помада посмотрѣлъ на блестѣвшую хрусталинку люстры и, возвращаясь въ залу, встрѣтился съ птичницей, которая звала его къ Лизаветѣ Егоровнѣ.

Лиза была въ отцовскомъ кабинетѣ. Она сидѣла передъ

печкою, въ которой ярко пылала ржаная солома. Въ этой комнатѣ было такъ же холодно, какъ и въ гостиной, и въ залѣ, но все-таки здѣсь было много уютнѣе и на видъ даже какъ-то теплѣе. Здѣсь менѣе былъ нарушенъ живой видъ покоя: по стѣнамъ со всѣхъ сторонъ стояли довольно старые, но весьма мягкіе турецкіе диваны, обтянутые шерстяной, полосатой матеріей; старинный рѣзной шкафъ съ большою гипсовою лошадью наверху и массивный письменный столъ съ рѣзными башенками. Кромѣ того, здѣсь было нѣсколько мягкихъ табуретовъ, изъ которыхъ на одномъ теперь сидѣла и грѣлась Лиза.

Въ комнатѣ не было ни чемодана, ни дорожнаго сака и вообще ничего такого, что свидѣтельствовало бы о прибытіи человѣка за сорокъ верстъ по русскимъ дорогамъ. Въ одномъ углу на отоманкѣ валялась городская лисья шуба, крытая чернымъ атласомъ, ватный капоръ и большой ковровый платокъ; да тутъ же на полу стояли черные бархатные сапожки, а больше ничего.

— Здравствуйте!—весело, но сильно взволнованнымъ и дрожащимъ голосомъ сказала Лиза, протягивая Помадѣ свою ручку.

Помада торопливо схватилъ эту ручку, пожалъ ее и взглянулъ на Лизу сіяющимъ взоромъ, но не сказалъ ни одного слова въ отвѣтъ на ея привѣтствіе.

— Что, вы удивлены, поражены, напуганы?—тѣмъ же взволнованнымъ голосомъ и съ тою же напряженно-веселою улыбкою спросила Лиза.

Помада кашлянулъ, пожался и отвѣчалъ:

— Точно, удивленъ, Лизавета Егоровна. Какъ это вы?

— Какъ пріѣхала? А вотъ сѣла, да и пріѣхала.

Помада взялъ табуретъ, сѣлъ къ печи и, закрывъ ладонью ротъ, опять кашлянулъ.

— Здѣсь совсѣмъ холодно,—замѣтилъ онъ.

— Да, холодно, домъ настылъ, не топленъ съ осени.

— Вамъ здѣсь нельзя оставаться.

— Ну, объ этомъ будемъ разсуждать послѣ, а теперь я за вами послала, чтобы вы какъ-нибудь достали мнѣ хоть рюмку теплаго вина, горячаго чаю, хоть чего-нибудь, чего-нибудь. Я иззябла, совсѣмъ иззябла, я больна, я замерзала въ полѣ... и даже обморозилась... Я вамъ хотѣла написать объ этомъ, да... да не могла... руки вотъ насилу оттерли

снѣгомъ... да и ни бумаги, ничего нѣтъ... а люди все перевруть...

По мѣрѣ того, какъ Лиза высказывала свое положеніе, искусственная веселость все исчезала съ ея лица, голосъ ея становился все прерывистѣе, щеки подергивало, и видно было, что она насилу удерживаетъ слезы, выжимаемыя у нея болѣзнью и крайнимъ раздраженіемъ.

Къ концу этой короткой рѣчи все лицо Лизы выражало одно живое страданіе, и, взглянувъ въ глаза этому страданію, Помада, не говоря ни слова, выскочилъ и побѣжалъ въ свою конуру, едва ли не такъ ишбко, какъ онъ бѣжалъ навстрѣчу институткамъ.

Черезъ полчаса въ комнату Лизы вошли докторъ и Помада, обремененный бутылками съ уксусомъ, спиртомъ, краснымъ виномъ и нѣсколькими сверточками въ бумагѣ.

Лиза смотрѣла въ огонь и ничего не слыхала. Она была очень слаба и разстроена.

— Лизавета Егоровна! — весело воскликнулъ докторъ, протягивая ей свою руку.

— А, докторъ! Вотъ встрѣча-то?—проговорила нѣсколько удивленная его появленіемъ Лиза.—И какъ кстати! Я совсѣмъ разнемогалась.

— Прозябли, я думаю, просто.

— Какое тамъ прозябла? Я замерзала, совсѣмъ замерзала. Мнѣ оттирали руки и ноги. На меня ужъ даже спячка находила.

— Гдѣ-жъ это вы?

— Дорогой,—сбился мужикъ.

Докторъ посмотрѣлъ ей пристально въ глаза и сказалъ:

— Дайте-ка руку. А что это у васъ съ глазами?—болятъ они у васъ?

— Да, это ужъ давно.

— Или вы плакали?

— И это немножко было. — отвѣтила, слегка улыбнувшись, Лиза.

— Ну, ты, Помада, грѣй вино, да хлопочи о помѣщеніи для Лизаветы Егоровны. Вамъ теперь прежде всего нужно тепло да покой, а тамъ увидимъ, что будетъ. Только здѣсь, въ нетопленномъ домѣ, вамъ ночевать нельзя.

— Нѣтъ, я здѣсь останусь. Я напьюсь чаю, вина выпью, одѣнусь шубой и велю всю ночь топить — ничего и здѣсь. Эта комната скоро согрѣется.

— Ну, нѣтъ, Лизавета Егоровна, это, ужъ, извините меня, причуды. Комната станетъ отходить, сдѣлается такой угаръ, что и головы не вынесете.

Лиза вздохнула и сказала:

— Что-жъ! можетъ быть и лучше будетъ.

— Что это, головы-то не вынесть? Ну, объ этомъ еще подумаемъ завтра. Зачѣмъ головѣ даромъ пропадать? А теперь... куда бы это помѣстить Лизавету Егоровну! Помада! ты здѣсь весь дворъ знаешь?

— Къ конторщику, у него двѣ комнаты.

— Не хочу, не хочу! — замахавъ ручкою, возразила на это предположеніе Лизавета Егоровна.

— Отчего же?

— Не хочу.

— Да отчего?—резонировалъ докторъ.

— Я не могу никого видѣть сегодня.

— А другія помѣщенія, кромѣ птичной избы, всѣ пустыя и холодныя,—замѣтилъ Помада.

— А птичная-то изба теплая, хорошая?

— Грязная, загаженная и никуда не годится.

— Пойдемъ-ка, осмотримъ.

Докторъ и Помада вышли, а Лиза, оставшись одна въ пустомъ домѣ, снова утупила въ огонь глаза и погрузилась въ странное, столбняковое состояніе.

— Батюшка мой!—говорилъ докторъ, взойдя въ жилище конторщика, который уже возсталъ отъ сна и ожидалъ разгадки страннаго появленія барышни: — сдѣлайте-ка вы милость, заложите поскорѣе лошадку, да слетайте въ городъ за дочкою Петра Лукича. Я вотъ ей пару строчекъ у васъ черкну. Да выходите-то, батюшка, сейчасъ: намъ нужно у васъ барышню помѣстить. Вы, вѣдь, не осердитесь?

— Помилуйте, я съ моимъ удовольствіемъ. Я даже самъ разсуждалъ это предложеніе сдѣлать Лизаветѣ Егоровнѣ. Я хоть гдѣ-нибудь могу, а ихъ дѣло нѣжное.

— То-то, тамъ никакъ нельзя.

— Какъ возможно? Тамъ одно слово—стыдь.

— Да. Ну-съ, шубку-то, шубку-то, да и выйдите, побудьте гдѣ-нибудь, пока лошадь заложатъ. А лампадочку-то передъ иконами поправьте: это очень хорошо.

— Все сею минутою-съ.

— Ну, и прекрасно, и птичницу сюда на минутку по-

шлите, а мы сейчасъ переведемъ Лизавету Егоровну. Только чтобъ она васъ здѣсь не застала: она вѣдь, знаете, такая... деликатная, — разсказывалъ докторъ, уже сходя съ конторскаго крылечка.

Докторъ урезонилъ Лизавету Егоровну: ее привели въ теплую комнатку конторщика, напоили горячимъ чаемъ съ виномъ, птичница вытерла ее спиртомъ и уложила на конторщикову постель, покрытую чистою простынею.

Докторъ не позволялъ Лизѣ ни о чемъ разговаривать, да она и сама не расположена была бесѣдовать. Въ комнатѣ поправили лампаду и оставили Лизу одну съ своими думами и усталостью.

Докторъ съ Помадой остались въ конторѣ, служившей предверіемъ къ конторщикову апартаменту.

Они посидѣли съ полчаса въ совершенномъ молчаніи, перелистывая отъ скуки книги «О приходѣ и расходѣ разнаго хлѣба снопами и зерномъ». Потомъ докторъ снялъ ногою сапоги, подошелъ къ Лизиной двери и, послушавъ, какъ спитъ больная, возвратился къ столу.

— Что?—прошепталъ Помада.

— Ничего, дышитъ спокойно и спитъ. Авось, ничего не будетъ худого. Давай ложиться спать, Помада. Ложись ты на лавкѣ, а я здѣсь на столѣ прилягу, — также шопотомъ проговорилъ докторъ.

— Нѣтъ, я не лягу.

— Отчего?

— Мнѣ не хочется спать.

— Ну, какъ знаешь, а я лягу.

И докторъ, положивъ подъ голову нѣсколько книгъ «О приходѣ и расходѣ хлѣба снопами и зерномъ», легъ на столъ и закрылся своимъ полушубкомъ.

— Что бы это такое значило?—прошепталъ, наклоняясь къ самому уху доктора, Помада, тоже снявшій свои сапоги и подкравшійся къ Розанову совершенно неслышными шагами, какъ котъ изъ хрустальной лавки.

— Что такое? — спросилъ шопотомъ докторъ, быстро откинувъ съ себя полушубокъ.

Помада повторилъ свой вопросъ.

— А, шутъ этакой! Испугалъ совсѣмъ. Я думалъ ужъ не вѣсть что дѣлается.

— Ну, да, я виноватъ. Я это такъ шелъ, чтобъ не слышно. Ну, а какъ ты думаешь, что бы это такое значило?

— Я думаю, что ступай ты спать: успѣемъ еще узнать. Что тутъ отгадывать да путаться. Сни. Утро вечера мудренѣе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая.

Говорятъ, что человѣческое жилище всегда болѣе или менѣе точно выражаетъ собою характеръ людей, которые въ немъ обитаютъ. Едва ли нужно доказывать, что до извѣстной степени можно допустить справедливость этого замѣчанія. Наблюдательный и чуткій человѣкъ, осмотрѣвшись въ жильѣ людей, мало ему знакомыхъ, или даже совсѣмъ незнакомыхъ, по самымъ неуловимымъ мелочамъ въ обстановкѣ, размѣщеніи и содержаніи этого жилья, чувствуетъ, что здѣсь преобладаетъ любовь или вражда, согласіе или свара, радушіе или скупость, домовитость или расточительность.

Когда люди входили въ домъ Петра Лукича Глоланкаго, они чувствовали, что здѣсь живетъ совѣтъ и любовь, а когда эти люди знакомились съ самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здѣсь согласіе, но какъ бы созерцали олицетвореніе этого совѣта и любви въ старикѣ и его женѣ. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича съ его дочерью. Женни, украшая собою тихую, предзакатную вечерю старика, умѣла всѣхъ пріобщить къ своему чистому празднеству, ввести въ свою безмятежную сферу.

До пріѣзда Женни старикъ жилъ, по собственному его выраженію, отбившимся отъ стада зубромъ: у него было чисто, тепло и пріютно, но только со смерти жены, у него было вездѣ тихо и пусто. Тишина этого домика не знала со скукою, но и не знала оживленія, которое снова внесла въ него съ собою Женни.

Съ пріѣздомъ Женни здѣсь все пошло жить. Ожилъ и помолодѣлъ самъ старикъ, сильнѣе запахъ старый жасминъ, обрѣзанный и подвязанный молодыми ручками; повеселѣла кухарка Пелагея, имѣвшая теперь возможность совѣщаться о соленьяхъ и вареньяхъ, и повеселѣли самыя стѣны комнаты, заслышавъ легкіе шаги граціозной Женни и ея тихій,

симпатичный голосокъ, которымъ она, оставаясь одна, иногда безотчетно пѣла для себя:

— «Когда-бъ онъ зналъ, какъ пламенной душою», или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя».

Въ восемь часовъ утра начинался день въ этомъ домѣ: лѣтомъ онъ начинался часомъ ранѣе. Въ восемь часовъ Женни сходилась съ отцомъ у утренняго чая, послѣ котораго старикъ тотчасъ уходилъ въ училище, а Женни заходила на кухню и черезъ полчаса являлась снова въ залѣ. Здѣсь, подъ однимъ изъ двухъ оконъ, выходившихъ на берегъ рѣчки, стоялъ ея рабочій столикъ, краснаго дерева, съ зеленымъ тафтянымъ мѣшкомъ для обрѣзковъ. За этимъ столикомъ проходили почти цѣлые дни Женни.

— Рукодѣльница наша барышня: все сидитъ, все шьетъ, все шьетъ,—приданое себѣ готовитъ,—разсказывала сосѣдямъ Пелагея.

Женни, точно, была рукодѣльница и штопала отцовскіе носки съ бо́льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки къ лампамъ и подсвѣчникамъ. Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дѣло плотно, безъ шума, безъ треска, тихо, но такъ солидно, что и люди, и старикъ-отецъ тотчасъ почувствовали, что въ домѣ есть настоящая хозяйка, которая все видитъ и обо всѣхъ помнитъ.

И стало всѣмъ очень хорошо въ этомъ домѣ.

Изъ окна, у котораго Женни пріютилась съ своимъ рабочимъ столикомъ, былъ если не очень хорошій, то очень просторный русскій видъ. Городокъ былъ раскинутъ по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной рѣки Саванки, значащейся подъ другимъ названіемъ въ числѣ замѣчательнѣйшихъ притоковъ Оки. Лучшая улица въ городѣ была Московская, по которой проходило курское шоссе, а потомъ Рядская, на которой были десятка два лавокъ, два трактирныхъ заведенія и цырюльня съ надписью, буквально гласившею:

«Сдѣся кровъ пускаютъ и стригутъ и бреютъ Козловъ».

Знаковъ препинанія на этой вывѣскѣ не было, и мѣстные зоилы находили, что такъ оно выходитъ гораздо лучше.

Потомъ къ городѣ была еще замѣчательна улица Крупчатная, на которой приказчики и носильщики таскали кули, сбивали прохожихъ съ ногъ, или, шутки ради, *подбьли-*

вали ихъ мучкой самой первой руки; да была еще улица Главная. Богъ ужъ знаетъ почему она такъ называлась. Разсказывали въ городѣ, что на ней когда-то стоялъ домъ самого батюшки Степана Тимоѳеевича Разина, который крѣпко засѣлъ здѣсь и зимовалъ со своими рыцарями почти цѣлую зиму. Теперь Главная улица была знаменита только тѣмъ, что по ней при малѣйшемъ дождѣ становилось море и послѣ цѣлый мѣсяцъ не было ни прохода, ни проѣзда. Затѣмъ шли закоулочки, да переулочки, пересѣкавшіе другъ друга въ самыхъ прихотливыхъ направленіяхъ. Тутъ жили прядильщики, крупчатники, мѣщане, занимавшіеся поденной работой, и мѣщане, ничѣмъ не занимавшіеся, а вѣчно полупьяные или больные съ похмелья. Съ небольшой высоты надъ этою мѣстностью царилъ высокій, каменный острогъ, наблюдая своими стеклянными глазами какъ пьетъ и сварится голодная нищета и какъ щиплетъ свою жидкую, бѣленькую бородку купецъ Никонъ Родіоновичъ Масленниковъ, попугивая то того, то другого каменнымъ мѣшечкомъ.

— Сейчасъ упеку,—говоритъ Никонъ Родіоновичъ:—чувствуй, съ кѣмъ имѣешь обращеніе!

И покажетъ рукою на острогъ.

Народъ это очень чувствовалъ и не только ходилъ безъ шапокъ передъ Масленниковыми хоромами, но и гордился имъ.

— У насъ теперь,—хвастался мѣщанинъ заѣзжему человѣку:—есть купецъ Никонъ Родіоновичъ, Масленниковъ прозывается, вотъ такъ человѣкъ! Что ты хочешь, сейчасъ онъ съ тобою можетъ сдѣлать; хочешь въ острогъ тебя посадить—посадитъ; хочешь плетюганами отшелепать, или такъ въ полицы розгамъ отодрать,—тоже сичасъ онъ тебя отдеретъ. Два слова городничему повелитъ, или записочку напишетъ, а ты ее, эту записочку, только представишь.—сичасъ тебя въ самомъ лучшемъ видѣ отдѣлаютъ. Вотъ какого себѣ человѣка имѣемъ!

— Вотъ несъ-то! —щуря глаза, замѣчалъ проѣзжій мужикъ.

— Да, братъ, повадки у него никому: первое дѣло капиталъ, а второе—рука у него.

— Н-да,—вытягивалъ проѣзжій.

— Н-да!—произносилъ въ другой тонъ мѣщанинъ.

— Ишь хоромы своротилъ какія! — кричалъ мужикъ, ѣдучи на саняхъ, другому мужику, стоявшему на колѣняхъ въ другихъ саняхъ.

— Страсть, братецъ ты мой!

— А вить что?—нашъ братъ мужикъ.

— Дыть Господь одарилъ, — вздыхая отвѣчалъ задній мужикъ.

— Извѣстно: очень ужъ, говорятъ, онъ много на церквы жертвуетъ.

— Только ужъ обмѣру у него на ссыпки очень тоже много,—замѣчалъ задній мужикъ.

— Обмѣру точно много,—задумчиво отвѣчалъ передній.

У часовенки, на площади мужики крестились, развязывали мошенки, опускали по грошу въ кружку и выѣзжали за острогъ, либо размышляя о Никонѣ Родіоновичѣ, либо распѣвая съ кокоревской водки:

— Ты заной, эхъ, ты заной. мое сердечушко, заной ретивое.

Затѣмъ, развѣ для полноты описанія, слѣдуетъ упомянуть о томъ, что городъ имѣетъ пять каменныхъ приходскихъ церквей и соборъ. Соборъ славился хоромъ пѣвчихъ, содержимыхъ отъ щедротъ Никона Родіоновича, да пятисотпудовымъ колоколомъ, каждый праздникъ громко, верстъ на десять кругомъ, кричавшимъ своимъ желѣзнымъ языкомъ о рачительствѣ того же Никона Родіоновича къ благолѣпію дома Божія.

Всѣ уѣздные любители церковнаго пѣнія обыкновенно сходились въ соборъ къ ранней обѣднѣ, ибо Никонъ Родіоновичъ всегда приходили помолиться за ранней, и тутъ пѣли пѣвчіе. Поздней обѣдни Никонъ Родіоновичъ не любили и ядовито замѣчали, что къ поздней обѣднѣ только ходятъ приказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была въ городѣ больница, въ которой несчастный Розановъ бился съ непреодолимыми препятствіями создать изъ нея что-нибудь похожее на лѣчебное заведеніе. Сначала онъ, по неопытности, все лѣзъ съ представленіями къ начальству, потомъ взывалъ къ просвѣщенному вниманію благороднаго дворянства, а, наконецъ, скрѣпя сердце и смиривъ духъ гордыни, отнесся къ толстому карману Никона Родіоновича. Никонъ Родіоновичъ пожертвовали два десятка верблюжьихъ халатовъ и фонарь къ подъѣзду, да на томъ и стали. Потребляемыхъ вещей Масленниковъ жертвовать не любилъ: у него было сильно развито стремленіе къ монументальности, онъ стремился къ нѣкоторому, такъ сказать, даже безсмертію: хотѣлъ жить въ будущемъ.

Хоть не въ далекомъ, да въ будущемъ, хоть пока халаты износятся и сопрѣетъ стѣна, къ которой привинтили безобразный фонарь съ скрипучимъ флюгеромъ, увеличивавшимъ своимъ скрипомъ предсмертную тоску замариваемыхъ, въ докторово отсутствіе, больныхъ.

Былъ еще за городомъ гусарскій выѣздной манежъ, состроенный изъ осиновыхъ вершинокъ и оплетенный соломенными притугами, но это было временное зданіе. Хотя губернскій архитекторъ, случайно видѣвшій счеты, во что обошелся этотъ манежъ правительству, и утверждалъ, что зданіе это весьма замѣчательно въ исторіи военныхъ построекъ, но это нимало не касается нашего романа и притомъ съ подробностью обработано уѣзднымъ учителемъ Зарницынымъ въ одной изъ его обличительныхъ замѣтокъ, напечатанныхъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*.

Болѣе въ цѣломъ городѣ не было ничего достопримѣчательнаго въ топографическомъ отношеніи, а его этнографическою стороною намъ нѣтъ нужды обременять вниманіе нашихъ читателей, поелику эта сторона не представляетъ собою никакихъ замѣчательныхъ особенностей и не выясняетъ положенія дѣйствующихъ лицъ въ романѣ.

Гловацкій, Вязмитиновъ, Зарницынъ, докторъ и даже Бахаревъ были, конечно, знакомы и съ Никономъ Родіоновичемъ, и съ властями, и съ духовенствомъ, и съ купечествомъ, но знакомство это не оказывало прямого вліянія ни на ихъ главные интересы, ни на ихъ внутреннюю жизнь. А слѣдить за косвеннымъ вліяніемъ среды на выработку нравовъ и характеровъ, значило бы заходить нѣсколько далѣе, чѣмъ требуетъ нашъ планъ и положеніе нашихъ героевъ и героинь, не стремившихся спѣться съ окружающею ихъ средою, а сосредоточивавшихъ свою жизнь въ томъ ограниченномъ кружочкѣ, которымъ мы занимались до сихъ поръ, не удаляясь надолго отъ домовъ Бахарева и Гловацкаго. Кто жилъ въ уѣздныхъ городахъ въ послѣднее время, въ послѣ-якушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о благодѣтельной гласности, о новосильцевскомъ обществѣ пароходства и побѣдахъ Гарибальди въ Италіи, тотъ не станетъ отвергать, что около этого знаменательнаго времени и въ уѣздныхъ городахъ, особенно въ великороссійскихъ уѣздныхъ городахъ, имѣющихъ не менѣе одного острога и пяти церквей, произошелъ весьма замѣчательный и притомъ

совершенно новый общественный сепаратизмъ. Общество распадалось не только прежнимъ дѣленіемъ на аристократію чина, аристократію капитала и плебейство, но изъ него произошло еще небывалое дотолѣ выдѣленіе такъ называемыхъ въ то время *новыхъ людей*. Выдѣленіе этого ассортимента почти одновременно происходило изъ весьма различныхъ слоевъ провинціальнаго общества. Сюда попадали нѣкоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уѣздные, учители домашніе, чиновники самыхъ различныхъ вѣдомствъ и даже духовенство. Справедливость заставляетъ сказать, что едва ли не ранѣе прочихъ и не сильнѣе прочихъ въ это новое выдѣленіе вошли молодые учители, уѣздные и домашніе: за ними нѣсколько позже и нѣсколько слабѣе — чиновники, затѣмъ, еще моментомъ позже, зато съ неудержимымъ стремленіемъ сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерѣшительнѣе; духовенство сепарировалось только въ очень небольшомъ числѣ своихъ представителей.

Все это не были рыцари безъ пятна и упрека. Прошлое ихъ бо́льшею частію отвѣчало стремленіямъ среды, отъ которой они отдѣлялись. Молодые чиновники уже имѣли руки, запачканныя взятками, учители клянчили за мѣста и нѣкоторые писали оды мерзавнѣйшимъ изъ мерзавнѣйшихъ личностей; молодое дворянство сѣкало людей и проматывало потовые гроши народа; остальные вели себя не лучше. Все это были люди, слыхавшіе изъ устъ отцовъ и матерей, что «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». Всѣ эти люди вынесли изъ родительскаго дома одно благословеніе: «будь богатъ и знатенъ», одну заповѣдь: «дѣлай себѣ карьеру». Правда, иные слыхали при этомъ и «старайся быть честнымъ человѣкомъ», но что́ была эта честность и какъ было о ней стараться? Случались, конечно, и исключенія, но не ими вода освящалась въ великомъ морѣ русской жизни. Лѣзли въ купель люди прокаженные. Все, что́ вдругъ пошло массою, было деморализовано отъ раннихъ дней, все слышало ложь и лукавство; все было обучено искать милости, помня, что «ласковое телятко *двухъ маточекъ* сосетъ». Все это сбиралось сосать двухъ маточекъ и вдругъ бросило обѣихъ и побѣжало къ той, у которой вымя было сухо отъ долголѣтняго голода.

Эта эпоха возрожденія съ людьми, не получившими въ

наслѣдіе ни одного гроша, не взявшими въ напутствіе ни одного добраго завѣта, поистинѣ должна считаться одною изъ великихъ, поэтическихъ эпохъ нашей исторіи. Что влекло этихъ сепаратистовъ, какъ не чувство добра и справедливости? Кто велъ ихъ? Кто хоть на время подавилъ въ нихъ духъ обуявшаго націю себялюбія, двоедушія и продажности?

Предоставляя рѣшеніе настоящаго вопроса исторіи, съ благоговѣніемъ преклоняемся передъ рокомъ, судившимъ намъ зрѣть святую минуту пробужденія, видѣть лучшихъ людей эпохи, оплаканной въ незабвенныхъ стихахъ Хомякова, и можемъ только воскликнуть со многими: поистинѣ великъ твой Богъ, земля русская!

Перенеситесь мысленно, читатель, къ улетѣвшимъ днямъ этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее время, когда небольшая горсть «людей, довременно растлѣнныхъ», проснулась, задумалась и запыталась въ своемъ гражданскомъ малолѣтствѣ. Эта горсть русскихъ людей, о которой вспоминаетъ авторъ, пишущій настоящія строки, быстро росла и хотѣла расти еще быстрѣе. Въ этомъ естественномъ желаніи роста она дорожила своею численностью и, къ сожалѣнію, была слишкомъ неразборчива. Она не принимала въ расчетъ рутинной силы среды и не опасалась страшнаго вреда отъ шутовъ и дураковъ, приставшихъ къ ней по страсти къ модѣ. Зная всю тлѣнь и грязь прошлаго, она вѣрила, что проклятіе лежитъ надъ всякой неподвижностью, и собирала подъ свое знамя всѣхъ, говорившихъ о необходимости очиститься, омыться и двигаться впередъ. Она знала, что въ прошломъ ей завѣщано мало достойнаго сохраненія, и не ожидала, что почти одной ей поставятъ въ вину всю тщательно собранную ложь нашего времени.

По словамъ Хомякова, страна была

«Въ судахъ черна, неправдой черной,
И нравъ рабства клеймена:
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.»

Когда распочалась эта пора пробужденія, ясно было, что новые люди этой эпохи во всемъ рвались къ новому режиму, ибо не видали возможности идти къ добру съ лестью,

ложью, лѣнью и всякой мерзостью. На великое несчастіе этихъ людей, у нихъ не было во-время силы отречься отъ приставшихъ къ нимъ шутовъ. Они были болѣе честны, чѣмъ политически опытны, и забывали, что одинъ Донъ-Кихотъ можетъ убить цѣлую идею рыцарства. Такъ и случилось. Шуты насмѣшили людей, дураки ихъ разсердили. Началось ренегатство и во время стремительнаго бѣга назадъ люди забыли, что гонитъ ихъ не пошлость дураковъ и шутовъ, а тупость общества, да собственная трусость. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сдѣлаться смѣшнымъ значитъ потерять многое; но развѣ менѣе смѣшны другіе? Развѣ передъ нимъ нельзя поставить Сквозника-Дмухановскаго и заставить его спросить ихъ: «чего смѣетесь? Надъ собой смѣетесь?».

Честная горсть людей, не приготовленныхъ къ честному общественному служенію, но полюбившихъ добро и возненавидѣвшихъ ложь и всѣ лживыя положенія, виновата своею нерѣшительностью отречься отъ приставшихъ къ ней дурачковъ; она виновата недостаткомъ *самообличенія*. За пренебреженіе этой силой она горько наказана, вѣроятно, къ истинному сожалѣнію всѣхъ умныхъ и въ то же время добрыхъ сыновъ Россіи. Но все-таки нѣтъ никакого основанія видѣть въ этихъ людяхъ виновниковъ всей современной лжи, такъ же какъ нѣтъ основанія винить ихъ и въ заводѣ шутовъ и дураковъ, ибо шуты и дураки подъ различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фигурировать до вѣка.

Въ описываемую нами эпоху, когда ни одно изъ смѣшныхъ и, конечно, скоропреходящихъ стремленій людей, лишенныхъ серьезнаго смысла, не проявлялось съ нынѣшнею рѣзкостью, когда общество слѣпо вѣрило Бѣлинскому, даже въ томъ, напримѣръ, что «самый почтенный мундиръ есть черный фракъ русскаго литератора», добрые люди изъ демонизованныхъ сыновъ нашей страны стремились просто къ добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теоріи, а просто, наивно и честно желали добра и горѣли исторіѣніемъ всячески ему содѣйствовать. Плана у нихъ никакого не было, о крутыхъ, костоломныхъ поворотахъ во имя теорій имъ вовсе не думалось. Шло только дѣло о правдѣ въ жизни.

Первымъ шагомъ въ этомъ періодѣ былъ сепаратизмъ

со всѣмъ симпатизировавшимъ завѣтамъ прошлаго. Къ этому сепаратизму принадлежали почти всѣ знакомыя намъ до сихъ поръ лица нашего романа. Ему по-своему сочувствовалъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Петръ Лукичъ, пугавшійся всякой обличительной замѣтки; Вязмитиновъ, сидѣвшій надъ исторіей, и Зарницынъ, продергивавшій уѣздныя величины; докторъ, обличающій свое безсиліе выбиться изъ сферы взяточничества, и мать Агнія, вѣрная традиціямъ лѣтъ своей юности. На сторонѣ старыхъ интересовъ оставалась масса людей, которыхъ, по ихъ способностямъ, Эдуардъ Уитти справедливо называетъ разрядомъ плутовъ или дураковъ. Это было большинство. Ольга Сергѣевна, Зина, Софи оставались съ большинствомъ и жили его жизнью.

Женни и Лиза вовсе не принадлежали къ прошлому и не имѣли съ нимъ никакой связи.

По обстоятельствамъ, Женни должна была познакомиться съ нѣкоторыми мѣстными дамами и дѣвицами, но изъ этого знакомства ничего не вышло. Однѣ рѣшили, что она много о себѣ думаетъ; другія, что она ехидная-преехидная: все молчитъ да выслушиваетъ; третьи даже считали ее на этомъ же основаніи интриганкой, а четвертыя, наконецъ, не соглашаясь ни съ однимъ изъ трехъ вышеприведенныхъ мнѣній, утверждали, что она просто дура и кокетка. Около нея, говорили послѣднія, лебезятъ два молодыхъ учителя, стараясь поддѣлаться къ отцу, а она думаетъ, что это за ней увиваются, и дуетъ губы.

Но, тѣмъ не менѣе, Женни, однако, сильно интересовала собою бѣдныя живыми интересами головы уѣздныхъ барынь и барышень. Однѣ ея платья и шляпы доставляли слишкомъ тощую пищу для алчущей сплетни, и потому за ея особою былъ приставленъ особый шпіонъ. Въ этой должности состояла дочь почтеннаго сослуживца Головацкаго, восемнадцатилѣтняя полногрудая Лурлея. Ольга Григорьевна Саренко. Григорій Ильичъ Саренко, родомъ изъ борисопольскихъ дворянъ, дослуживалъ двадцать пятый годъ учителемъ уѣзднаго училища. Онъ былъ старъ, глупъ, довольно подловатъ и считалъ себя столпомъ училища. Онъ добивался себѣ какого-то особаго уваженія отъ Вязмитинова и Зарницына и, не получая онаго, по временамъ строчилъ на нихъ секретныя ябеды въ дирекцію училищъ. Дочь свою

онъ познакомилъ съ Женею, не ожидая на то никакого желанія со стороны пріѣзжей гостьи или ея отца. На другой же день по пріѣздѣ Женни, онъ явился подъ руку съ своей Лурлеей и отрекомендовалъ ее какъ дѣвицу, съ которой можно говорить и разсуждать обо всемъ самой просвѣщенной дѣвицѣ.

Съ тѣхъ поръ Лурлея начала часто навѣщать Женни и разносить о ней по городу всякія дрязги. Женни знала это: ее и предупреждали насчетъ дѣвицы Саренко, и даже, для вящшаго убѣжденія, сообщали, что̀ именно ею сочинено и разсказано, но Женни не обращала на все это никакого вниманія.

— Умные и честные люди, — отвѣчала она: — такимъ вздорамъ не повѣрятъ и поймутъ, что это сплетни, а о мнѣніи глупыхъ и дурныхъ людей я никогда не намѣрена заботиться.

Еще въ домъ Гловацкихъ ходила соборная дьяконица, Елена Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошенькая и превеселая бабочка, безпрестанно цѣловавшая своего мужа и аккомпанировавшая ему на фортепіано разные, всѣми давно забытые романсы. И дьяконица, и ея мужъ, Василій Ивановичъ Александровскій, были очень добрые и простодушные люди, которые очень любили Гловацкихъ и всю ихъ компанію. Сепаратисты тоже любили молодую духовную чету за ея веселый, добрый нравъ, искренность и безобидчивость, составляющую большую рѣдкость въ уѣздныхъ обществахъ.

Такимъ образомъ къ концу перваго года, проведеннаго Женею въ отцовскомъ домѣ, ближайшій кругъ ея знакомства составляли: Вязмитиновъ, Зарницынъ, дьяконъ Александровскій съ женою, Ольга Саренко, состоявшая въ должности наблюдателя, отряженнаго дамскимъ обществомъ, и докторъ. Съ женою своею докторъ не знакомилъ Женни и вообще постоянно избѣгалъ даже всякихъ о ней разговоровъ.

Изъ этихъ лицъ чаще всѣхъ бывали у Гловацкихъ Вязмитиновъ и Зарницынъ. Рѣдкій вечеръ Женни проводила одна. Всегда къ вечернему чаю являлся тотъ или другой, а иногда и оба вмѣстѣ. Усаживались за столъ, и кто-нибудь изъ молодыхъ людей читалъ, а остальные слушали. Женни при этомъ обыкновенно работала, а Петръ Лукичъ

или растиралъ въ блюдцѣ грушевою ложечкою нюхательный табакъ, или, подпершн ладонями голову, молча глядѣлъ на Женни, замѣнившую ему всѣ радости въ жизни. Женни очень любила слушать, особенно когда читалъ Зарницынъ. Онъ, дѣйствительно, очень хорошо читалъ, хотя и вдавался въ нѣкоторую не совсѣмъ нужную декламацію. Несмотря на то, что Женни обѣщала читать все, что ей дастъ Вязмитиновъ, ея литературный вкусъ скоро сказался. Она очень тяготилась серьезнымъ чтеніемъ и вообще не долюбливала статей. Вязмитиновъ скоро это замѣтилъ и сталъ снабжать ее лучшими беллетристическими произведеніями старой и новой литературы. Выборъ всегда былъ очень разумный, изобличавшій въ Вязмитиновѣ основательное знаніе литературы и серьезное пониманіе вліянія извѣстныхъ произведеній на умъ и сердце читательницы.

Легкій родъ литературы Женѣ очень нравился, но и въ немъ она искала отдыха и удовольствія, а не зачитывалась до страсти.

Вообще она была читательница такъ себѣ, весьма не рьяная, хотя и не была равнодушна къ драматической литературѣ и поэзіи. Она даже знала наизусть цѣлыя страницы Шиллера, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, но все это ей нужно было для отдыха, для удовольствія; а главное у нея было—дѣло дѣлать. Это *дѣло дѣлать* у нея сводилось къ исполненію женскихъ обязанностей дома для того, чтобы всѣмъ въ домѣ было какъ можно легче, отраднѣе и лучше. И она считала эти обязанности своимъ преимущественнымъ назначеніемъ вовсе не вслѣдствіе какой-нибудь узкой теоріи, а такъ это у нея просто такъ выходило, и она такъ жила.

Зарницынъ за это упрекалъ Евгенію Петровну, указывая ей на высокое призваніе гражданки; Вязмитиновъ объ этомъ никогда не разговаривалъ, а докторъ, сдѣлавшійся жаркимъ поклонникомъ скромныхъ достоинствъ Женни, обыкновенно не давалъ сказать противъ нея ни одного слова.

— Рудинъ! Рудинъ!—кричалъ онъ на Зарницына: — все съ проповѣдями ходишь, на великое служеніе всѣхъ подбиваешь: мать Гракховъ сыновей кормила, а ты, смотри, бабки слѣпой не умори голодомъ съ проповѣдями-то.

Докторъ, впрочемъ, бывалъ у Гловацкихъ гораздо рѣже, чѣмъ Зарницынъ и Вязмитиновъ: служба не давала ему

покоя и не позволяла засиживаться въ городѣ; къ тому же, онъ часто бывалъ въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, что бѣгалъ отъ всякаго сообщества. Недобрые люди разсказывали, что онъ въ такія полосы пилъ мертвую и лежалъ ницъ на продавленномъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ.

Когда докторъ заходилъ посидѣть вечерокъ у Гловацкихъ, тогда ужъ обыкновенно не читали, потому что у доктора всегда было что̀ вытащить на свѣтъ изъ грязной, но не безынтересной ямы, именуемой провинціальною жизнью.

Если же къ этому собранію еще присоединялся дьяконъ и его жена, то тогда и пѣли, и спорили, и немножко безобразничали.

Кромѣ того, иногда самымъ неожиданнымъ образомъ заходили такіе жаркіе и такіе безконечные споры, что Петръ Лукичъ прекращалъ ихъ, поднимаясь со свѣчою въ рукѣ и провозглашая: «любезные мои гости! жалѣя ваше безцѣнное для васъ здоровье, никакъ не смѣю васъ болѣе удерживать»,—и всѣ расходились.

Вообще это былъ кружокъ очень короткихъ и очень другъ къ другу не взыскательныхъ людей.

Подобные кружки сепаратистовъ въ описываемую нами эпоху встрѣчались довольно нерѣдко и составляли совершенно новое явленіе въ уѣздной жизни.

Людей, входившихъ въ составъ этихъ кружковъ, связывала не солидарность матеріальныхъ интересовъ, а единственно сочувствіе совершающемуся пробужденію, общая радость каждому шагу общественнаго преуспѣянія и искреннее желаніе всѣхъ золъ прошедшему.

Поэтому короткость тогдашнихъ сепаратистовъ не парализировалась наступательными и оборонительными диверсіями, разъединившими *новыхъ людей* впослѣдствіи, и была совершенно свободна отъ нравственной нечисти и растлѣнія, вносимыхъ съ короткостью людей отходившей эпохи.

Тутъ все имѣло только свое значеніе. Было много вѣры другъ въ друга, много простоты и снисходительности, которыхъ не было у отцовъ, занимавшихъ соотвѣтственныя соціальныя амплуа, и нѣтъ у дѣтей, занимающихъ амплуа даже гораздо выгоднѣйшія для водворенія простоты и правды житейскихъ отношеній.

Уѣздный l'ancienne régime не могъ понять настоящихъ причинъ дружелюбія и короткости кружка нашихъ знакомыхъ.

Дождется, бывало, Вязмитиновъ смѣны уроковъ, идетъ къ Евгеніи Петровнѣ и молча садится противъ нея по другую сторону рабочаго столика.

Женни тоже молча взглянетъ на него своимъ ласковымъ взглядомъ и спроситъ:—Устали?

— Усталъ,—отвѣтитъ Вязмитиновъ.

— Не хотите ли чашку кофе, или водочки? — спроситъ Женни, попрежнему не отрывая глазъ отъ работы.

— Нѣтъ, не хочу; я такъ пришелъ отдохнуть и посмотрѣть на васъ.

Перекинутся еще десяткомъ простыхъ, малозначащихъ словъ и разойдутся до вечера.

— Евгенія Петровна! — восклицаетъ, влетая спѣшнымъ шагомъ, красивый Зарницынъ.

— Ахъ! что такое сотворилось! — улыбаясь и поднимая тѣ же ласковые глаза, спрашиваетъ Женни всегда немножко рисующагося и увлекающагося учителя.

— Умираю, Евгенія Петровна.

— Какая жалость!

— Вамъ жаль меня?

— Да какъ же?

— Читать некому будетъ?

— Да, и суетиться некому станетъ.

— Ахъ, Евгенія Петровна! —дѣлая жалкую рожицу, восклицаетъ учитель.

— Вѣрно, водочки дать?

— Съ грибочкомъ, Евгенія Петровна.

Женни засмѣется, положитъ работу и идетъ съ ключами къ завѣтному шкапику, а за ней въ самой почтительной позѣ идетъ Зарницынъ за полученіемъ изъ собственныхъ рукъ Женни рюмки травничку и маринованныхъ грибковъ на чайномъ блюдцѣ.

— Пошелъ, пошелъ, баловникъ, на свое мѣсто,—съ шутливою строгостью ворчитъ, входя, Петръ Лукичъ, относясь къ Зарницыну.—Звонокъ прозвонилъ, а онъ тутъ угощается. Что ты его, Женни, не гоняешь въ классы?

Возьметъ Гловацкій педагога тихонько за руку и ведетъ къ двери, у которой тотъ проглатываетъ послѣдніе грибки и бѣжитъ внушать уравненія съ двумя неизвѣстными, а Женни подаетъ закуску отцу и снова садится подъ окно къ своему столику.

Докторъ пойдетъ въ городъ, и куда бы онъ ни шелъ, все ему смотрительскій домъ на дорогѣ выйдетъ. Забѣжитъ на минутку, все, говоритъ, некогда, все торопится, да и просидитъ битый часъ противъ работающей Женни, разсказывая ей, какъ многимъ худо живется на бѣломъ свѣтѣ и какъ имъ могло бы житься совсѣмъ иначе, гораздо лучше, гораздо свободнѣе.

И ни разу онъ не вскипятится, разсуждая съ Женей, ни разу не впадетъ въ свой обыкновенно рѣзкій, раздражительный тонъ, а уходя, скажетъ:

— Дайте, Евгенія Петровна, поцѣловать вашу ручку.

Женни спокойно подаетъ ему свою бѣлую ручку, а онъ спокойно ее поцѣлуетъ и пойдетъ повеселѣвшій и успокоенный.

Гловацкая никогда не скучала и не тяготилась тихимъ однообразіемъ своей жизни. Напротивъ, она полюбила ее всѣмъ сердцемъ, и все ей было мило и понятно въ этой жизни. Она понимала и отца, и Вязмитинова, и доктора, и условія, въ которыхъ такъ или иначе боролись представлявшіеся ей люди, и осмыслена была развернутая передъ ея окномъ широкая страница вѣчной книги. Уйдутъ, бывало, ежедневные посѣтители, разсказавъ такой или другой случай, выразивъ ту или другую мысль, а эта мысль или этотъ разсказъ копошатся въ молодой головкѣ, складываются въ ней все опредѣленнѣе, формулируются стройно выраженнымъ вопросомъ и предстаютъ на строгій, безпристрастный судъ, не сходя съ очереди, прежде чѣмъ дождутся обстоятельнаго рѣшенія.

Но колоссальной живой страницѣ, глядя на которую Евгенія Петровна задумала свои первыя дѣвичьи думы, текла тихая мелководная рѣчка съ некрутыми черноземными берегами. Берегъ, на которомъ стоялъ городъ, былъ еще нѣсколько круче, а противоположный берегъ уже почти совсѣмъ отлогъ, и съ него непосредственно начиналась огромная, кажется, только въ одной просторной Россіи возможная, пойменная луговина. Разстилалась эта луговина по тотъ бокъ рѣчки на такое далекое пространство, что большая раскольничья деревня, раскинутая у предгорья, заканчивавшаго съ одной стороны луговую пойму, изъ города представлялась чѣмъ-то въ родѣ длиннаго обоза, или даже овечьяго стада. Вообще, низенькіе деревенскіе домики ка-

зались не выше луговыхъ кочекъ, усѣвшихся на переднемъ планѣ необъятнаго луга. А когда бархатная поверхность этого луга мало-по-малу сѣрѣла, клочилась и росла, деревня вовсе исчезала и только длинные журавли ея колодцевъ медленно и важно, какъ бы по собственному произволу, то поднимали, то опускали свои шеи, точно и въ самомъ дѣлѣ были настоящіе журавли, живыя, вольныя птицы Божьи, которыхъ не гнетъ за носъ къ землѣ веревка, привязанная человѣкомъ. По горѣ росли горохъ и чечевица, далѣе влѣво шелъ глубокій оврагъ съ красно-бурыми обрывами и совершенно черными впадинами, дававшими нѣкогда пріютъ смѣлымъ удальцамъ Степана Разина, сына Тимоѳеевича. Затѣмъ шелъ старый сосновый лѣсъ, густою, черно-синею щеткою покрывавшій гору и уходившій по ней подъ самое небо; а къ этому лѣсу, кокетливо поворачиваясь то въ ту, то въ другую сторону, подбѣгала мелководная рѣчечка, заросшая по загибинамъ то звонкимъ красноватымъ тростникомъ, махавшимъ своими переломленными листочками, то зелено-синимъ початникомъ. Много этого початника росло по мелководной рѣчкѣ Саванкѣ. Вымечется этотъ початникъ и славно смотрѣть на него издали. На однихъ стебляхъ качаются развѣсистыя кисточки съ какими-то красными узелками, точно деревенскія молодки въ бахромчатыхъ повязкахъ. А на другихъ стебляхъ все высокіе, черные, бархатистые султаны; ни-дать-ни-взять, тѣ прежніе султаны, что высоко стояли и шатались на высокихъ гренадерскихъ шапкахъ. Смирно стоятъ въ воздухѣ гордые, статные гренадеры въ высокомъ, синемъ ситникѣ, и только болѣе шаткія, спрятавшіяся въ томъ же ситникѣ молодочки кокетливо потряхиваютъ своими бахромчатыми, красноватыми повязочками. А дунетъ вѣтерокъ, гренадеры зашатаются съ какими-то рѣшительными намѣреніями, повязочки суетливо метнутся изъ стороны въ сторону, и все это вдругъ пригнется, юркнетъ въ густую чащу початника; наверху не останется ни повязочки, ни султана, и только синія лопасти холостыхъ стеблей шумятъ и передвигаются, будто давая кому-то мѣсто, будто сговариваясь о секретѣ, и стараясь что-то укрыть отъ звонкаго тростника, вѣчно шумящаго своими болтливыми листьями. Пронесется тучка, сбѣжитъ вѣтерокъ и изъ густой травы снова выпрыгиваютъ гренадерскіе султаны, и

за ними лѣниво встаютъ и застѣнчиво отряхиваются бахромчатыя повязочки.

Видъ этотъ измѣнялся нѣсколько разъ въ годъ. Онъ не похожъ былъ на наше описаніе раннею весною, когда вся пойма покрывалась мутными водами разлива; онъ иначе смотрѣлъ послѣ Петрова дня, когда по поймѣ лежали густые ряды буйнаго сѣна; иначе еще позже, когда по убранному лугу раздавались то тихое ржанье сосуночка, то неистово-страстный храпъ спутаннаго жеребца и дѣтскій крикъ малолѣтняго табунщика. Еще иначе все это смотрѣло позднею осенью, когда пойма чернѣла и покрывалась лужами, когда черные, бархатные султаны становились бѣлыми, сѣдыми, когда между ними уже не мелькали бахромчатыя повязочки и самый ситникъ валился въ воду, совершенно обнажая подопрѣвающія цибастыя ноги гренадеръ. Дулъ сѣдовласый Борей, и картина вступала въ свою послѣднюю смѣну: пойма блестѣла бѣлымъ снѣгомъ, деревня рѣзко обозначалась у подгорья, оврагъ постепенно исчезалъ подъ нивелирующею рукою пушистой зимы и просвирнины гуси, съ глупою важностью, дѣлали своей променадъ черезъ окаменѣвшую рѣку. Рѣдкій изъ сѣдыхъ гренадеровъ достоитъ до этого суроваго времени и, совершенно потерявшись, ежится бѣднымъ инвалидомъ до тѣхъ поръ, пока просвирнина старая гусыня подойдетъ къ нему, дернетъ для своего развлеченія за вымерзлую ногу и броситъ на потѣху холодному вѣтру.

Въ смотрительскомъ флигелѣ всѣ спали тихимъ, но крѣпкимъ сномъ, когда меревскій Нарцисъ заколотилъ кнутовищемъ въ наглухо-запертыя ворота.

Черезъ полчаса послѣ этого стука, кухарка, зѣвая и крестясь, вошла со свѣчою въ комнату Евгеніи Петровны.

Дѣвушку какъ громомъ поразило извѣстіе о неожиданномъ и странномъ пріѣздѣ Лизы въ Мерево. Протянувъ инстинктивно руку къ лежавшему на стулѣ возлѣ ея кровати ночному шлафору, она совершенно растерялась и не знала, что ей дѣлать.

— Прочитайте, матушка, письмо-то, — сказала ей Пелагея.

Женни бросила шлафоръ и, сидя въ постели, развернула запечатанное письмо доктора.

«Спѣшите какъ можно скорѣе въ Мерево, — писалъ док-

торъ. — Ночью неожиданно пріѣхала Лизавета Егоровна, больная, разстроенная и перезябшая. Мы ее ни о чемъ не разспрашивали, да это, кажется, и не нужно. Я останусь здѣсь до вашего пріѣзда и даже долѣе, если это будетъ необходимо; но, во всякомъ случаѣ, она очень потрясена нравственно, и вы теперь для нея всѣхъ нужнѣе.

Д. Розановъ».

Черезъ часъ Женни сѣла въ отцовскія сани. Около нея лежалъ узелокъ съ бѣльемъ, платьемъ и кое-какой домашней провизіей.

Встревоженный Петръ Лукичъ проводилъ дочь на крыльцо, перекрестилъ ее, велѣлъ Яковлевичу ѣхать поскорѣе и, возвратясь въ залу, началъ накручивать опустившіяся гири стѣнныхъ часовъ.

На дворѣ брезжилось и стоялъ жестокій крещенскій морозъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Утро мудренѣе вечера.

Въ одиннадцать часовъ довольно ненастнаго зимняго дня, наступившаго за бурною ночью, въ которую Лиза такъ неожиданно появилась въ Мерево, въ бахаревской сельской конторѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ ночью спалъ докторъ Розановъ, теперь весело кипѣлъ не совсѣмъ чистый самоваръ. Около самовара стояли четыре чайныя чашки, чайникъ, съ обдѣланнымъ въ олово носикомъ, молочный кубанъ съ нѣсколько замерзшимъ сверху настоемъ, бумажные сверточки чаю и сахару и связка баранокъ. Далѣе еще что-то было завязано въ салфеткѣ.

За самоваромъ сидѣла Женни Гловацкая, а напротивъ ея докторъ и Помада.

Женни хозяйничала.

Она была одѣта въ темно-коричневый ватошникъ, ловко подпоясанный лакированнымъ поясомъ и застегнутый спереди большими бархатными пуговицами, нашитыми отъ самаго воротника до самаго подола; на плечахъ у нея былъ большой сѣрый платокъ изъ козьяго пуха, а на головѣ бѣленькій фламандскій чепчикъ, красиво обрамлявшій своими оборками ея прелестное, разгорѣвшееся на морозѣ личико и завязанный у подбородка двумя широкими бѣлыми лопастями. Густая черная коса въ нѣсколькихъ мѣстахъ выглядывала изъ-подъ этого чепца буйными кольцами.

Евгенія Петровна была восхитительно хороша въ своемъ дорожномъ неглиже, и прелесть впечатлѣнія, производимаго ея присутствіемъ, была тѣмъ обаятельнѣе, что Женни нимало этого не замѣчала.

Прелесть эту зато ясно ощущали докторъ и Помада, и вліяніе ея на каждомъ изъ нихъ выражалось по-своему.

Евгенія Петровна пріѣхала уже около полутора часа назадъ и успѣла разспросить доктора и Помаду обо всемъ, что они знали насчетъ неожиданнаго и страннаго прибытія Лизы.

Свѣдѣнія, сообщенныя ими, разумѣется, были очень ограниченны и нимало не удовлетворили безпокойнаго любопытства дѣвушки.

Теперь уже около получаса они сидѣли за чаемъ и всѣ молчали.

Женни находилась въ глубокомъ раздумьѣ; молча она наливала подаваемые ей стаканы и молча передавала ихъ доктору или Помадѣ.

Помада пилъ чай очень медленно, хлебая его ложечкою, а докторъ съ какимъ-то неестественнымъ аппетитомъ выпивалъ чашку за чашкою и давилъ въ ладоняхъ довольно черствыя уѣздныя баранки.

— Хорошо ли это, однако, что она такъ долго спитъ?— спросила, наконецъ, шопотомъ Женни.

— Ничего, пусть спитъ, — отвѣчалъ докторъ, и опять подалъ Гловацкой опорожненную имъ чашку.

Въ контору вошла птичница, а за нею черезъ порогъ двери клубомъ перекатилось сѣдое облако холоднаго воздуха и поползло по полу.

- Лѣкаря спрашиваютъ, — проговорила птичница, относясь ко всей компаніи.

— Кто?—спросилъ докторъ.

— Генеральша прислали.

— Что ей?

— Просить велѣла безпремѣнно.

— Что бы это такое? — проговорилъ докторъ, глядя на Помаду.

Тотъ пожалъ, въ знакъ совершеннаго недоумѣнія, плечами и ничего не отвѣтилъ.

— Скажи, что буду, — рѣшилъ докторъ и махнулъ бабѣ рукою на дверь.

Птичница медленно повернулась и вышла, снова впустивъ другое, очередное облако стоявшаго за дверью холода.

— Больна она, что ли?—спросилъ докторъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ Помада.

— Ты же вчера набиралъ тамъ вино и прочее.

— Я у ключницы выпросилъ.

За тонкою тесовою дверью скрипнула кровать.

Общество молча взглянуло на перегородку и внимательно прислушивалось.

Лиза кашлянула и еще разъ повернулась.

Гловацкая встала, положила на столъ ручникъ, которымъ вытирала чашки, и сдѣлала два шага къ двери, но докторъ остановилъ ее.

— Подождите, Евгенія Петровна, — сказалъ онъ. — Можетъ-быть, это она во снѣ ворочается. Не мѣшайте ей: ей сонъ нуженъ. Можетъ-быть, за все это она однимъ сномъ и отдѣлается.

Но вслѣдъ за симъ Лиза снова повернулась и проговорила:

— Кто тамъ шепчется? Поплите ко мнѣ, пожалуйста, какую-нибудь женщину.

Гловацкая тихо вошла въ комнату.

— Здѣсь лампада гаснетъ и такъ воняетъ, что мочи нѣтъ дышать, — проговорила Лиза, не обращая никакого вниманія на вошедшую.

Она лежала, обернувшись къ стѣнѣ.

Женни встала на стулъ, загасила догоравшую лампаду, а потомъ подошла къ Лизѣ и остановилась у ея изголовья.

Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась назадъ и, протянувъ обѣ руки, радостно воскликнула:

— Женька! какими это судьбами?

Подруги нѣсколько разъ кряду поцѣловались.

— Какъ ты это узнала, Женька? — спрашивала между поцѣлуями Лиза.

— Мнѣ дали знать.

— Кто?

— Докторъ записку прислалъ.

— А ты и пріѣхала?

— А я и пріѣхала.

— Гадкая ты моя ледышка, — съ навернувшимися на глазахъ слезами сказала Лиза и, схвативъ Женину руку, жарко ее поцѣловала.

Потомъ обѣ дѣвушки снова поцѣловались и обѣ повеселѣли.

— Ну, чаю теперь хочешь?

— Давай. Женни, чаю.

— А одѣваться?

— Я такъ напьюсь, въ постели.

— А мужчины?—прошептала Женни.

— Что жъ, я въ порядкѣ. Зашпиль мнѣ кофту, и пусть придутъ.

— Господа,—крикнула она громко:—не угодно ли вамъ придти ко мнѣ. Мнѣ что-то вставать не хочется.

— Очень, очень угодно, —отвѣчалъ входя докторъ и поцѣловалъ поданную ему Лизою руку.

За нимъ вошелъ Помада и, по примѣру Розанова, тоже приложился къ Лизиной ручкѣ.

— Вотъ теплая простота и фамильярность! —смѣясь замѣтила Лиза:—патріархальное лобызаніе ручекъ!

— Да; у насъ по-деревенски,—отвѣтилъ докторъ.

Помада только покраснѣлъ, и голова потянула его въ уголъ.

Женни вышла въ контору налить Лизѣ чашку чаю.

— Ну, а о здоровьѣ, кажется, слава Богу, нечего спрашивать?—шутливо произнесъ докторъ.

— Кажется, нечего: совсѣмъ здорова,—отвѣчала Лиза.

— Дайте-ка руку.

Лиза подала руку.

— Ну, передразнитесь теперь.

Лиза засмѣялась и показала доктору языкъ.

— Все въ порядкѣ,—произнесъ онъ, опуская ея руку:—только вотъ что̀ это у васъ глаза?

— Это у меня давно.

— Болятъ они у васъ?

— Да. При огнѣ только.

— Отчего же это?

— Докторъ Майеръ говорилъ, что отъ чтенія по ночамъ.

— И что̀ же дѣлалъ съ вами этотъ почтенный докторъ Майеръ?

— Не велѣлъ читать при огнѣ.

— А вы, разумѣется, не послушались?

— А я, разумѣется, не послушалась.

— Напрасно,—тихо сказалъ Розановъ и всталъ.

— Куда вы? — спросила его Женни, входившая въ это время съ чашкою чая для Лизы.

— Пойду къ Меревой. Мое мѣсто у больныхъ, а не у здоровыхъ. — произнесъ онъ съ комическою важностью на лицѣ и въ голосѣ.

— Когда бываетъ вамъ грустно, докторъ? — смѣясь спросила Гловацкая.

— Всегда. Евгенія Петровна, всегда и, можетъ-быть, теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь.

— Этого, однако, что-то не замѣтно.

— А зачѣмъ же, Евгенія Петровна, это должно быть замѣтно?

— Да такъ... прорвется...

— Да, прорваться-то прорвется, только лучше пусть не прорывается. Пойдемъ-ка, Помада!

— Куда жъ вы его-то уводите?

— А нельзя-съ: онъ долженъ идти читать свое чистописаніе будущей графинѣ Бутылкиной. Пойдемъ, братъ, пойдемъ, — настаивалъ онъ, взявъ за рукавъ поднявшагося Помаду: — пойдемъ, отдѣлаешься скорѣе, да и къ сторонѣ. Въ городъ вмѣстѣ махнемъ къ вечеру.

Дѣвушки остались вдвоемъ.

Долго онѣ обѣ молчали.

Спокойствіе и веселость снова слетѣли съ лица Лизы, бровки ея насупились и какъ будто ломались посерединѣ.

Женни сидѣла, подпершн голову рукою, и, не сводя глазъ, смотрѣла на Лизу.

— Что жъ такое было? — спросила она ее наконецъ. — Ты разскажи, тебѣ будетъ легче, чѣмъ такъ. Сама супишься, мы ничего не понимаемъ: что это за положеніе?

Лиза молчала.

— Исторія была? — спросила, спустя нѣсколько минутъ, Гловацкая.

— Да.

— Большая?

— Нѣтъ.

— Скверная?

— То-есть, какая скверная? Въ какомъ смыслѣ?

— Ну, непріятная?

— Да; разумѣется, непріятная.

— У васъ дома?

— Нѣтъ.

— Гдѣ же?

— У губернатора на балѣ.

— Ты была на балѣ.

— Была. Это третьяго дня было.

— Ну, и что жъ такое?

— И вышла исторія.

— Изъ-за чего же?

— Изъ-за вздора, изъ глупости, изъ-за тебя, изъ-за чего ты хочешь... Только я объ этомъ нимало не жалѣю, — добавила Лиза, подумавъ.

— И изъ-за меня!

— Да, и изъ-за тебя частію.

— Ну, говори же, что̀ именно это было и какъ было?

— Я вѣдь тебѣ писала, что я довольно счастлива, что мнѣ не мѣшаютъ сидѣть дома и не заставляютъ являться ни на вечера, ни на балы?

— Ну, писала.

— Недавно это почему-то вдругъ все измѣнилось. Какъ начались выборы, мать рѣшила, что мнѣ невозможно оставаться дома, что я непремѣнно должна выѣзжать. По этому поводу шелъ цѣлый рядъ отвратительно нѣжныхъ трагикомедій. Чтобы все кончить, я уступила и стала ѣздить. Третьяго дня злая-презлая я поѣхала на балъ съ матерью и съ Софи. Одѣвая меня, мнѣ турчала въ голову няня, и тутъ, между прочимъ, я имѣла удовольствіе узнать, что мною «антересуется» этотъ молодой богачъ Игинъ. Дорогою мать запѣла. Пѣла, пѣла и допѣлась опять до Игина. Злость меня просто душила. Входимъ: въ дверяхъ встрѣчаютъ Канивцовъ и Игинъ. Канивцовъ за Софи, а тотъ берется за меня. Мнѣ стало скверно, я ему сказала какую-то дерзость. Онъ отошелъ. Зоветъ меня танцовать—я не пошла. Мать выговоръ. Я увидала, что въ одной залѣ дамы играютъ въ лото и усѣлась съ ними, чтобы избавиться отъ всевозможныхъ приглашеній. Мать совсѣмъ надулась. «Иди, говоритъ, порѣзвись, потанцуй». Я поблагодарила и говорю, что я въ выигрышѣ, что мнѣ очень везетъ, что я хочу испытать мое счастье. Мать еще болѣе надулась. Передъ ужиномъ я отошла съ Зининымъ мужемъ къ окну; стоимъ за занавѣской и болтаемъ. Онъ разсказывалъ, какъ дворяне сговаривались забаллотировать предводителя, и вдругъ

всѣ единогласно его выбрали снова, посадили на кресла, подняли, понесли по залѣ и, остановясь передъ этой дурой, предводительшей, которая сидѣла на хорахъ, ни съ того, ни съ сего тамъ что-то заорали, ура, или рады стараться.

— Ты сошлась съ Зининымъ мужемъ? спросила Женни.

— Да. Онъ совсѣмъ не дурной человѣкъ и поумнѣе многихъ. Ну,—продолжала она, послѣ этого отступленія:—болтаемъ мы стоя, а за колонной, совсѣмъ почти возлѣ насъ начинается разговоръ, и слышу то мое, то твое имя. Это ораторствовалъ тотъ бѣлобрысый губернаторскій адъютантъ: «я, говоритъ, ее еще лѣтомъ видѣлъ, какъ она только изъ института ѣхала. Съ нею тогда была еще пріятельница, дочь какого-то смотрителя. Прелесть, батюшка, разсказываетъ, что такое. Бѣлая, стройная, коса, говоритъ, такая, глаза такіе, шея такая, а плечи, плечи...»

Женни вспыхнула и прошептала: «какой дуракъ!»

— Ну, словомъ, точно лошадь тебя описываетъ, и вдобавокъ, «та, говоритъ, совсѣмъ не то, что эта: та (т. е. ты-то) совсѣмъ глупенькая...» Фу, чортъ возьми! думаю себѣ, что же это за наглецъ. А Игинъ его и спрашиваетъ (онъ все это Игину разсказывалъ): «А какого вы мнѣнія о Бахаревой?» «Такъ, говоритъ, дѣвочка ничего, смазливенькая, *годится*». Слышишь, *годится?* Годится! Ну, знаешь, что это у нихъ значитъ, на ихъ скотскомъ языкѣ... Это подлость... «А объ умѣ ея, о характерѣ, что вы думаете?» опять спрашиваетъ Игинъ. «Ничего: она, говоритъ, не дура, только избалована, много о себѣ думаетъ, первой умницей себя, кажется, считаетъ».—И сейчасъ же разсуждаетъ: «Но вѣдь это, говоритъ, пройдетъ: это тамъ, въ институтѣ, да дома легко прослыть умницею-то, а въ свѣтѣ какъ разъ да два щелкнуть хорошенько по курносому носику-то, такъ и опуститъ хохолъ». Можешь ты себѣ вообразить мое положеніе! Но стою, молчу, а онъ еще далѣе разъѣзжаетъ: «я, говоритъ, если бы она мнѣ нравилась, однако, не побоялся бы на ней жениться. Я умѣю ихъ школить. Имъ только не надо давать потачки, такъ онѣ шелковыя станутъ. Я бы ее скоро молчать заставилъ. Я бы ее то, да я бы ее то заставилъ дѣлать — только и слышно... Ну, ничего.— За ужиномъ я сѣла между Зиной и ея мужемъ и ни съ кѣмъ посторонними не говорила. И простились, и вышло все это прекрасно, благополучно. Но ужъ въ передней, стали мы надѣвать шубы и сапоги.

вдругъ возлѣ насъ вырастаютъ Игинъ и адъютантъ. Народу ужасъ сколько; ничего не допросишься и не доищешься. Этотъ болванчикъ съ своими услугами. Приноситъ шубы и сапоги. Я взяла у него шубу и подаю ее своему человѣку: «подержи, говорю, Алексѣй, пожалуйста», и сама надѣваю. «Отчего жъ вы мнѣ не позволили имѣть эту честь?» вдругъ обращается ко мнѣ эта мразь.—«Какую, говорю, честь?»—«Подать вамъ шубу». Я совершенно холодно отвѣчала, что лакейскія обязанности, по моему мнѣнію, никому не могутъ доставить особенной чести.—Нѣтъ-таки неймется!—«Зато, говоритъ, въ иныхъ случаяхъ онѣ могутъ доставить очень большое удовольствіе».—и самъ осклабляется. Даже жалокъ онъ мнѣ тутъ сталъ, и я такъ-таки, совсѣмъ безъ всякой злости, ему буркнула, что «это дѣло вкуса и натуры». А онъ, вообрази ты себѣ, вѣрно тутъ свою теорію насчетъ укрощенія нравовъ вспомнилъ; вдругъ принялъ на себя этакой какой-то смѣшной, даже вовсе не свойственный ему, серьезный видъ и этакимъ, знаешь, внушающимъ тономъ и такъ, что всѣмъ слышно, говоритъ: «извините, mademoiselle, я вамъ скажу франшеманъ, что вы слишкомъ рѣзки». Мнѣ припомнился въ эту секунду весь его пошлый разговоръ и хвастовство. Вся кровь моя бросилась въ лицо, и я ему также громко отвѣтила, «извините и меня, monsieur, я тоже скажу вамъ франшеманъ, что вы дуракъ».

И слушательница, и разсказчица разомъ расхохотались.

— Ай, ай, ай!—протянула Гловацкая, качая головой.

— Да, айкай, сколько угодно.

— Да какъ же это ты, Лиза?

— А что же мнѣ было дѣлать? — раздражительно и съ гримасой спросила Бахарева.

— Могла бы ты иначе его остановить.

— Такъ лучше: одинъ пріемъ, и все кончено, и приставать болѣе не будетъ.

Женни опять покачала головой и спросила:

— Ну, а дальше что же было?

— А дальше дома были обмороки, стенанія, крики «опозорила», «осрамила», «обезчестила» и тому подобное. Даже отецъ закричалъ и даже...

Лиза вспыхнула и добавила дрожащимъ голосомъ:

— Даже — толкнулъ меня въ плечо. Потомъ я цѣлую ночь проплакала въ своей комнатѣ; утромъ рано одѣлась и

пошла пѣшкомъ въ монастырь посовѣтоваться съ теткой. Думала упросить тетку взять меня къ себѣ,—тамъ мнѣ все-таки съ нею было бы лучше. Но потомъ опять пришло мнѣ на мысль, что и тамъ сахаръ, хоть и въ другомъ родѣ, да и отецъ, пожалуй, упрется, не пуститъ, а тутъ покачаловскій мужикъ Сергѣй ѣдетъ.—Овесъ, что-ли, провозилъ.—Я сѣла въ сани, да вотъ и пріѣхала сюда. Только чуть не замерзла дорогой,—даже оттирали въ Покачаловѣ. Одѣта была скверно. Но ничего.—это все пройдетъ, а ужъ зато теперь меня отсюда не возьмутъ.

— Ты здѣсь рѣшила жить?

— Рѣшила.

— Одна?

— Да, до лѣта, пока наши въ городѣ, буду жить одна.

— Что-жъ это такое, мой милый докторъ, значитъ?— выславъ всѣхъ вонъ изъ комнаты, разспрашивала у Розанова камергерша Мерева.

— А ничего, матушка, ваше превосходительство, не значитъ,—отвѣчалъ Розановъ:—семейное что-нибудь, разумѣется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. Пословица говорится: «свои собаки грызутся, а чужія подь столъ». О здоровьѣ своемъ не извольте безпокоиться: начнется изжога—магнезіи кусочекъ скушайте и пройдетъ, а намъ туда прикажите теперь прислать бульонцу, да кусочекъ мяса.

— Какъ же, какъ же, я ужъ распорядилась.

— Вотъ русская-то натура и въ аристократкѣ, а все свое беретъ! Прежде напой и накорми, а тогда и спрашивай.

— Ну, ужъ ты льстецъ, ты наговоришь.— весело шутила задобренная камергерша.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Изъ большой тучи маленькій громъ.

Вечеромъ, когда сумракъ сливаетъ покрытыя снѣгомъ поля съ небомъ, по направленію отъ Мерева къ уѣздному городу, ѣхали двое небольшихъ пошевней. Въ переднихъ саняхъ сидѣли Лиза и Гловацкая, а въ заднихъ—докторъ въ огромной волчьей шубѣ и Помада въ вытертомъ коти-

ковомъ тулупчикѣ, который, по милости своего страннаго фасона, назывался «халатикомъ».

Дорога была очень тяжкая, снѣжная и сверху опять порошилъ снѣжокъ.

— Хорошія дѣвушки, — проговорилъ Помада, какъ бы отвѣчая на свою долгую думу.

— Да, хорошія, — отвѣчалъ молчаливый до сихъ поръ докторъ.

Можно было полагать, что и его думы бродили по тому же тракту, по которому путались мысли Помады.

— А которая изъ нихъ по-твоему лучше? — спросилъ шопотомъ Помада, обернувшись лицомъ къ воротнику докторской шубы.

— А по-твоему, какая? — спросилъ, смѣясь, докторъ.

— Я, братъ, не знаю; не могу рѣшить. Я ихъ, просто, боюсь.

Докторъ разсмѣялся.

— Ну, которой же ты больше боишься?

— Обѣихъ, братецъ ты мой, боюсь.

— Ну, а которой больше-то? Все же ты которой-нибудь больше боишься.

— Нѣтъ, равно боюсь. Эта, просто, бѣдовая; говори съ ней, да оглядывайся; а та еще хуже.

Докторъ опять разсмѣялся самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Ну, а въ которую ты сильнѣе влюбленъ? — спросилъ онъ шопотомъ.

— Н-ну! Чортъ знаетъ, что̀ болтаешь! — отвѣчалъ Помада, толкнувъ доктора локтемъ и, подумавъ, прибавилъ: — какъ ихъ полюбить-то?

— Отчего же?

— Да такъ. Передъ этой, какъ передъ грознымъ ангеломъ стоишь, а та такая чистая, что гдѣ ты ей человѣка найдешь. Какъ къ ней съ нашими-то грязными руками прикоснуться.

Докторъ задумался.

— Вы это что̀ о насъ съ Лизой распускаете, Юстинъ Феликсовичъ? — спрашивала на другой день Гловацкая входящаго Помаду.

Это было вечеромъ, за чайнымъ столомъ.

Помада покраснѣлъ до ушей и уронилъ свою студентскую фуражку.

Всѣ сидѣвшіе за столомъ разсмѣялись. А за столомъ сидѣли: Лиза, Гловацкій, Вязмитиновъ (сдѣлавшійся давно ежедневнымъ гостемъ Гловацкихъ), докторъ и сама Женни, глядѣвшая изъ-за самовара на сконфуженнаго Помаду.

— Оправься,—скомандовалъ докторъ:—ни о чемъ иномъ идетъ рѣчь, какъ о твоей боязни предъ Лизаветой Егоровной и Евгеніей Петровной. Проболтался, сердце мое,—прости.

— Да, да, Юстинъ Феликсовичъ, чего-жъ это вы насъ боитесь-то?

— Я не говорилъ.

— А, такъ вы, докторъ, и сочинять умѣете!

— Помада! и ты, честный гражданинъ Помада, не говорилъ?—Трусъ ты,—самообличенія въ тебѣ нѣтъ.

— Чѣмъ же мы такія страшныя?—приставала Женни, развеселившаяся сегодня болѣе обыкновеннаго.

— Чистотой!—рѣшительно отвѣтилъ Помада.

— Чѣ-мъ?

— Чистотой.

Опять всѣ засмѣялись.

— Такъ насъ и любить нельзя?—спросила Женни.

— «Страшно васъ любить»,—проговорилъ Помада, оправляясь и воспоминая пѣсенку, нѣкогда слышанную имъ отъ цыганокъ въ Харьковѣ.

— И отлично, Помада. Бойтесь насъ, а то, въ самомъ дѣлѣ, долго ли до грѣха,—влюбитесь. Я вѣдь, говорятъ, недурна, а Женни красавица; вы же, по общему отзыву, Сердечкинъ.

— Кто это вамъ вретъ, Лизавета Егоровна?—ожесточенно и въ то же время сильно обиженно крикнулъ Помада.

— А-а! развѣ можно такъ говорить съ дѣвушками?

— Подлость какая!—воскликнулъ Помада опять такимъ оскорбленнымъ голосомъ, что докторъ счелъ нужнымъ скорѣе перемѣнить разговоръ и спросилъ:

— А въ самомъ дѣлѣ, что же это, однако, съ вашими глазами, Лизавета Егоровна?

— Да болятъ?

— Такъ это не съ холоду только?

— Нѣтъ, давно болятъ.

— Ну, вы смотрите: это не шутка. Шутя этакъ, можно и ослѣпнуть.

— Я очень много читаю и не могу не читать. Это у меня какой-то запой. Что же мнѣ дѣлать?

— Я вамъ буду читать, — чистымъ и радостнымъ голосомъ вдругъ вызвался Помада.

И такъ счастливо, такъ преданно и такъ честно глядѣлъ Помада на Лизу, высказавъ свою просьбу заслонить ея больные глаза своими, что никто не улыбнулся. Всѣ только случайно взглянули на него, совсѣмъ съ хорошими чувствами, и лишь одна Лиза вовсе на него не взглянула, а небрежно проронила:—Хорошо, читайте.

— Дома всѣ? — крикнулъ изъ передней голосъ, заставившій вздрогнуть цѣлую компанію.

— Дома, и милости просимъ,— отвѣчалъ Гловацкій вставая и, взявъ со стола одну изъ двухъ свѣчекъ, пошелъ навстрѣчу гостю.

Лиза молча встала и пошла за Гловацкимъ.

Въ передней былъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Марина Абрамовна.

Когда Гловацкій освѣтилъ до сихъ поръ темную переднюю, Бахаревъ стоялъ, нагнувъ свою голову къ Абрамовнѣ, а она обивала своими бѣлыми, шерстяными вязенками съ синей надвязкой, густой слой снѣга, насѣвшаго въ воротникъ господской медвѣжьей шубы.

— Снѣжно, видно, стало?—спросилъ Гловацкій.

— Занесло, братъ, совсѣмъ.—отвѣчалъ Бахаревъ самымъ веселымъ тономъ.

«Ого!» подумалъ Петръ Лукичъ.

«Ого!» подумали прочіе, и всѣ повеселѣли.

— Здравствуйте! — говорилъ Бахаревъ, цѣлуя по ряду всѣхъ.—Здравствуй, Лизокъ!—добавилъ онъ, обнявъ, наконецъ, стоявшую Лизу, поцѣловалъ ее три раза и потомъ поцѣловалъ ея руку.

Возобновили чай. Разговоръ шелъ веселый и нимало не касался Лизы. Только Абрамовна поздоровалась съ нею нѣсколько сухо, тогда какъ Женни она расцѣловала и огладила ея головку.

— Кушай, няничка, — сказала Женни, подавая Абрамовнѣ въ свою спальню стаканъ чаю со сливками и большимъ ломтемъ домашней булки.

— Спасибо тебѣ, моя красавица,—отвѣчала Абрамовна и поцѣловала въ лобъ Женни.

— Кушай, няня, еще,—сказала Лиза, подавая Абрамовнѣ другой стаканъ.

— Не безпокойся, умница,—отвѣчала Абрамовна, отворачиваясь искать чего-то неположеннаго.

А Егоръ Николаевичъ разсказывалъ о выборахъ, шутилъ и вообще былъ веселъ, но избѣгалъ разговора съ дочерью. Только, выходя изъ-за ужина, когда уже не было ни Розанова, ни Вязмитинова, онъ самъ заперъ за ними дверь и ласково сказалъ:

— Я тебѣ, Лиза, привезъ Марину. Тебѣ съ нею будетъ лучше... Книги твои тоже привезъ... и есть тебѣ какая-то записочка отъ тетки Агнесы. Куда это я ее сунулъ?.. Не знаю, что она тебѣ тамъ пишетъ.

Старикъ вынулъ изъ бумажника письмо и подалъ его Лизѣ.

«Я на тебя сердита, Лиза,—писала мать Агнія племянницѣ.—Такихъ штукъ выкидывать нельзя, легкое ли дѣло, что мы передумали? Развѣ это хорошо? Посмотри ты на своего отца, который хотѣлъ тебя избранить и связать, а потомъ, какъ ребенокъ, радъ летѣть къ тебѣ на старости лѣтъ. Я тебя нимало не защищала и теперь говорю съ тобою, какъ съ женщиною, одаренною умомъ и великодушіемъ. Я говорю съ тобою какъ съ *Бахаревою* (въ этомъ мѣстѣ Лиза сдѣлала гримаску, которую нельзя было истолковать въ пользу родовыхъ аргументацій матери Агніи). Посмотри ты на старика! Онъ вѣдь весь осунулся. Развѣ это можно такъ поступать, дитя мое? Онъ не только твой отецъ, но онъ еще старикъ, цѣлую жизнь честно исполнявшій то, что ему казалось его человѣческимъ долгомъ. Ты боишься людской черноты и пошлости, бойся же, другъ мой, гадчайшаго порока въ жизни,—бойся пренебрежительности и нетерпимости, и, вѣрь или не вѣрь въ Бога, а вѣрь, что даже въ этой жизни есть неотразимый законъ возмездія, помни, что проклято то сердце, которое за любовь не умѣетъ заплатить даже состраданіемъ.

«Твоя тетка

инокиня *Агнія*».

«P. S. Никакого насилія, никакихъ рѣзкостей противъ тебя употреблено не будетъ, только не бунтуйся ты сама, Бога ради».

Прочитавъ это письмо, Лиза тщательно сложила его, сунула въ карманъ, потомъ встала, подошла къ отцу, поцѣловала его самого и поцѣловала его руку.

— Что? что, мой котенокъ?—спросилъ совсѣмъ расцвѣтшій старикъ.

— Я очень виновата передъ вами, папа.

— Да, кажется,—отвѣчалъ старикъ, смаргивая нервную слезу и притворяясь, что ему попалъ въ глаза дымъ.

— Но я не могла поступить иначе,—замѣтила Лиза.

— Ну, Богъ съ тобой, если не могла.

Лиза опять обезоружилась.

— Но все-таки я виновата,—простите меня.

Бахаревъ нагнулъ дочь къ себѣ и поцѣловалъ ее.

— Тетя пишетъ, что вы не будете меня принуждать... Позвольте мнѣ жить зиму въ деревнѣ.

— Да живи, живи! Я тебѣ нарочно Марину привезъ, и книги твои тебѣ привезъ. Живи, Богъ съ тобой, если тебѣ нравится.

Лиза снова расцѣловала отца, и семья съ гостями разошлась по своимъ комнатамъ. Бахаревъ пошелъ съ Гловацкимъ въ его кабинетъ, а Лиза пошла къ Женни.

Скоро все улеглось и заснуло.

Легко было всѣмъ засыпать, глядя вслѣдъ безпокоившей ихъ огромной тучѣ, изъ которой вышелъ такой маленькій громъ.

Только одинъ старикъ Бахаревъ часто вздыхалъ и ворочался, лежа на мягкомъ диванѣ въ кабинетѣ Гловацкаго.

Наконецъ, далеко за полночь, тоска его одолѣла: онъ всталъ, отыскалъ впотьмахъ свою трубку съ черешневымъ чубукомъ, раскурилъ ее и, тяжело вздохнувъ старою грудью, въ одномъ бѣльѣ присѣлъ въ ногахъ у Гловацкаго.

— Что ты не спишь? — спросилъ его пробудившійся Петръ Лукичъ.

— Не спится, Петруха,—растеряно отвѣчалъ старикъ.

— Перестань думать-то.

— Не могу, братъ. Жаль мнѣ ее, а никакъ ничего не пойму.

— Оставь времени дѣлать свое дѣло.

— Да что оставлять, когда ничего не пойму! Вижу, что не права она, а жаль. И что это такое? что это такое въ ней?

— Нравъ, братъ, такой! стремленія...

— Да какія же стремленія?

— То-то: вѣкъ, идеи,—все это...

— Да что за идеи-то, ты мнѣ разъясни?

— Пытливость разума, ну, безпокойство... пройдетъ все.

Бахаревъ затянулся, освѣтилъ комнату разгорѣвшимся табакомъ, потомъ, спустивъ трубку съ колѣнъ, лѣниво, но съ особеннымъ тщаніемъ и ловкостью осадилъ большимъ пальцемъ правой ноги поднявшійся изъ нея пепелъ и, тяжело вздохнувъ, побрелъ неслышными шагами на диванъ.

— Я, Лизокъ, оставилъ Николаю Степановичу деньжонокъ. Если тебѣ книги какія понадобятся, онъ тебѣ выпишетъ, — говорилъ Бахаревъ, прощаясь на другой день съ дочерью.

— Очень благодарю васъ, папа.

— Да. Я заѣду въ Мерево, обряжу тебѣ залу и мой кабинетъ, а ты тутъ погости дня два-три, пока домъ отойдетъ.

— Хорошо-съ.

— Ну, будь здорова. А къ намъ побываешь? Побывай: я лошадей тебѣ оставлю. Будь же здорова; Христосъ съ тобою.

Бахаревъ перекрестилъ дочь и уѣхалъ, а Лиза осталась одна, самостоятельною госпожею своихъ поступковъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ пустомъ домѣ.

Вся наша знакомая уѣздная молодежь не много размышляла о положеніи Лизы, но всѣ были очень рады ея переселенію въ Мерево. Надѣялись безпрестанно видѣть ее у Гловацкихъ, разсчитывали вмѣстѣ читать, гулять, спорить и вообще разгонять, чѣмъ Богъ пошлетъ, утомительное semper idem уѣздной жизни.

А дѣло вышло совсѣмъ иначе.

Лиза какъ уѣхала въ Мерево, такъ тамъ и засѣла. Правда, въ два мѣсяца она навѣстила Гловацкую раза четыре, но и то, какъ говорится, пріѣзжала словно жару хватить. Пріѣдетъ утречкомъ, посидитъ, вытребуетъ къ себѣ Вязмитинова, сообщитъ ему свои желанія насчетъ книгъ и домой собирается.

— Что это съ тобой дѣлается, Лиза? — спрашивала ее Гловацкая: — я, просто, не узнаю тебя. Сердишься ты на меня, что ли?

— За что же мнѣ на тебя сердиться, — я нимало къ тебѣ не измѣняюсь.

— Чего же ты отъ насъ скрываешься?

— Я не скрываюсь.

— То, бывало, жалуешься, что нельзя къ намъ ѣздить, а теперь едва въ двѣ недѣли разъ глаза покажешь, да и то на одну минуту. Что этому за причина?

— Какая же тутъ причина нужна? Мнѣ очень хорошо теперь у себя дома, я занимаюсь—вотъ и вся причина.

Женни и спрашивать ее перестала, а если, бывало, скажетъ ей, прощаясь: «пріѣзжай скорѣе, Лиза», то та отвѣтитъ «пріѣду», да и только.

— Что же Лизавета Егоровна?—спрашивали Ловацкую докторъ, Вязмитиновъ и Зарницынъ.

Женни краснѣла при этомъ вопросѣ. Ей было досадно, что Лиза такъ странно ставитъ дѣло.

— Ужъ не поссорились ли вы? – спрашивалъ ее нѣсколько разъ отецъ.

– Фуй, папа! что вамъ за мысль пришла? — отвѣчала вся вспыхнувъ, Женни.

— То-то, я думаю, что бы это сдѣлалось: были такіе друзья, а тутъ вдругъ и охладѣли.

Женни становилось обидно за свое чувство, безпричинно заподозрѣваемое по милости страннаго поведенія Лизы.

Это была первая непріятность, которую Женни испытала въ отцовскомъ домѣ.

Она попробовала съѣздить къ Лизѣ. Та встрѣтила ее очень привѣтливо и радушно, но Женни казалось, что и въ этой привѣтливости нѣтъ прежней теплоты и задушевности, которая ихъ связывала цѣлые годы ранней юности.

Женни старалась увѣрить себя, что это въ ней говоритъ предубѣжденіе, что Лиза точно та же, какъ и прежде, что это только въ силу предубѣжденія ей кажется, будто даже и Помада измѣнился.

Она не видала его почти два мѣсяца. Только разъ онъ прискакалъ въ городъ точно курьеръ съ запискою Лизы къ Вязмитинову, перемѣнилъ книги и опять улетѣлъ. Даже не присѣлъ и не раздѣлся.

— Некогда, некогда, — отвѣчалъ онъ на приглашеніе Женни хоть съѣсть что-нибудь и обогрѣться.

Даже къ доктору не зашелъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, что-нибудь спѣшное», подумала тогда Женни и не обратила на это никакого вниманія.

Зато теперь, встрѣтивъ Помаду у одинокой Лизы, она нашла, что онъ какъ-то будто вышелъ изъ своей всегдашней колеи. Во всѣхъ его движеніяхъ замѣчалась при Лизѣ какая-то живость и нѣсколько смѣшная суетливость. Взошелъ смѣлой, но тревожной поступью, поздоровался съ Женей и сейчасъ же началъ докладъ, что онъ прочелъ Милля и сдѣлалъ отмѣтки.

— Вотъ мѣсто замѣчательное, — началъ онъ, положивъ передъ Лизою книжку, и, указывая костянымъ ножемъ на открытую страницу, заслонивъ ладонью ротъ, читалъ черезъ Лизино плечо: «Въ каждой цивилизованной странѣ число людей, занятыхъ убыточными производствами, или ничѣмъ незанятыхъ, составляетъ, конечно, пропорцію, болѣе чѣмъ въ двадцать процентовъ сравнительно съ числомъ хлѣбопашцевъ». Четыреста [illegible] пять четвертая страница, — закончилъ онъ, закрывая книгу, которую Лиза тотчасъ же взяла у него и стала молча перелистывать.

Помада опять бросился къ кучкѣ принесенныхъ имъ книгъ и, открывъ «Русскій Вѣстникъ», говорилъ: «А тутъ вотъ...» Помада тревожно взглянулъ на необращавшую на него никакого вниманія Лизу и затихъ. Потомъ, дождавшись, какъ она отбросила перелистываемую ею книгу, опять началъ: «а тутъ вотъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» какой драгоцѣнный выводъ въ одной статьѣ.

«Статистика въ Англіи доказываетъ, что пьяницъ женщинъ въ пять разъ менѣе, чѣмъ мужчинъ. Вообще такъ приходится:

«Одинъ пьяница на семьдесятъ четыре мужчины.

«Одна на четыреста тридцать четыре женщины.

«Одинъ на сто сорокъ пять жителей обоего пола».

— Преинтересный выводъ!—воскликнулъ Помада и продолжалъ читать далѣе:—«Отношеніе, замѣчательно совпадающее съ отношеніемъ, существующимъ между преступниками обоихъ половъ, по которому мужескихъ преступниковъ ровно *въ пять разъ болѣе женскихъ*».

— Замѣчательный выводъ! — опять воскликнулъ Помада, окинувъ взоромъ всѣхъ присутствовавшихъ и остановивъ его на Лизѣ.

— Отложите мнѣ, я это буду читать, — небрежно проговорила Лиза.

— Все-то уже, прости Господи, пересчитали; оттого-то, видно, уже скоро и считать нечего станетъ, — произнесла кропотливо Абрамовна, убирая свою работу и отправляясь накрывать на столъ.

За обѣдъ Помада сѣлъ, какъ семьянинъ. И за столомъ, и послѣ стола до самой ночи, онъ чего-то постоянно тревожился, бросался и суетливо оглядывался, чѣмъ бы и какъ услужить Лизѣ. То наливалъ ей воды, то подавалъ скамейку, или, какъ только она сходила съ одного мѣста и садилась на другое, онъ переносилъ за нею ея платокъ, книгу и костяной ножикъ.

Женни нѣсколько разъ хотѣлось улыбнуться, глядя на это пажеское служеніе Помады, но эта охота у нея пропадала тотчасъ, какъ только она взглядывала на серьезное лицо Лизы и болѣзненно тревожную внимательность кандидата къ каждому движенію ея сдвинутыхъ бровей.

Женни осталась ночевать. Вечеромъ всѣ спокойно усѣлись на отоманахъ въ бахаревскомъ кабинетѣ.

Тутъ же сидѣла и Абрамовна. Убравъ чай, она надѣла себѣ на носъ большія очки, достала изъ шкапа толстый мотокъ нитокъ и, надѣвъ его на свои старческія колѣни, начала разматывать.

Мотокъ безпрестанно соскакивалъ, какъ только старуха чуть-чуть неловко дергала нитку.

— О, прахъ тебя побери! — восклицала Абрамовна каждый разъ послѣ такого казуса.

— Тебѣ неловко, няня?—спросила Женни.

— Какая тутъ ловкость, моя красавица!—отвѣчала сердясь старуха: — ничего нѣтъ, ни моталки, ничего, ничего. Заѣхали въ виръ-болото, да и куликуемъ.

— Дай я тебѣ подержу.

— Ну, что вздоръ! И такъ размотаю. Не къ спѣху дѣло, не къ смерти грѣхъ.

— Полно, няня, церемониться, давай,—перебила Женни, чувствуя, что ей самой нечего дѣлать, и, сѣвши противъ старухи, взяла мотокъ на свои руки.

Въ одиннадцать часовъ Лиза сказала:

— Поѣсть бы нужно, няня.

Няня молча вышла и принесла два очищенные копченые рыбца и масленку съ сливочнымъ масломъ.

— Огурца нѣтъ, няня?

— Нѣту, сударыня, не принесла.

— А нельзя принести?

— Будить-то теперь бабу, да въ погребъ-то посылать.

Помада вскочилъ и взялся за свою неизмѣнную фуражку.

— Куда вы?—спросила, надвинувъ брови, Лиза.

— Къ себѣ; я сейчасъ отъ себя принесу.

— Сдѣлайте одолженіе, успокойтесь; никто васъ не проситъ о такой любезности.

Помада сконфузился, но безпрекословно повиновался и положилъ фуражку.

Тотчасъ послѣ закуски онъ сталъ прощаться. Женни подала Помадѣ руку, а Лиза на его поклонъ только сухо проговорила:

— Прощайте.

Помада вышелъ. Въ эти минуты въ немъ было что-то страдальческое, и Женни очень не понравилось, какъ Лиза съ нимъ обращается.

— Что ты имъ недовольна за что-нибудь?—спросила она.

— Нисколько. Отчего это тебѣ показалось?

— Да что за пренебреженіе такое въ обращеніи?

— Никакого пренебреженія нѣтъ: обращаюсь просто, какъ со всѣми. Ты меня извинишь, Женни, я хочу дочитать книгу, чтобы завтра ее съ тобой отправить къ Вязмитинову, а то нарочно посылать придется, — сказала Лиза, укладываясь спать и ставя возлѣ себя стулъ со свѣчкой и книгой.

— Пожалуйста, читай, — отвѣчала спокойно Женни, но въ душѣ ей это показалось очень обидно.

Дѣвушки легли на одной отоманкѣ, голова къ головѣ, а старуха напротивъ, на другомъ отоманѣ.

Она долго молилась передъ образомъ. Женни лежала молча и думала; Лиза читала. Абрамовна стояла на колѣняхъ. Въ комнатѣ было только слышно какъ шелестили листы.

— Что это, матушка! опять за свои книжечки по ночамъ берешься? Видно-таки хочется ослѣпнуть, — заворчала на Лизу старуха, окончивъ свою долгую вечернюю молитву.— Спать не хочешь,—продолжала она:—такъ хоть бы подругито постыдилась! Въ кои-то вѣки она къ тебѣ пріѣхала, а ты при ней чтеніемъ занимаешься.

— Перестань, няня; — я у Женни просила извиненія. Мнѣ надо кончить книгу.

— Ну, какъ не надо! Очень надобность большая,—къ спѣху вѣдь. Не все еще переглодала. Еще поищи по угламъ; не завалилась ли еще гдѣ какая... Ни дать, ни взять фараонская мышь,—что ни попадетъ—все сгложетъ.

— Ахъ, какъ это, наконецъ, скучно! терпѣнья нѣтъ!—сказала Лиза, сдѣлавъ движеніе и швырнувъ на колѣни книгу; но тотчасъ же взяла ее снова и продолжала читать.

Далеко за полночь читала Лиза; няня крѣпко спала; Женни, подложивъ розовый локотокъ подъ голову, думала о Лизѣ, о матери, объ отцѣ, о дѣтскихъ годахъ, и опять о Лизѣ, и о теперешней перемѣнѣ въ ея характерѣ.

«Неужто она не добрая,—думала Женни:— неужто я въ ней ошибалась?»

И Женни сейчасъ же гнала отъ себя прочь эту мысль.

«Нѣтъ,—рѣшала она:—это случайность; она все такая же и любитъ меня... А странно,—размышляла Женни далѣе:—развѣ можно забыть человѣка для книги? Нельзя. Я бы этого никакъ не могла. «Не для книги, не для бумажной книги, а для живой, всемогущей, творческой мысли, для неугасимой жажды свѣта и правды; для нихъ уже есть человѣку погибнути», говорилъ ей другой голосъ. Да, но развѣ это необходимо? развѣ это даже нужно? Развѣ исканіе свѣта и правды становится труднѣе съ сердцемъ, согрѣтымъ животворною теплотою взаимности и сочувствія?..»

— Что, нашъ «*прахъ*» спитъ?—прошептала Лиза.

Веселое, что-то прежнее звучало Женни въ этомъ шопотѣ.

Головацкая вскинула головку, а Лиза, облокотясь на подушку, держитъ у рта пальчикъ и другою рукою грозитъ ей, указывая на спящую старуху.

— Спитъ, думаешь?—еще тише спросила Лиза.

— Да, навѣрно.

— Давай, покуримъ.

— Я уже совсѣмъ отвыкла, но давай, покурю.

Лиза встала въ одной рубашкѣ, подошла неслышными шагами къ висѣвшему на гвоздѣ платью, вынула оттуда пачку съ папиросами и зажгла себѣ одну, а другую подала Женни.

— Зачѣмъ ты не куришь при ней?—прошептала Женни.

— Помилуй! начнетъ прибирать «прахъ», да «распрахъ», и конца нѣтъ.

— А добрая старуха.

— Добрѣйшая, но чудиха ужасная. Я ее иногда злю.

— Зачѣмъ ты это дѣлаешь? Не хорошо.

— Вѣдь она не сердится, — праховъ мнѣ насулитъ. и только.

Лиза весело засмѣялась тѣмъ беззвучнымъ смѣхомъ. которымъ женщины умѣютъ смѣяться, обманывая ворчливую мать или ревниваго мужа.

Дѣвушки лежали, облокотясь на подушки другъ противъ друга, и докуривали папироски. Женни внимательно глядѣла въ умненькіе глаза Лизы, смотрѣвшіе теперь, какъ глаза ручной птицы, и въ ея веселенькое личико, безпрестанно складывавшееся въ невинную улыбку надъ обманутой старушкой.

Наконецъ, оба лица стали серьезнѣе, и дѣвушки долго молча смотрѣли другъ на друга.

— Что ты такъ смотришь, Женька? — спросила, вздохнувъ, Лиза.

— Я хотѣла тебя спросить, зачѣмъ ты стала меня чуждаться? — собиралась-было сказать Гловацкая, обрадованная добрымъ расположеніемъ Лизы, но прежде чѣмъ она успѣла выговорить вопросъ, возникшій въ ея головкѣ, Лиза погасила о подсвѣчникъ докуренную папироску и молча опустила глаза въ книгу.

Передъ Гловацкою уже опять не было прежней Лизы. передъ нею снова была Лиза. уязвившая ея чистое сердце впервые отверженнымъ безъ всякой вины чувствомъ.

Женни молча опустилась на подушку.

«Говорятъ. — думала она, стараясь уснуть: — говорятъ, нельзя опредѣлить момента. когда и отчего чувство зарождается,—а можно ли опредѣлить, когда и отчего оно гаснетъ? Приходитъ... уходитъ. Дружба придетъ, а потомъ уйдетъ. Всякая привязанность также: придетъ... уйдетъ... не удержишь. Одна любовь!.. та ужъ...»—«придетъ и уйдетъ». отвѣчалъ утомленный мозгъ, рѣшая послѣдній вопросъ вовсе не такъ, какъ его хотѣло рѣшить дѣвичье сердце Женни.

Но сердце ея не слыхало этого рѣшенія и тихо билось въ груди, обѣщавшей кому-то много-много хорошаго, прочнаго счастья.

Конецъ первой книги.

Оглавленіе

VIII ТОМА.

Некуда. Романъ въ трехъ книжкахъ.

Книга первая: **Въ провинціи.**

		стр.
I.	Тополь да березка	5
II	Кто ѣдетъ въ тарантасѣ	7
III.	Пріютъ безмятежный	10
IV	Мать Агнія	13
V.	Старое съ новымъ	15
VI.	Молодой пересадокъ	25
VII.	Въ ночной тишинѣ	37
VIII	Родныя липы	40
IX.	Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія	49
X.	Лѣтнее утро	61
XI.	Колыбельный уголокъ	66
XII.	Прогрессивные люди уѣзднаго города	70
XIII.	Нежданный гость	76
XIV.	Семейная картинка въ Меревѣ	82
XV.	Перепилили	89
XVI.	Перчатка поднята	93
XVII.	Слово съ вѣсомъ	100
XVIII.	Слово воплощается	107
XIX.	Крещенскій вечеръ	114
XX.	За полночь	121
XXI.	Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая	129
XXII.	Утро мудренѣе вечера	145
XXIII.	Изъ большой тучи маленькій громъ	153
XXIV.	Въ пустынномъ домѣ	159

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Рисунокъ утвержд. Правительствомъ.